A. Tepol

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в двенадцати

томах

Под общей редакцией
В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961

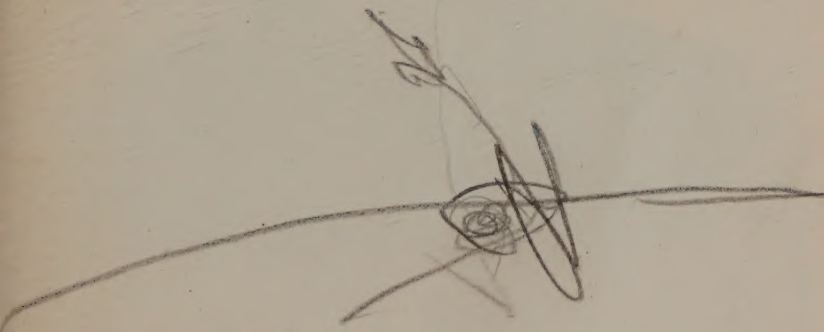
А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

РАССКАЗЫ

1886



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1961

Примечания
Э. А. Полоцкой

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО

А. П. ЧЕХОВ
1887

ПЕРСОНА

«*Вакансия* на должность писца имеется в канцелярии г. Податного Инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или 3 кл. гимназии, должны обращаться письменно с приложением *своего жизнеописания*, адресуя прошение на имя г. Податного Инспектора в д. Поджилкиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом, красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

— Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалованье, сами видите, великолепное — двадцать рублей в месяц! При нашей бедности я бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо... Только вот одно тут скверно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

— Ну, так что ж? Возьми и напиши...

— Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жизнеописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятое через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший

слог был... Конечно! А то как вы думали? Ежели этак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреича, то он не важная шишка... Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что в объявлении сказано? «Адресуя прошение»... Про-ше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошения!

— Это так...— согласилась мамаша.— А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вам сказать... Должно быть, нужно!

Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам... Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде вышеписанного. Миша, с самой гимназии не съевший ни одного куска без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место. Двадцать рублей в месяц — деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей пять-шесть. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали двадцать рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и походя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

— Чем шморгать-то из угла в угол,— перебила его мечтания мамаша,— сел бы лучше да и сочинил...

— Не умею я, мамаша, сочинять,— вздохнул Миша.— Признаться, я уж раз пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а выходит просто, словно тетке в Кременчуг пишешь...

— Ничего, что просто... Инспектор не взыщет... За мои материне молитвы и терпение господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что... Небось и сам-то он в твои годы не бог весть как учен был!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет... Хорошо, попробую...

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращенья глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все почитатели собственного почерка, начал: «Ваше Высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашникова и матери Натальи Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом...»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать его высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул все написанное и после некоторого размышления написал снова то же самое...

«Потом он скончался,— продолжал он,— в бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренне, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-наивное... Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше Высокоблагородие, дайте мне место, чтоб я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение.

— Позвольте узнать, где здесь канцелярия? — спросил он, заглядывая из передней в большую скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата.

— А что вам нужно? — спросил рыжий человек.

— Тут я... две недели тому назад прошение подал... о месте писца... Могу я видеть господина инспектора?

— Это просто возмутительно...— пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. — Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

— Виноват-с...— забормотал Миша.— Я не знал-с...

И, неловко поклонившись, Миша вышел... Гонорар — увы и ах!

ИВАН МАТВЕИЧ

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы.— Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты...

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя,— говорит он негодующим голосом.— Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот наконец слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте,— говорит он, протягивая большую мокрую руку.— Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич! — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук.— Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватает его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он с отчаянием.— Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что... что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всплескивает руками ученый.— Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дому,— бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф.— Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет... Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвеич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да

развязывайте поскорее ваш ужасный шарф! Это наконец невыносимо!

Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба... Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь,— подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки.— Несносный вы человек... Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите... На чем мы остановились?

Иван Матвеич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том... запятая... что некоторые, так сказать, основные формы... написали? — формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал... запятая... которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них... С новой строки... Там, конечно, точка... Наиболее самостоятельности представляют... представляют... те формы, которые имеют не столько политический... запятая... сколько социальный характер...

— Теперь у гимназистов другая форма... серая...— говорит Иван Матвеич.— Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили...

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый.— Характер... написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству... государственных функций, а не регулированию народного быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм... последние три слова в кавычках... Э — э... тово... Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага... так... А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь... Я из четвертого класса вышел.

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвеича.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвеич! Когда наконец вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — обижается Иван Матвеич.— Зато в других строках больше сорока букв... Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право... Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвеич, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями... Иван Матвеич неловко, обеими руками, берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвеич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым... Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей... Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать... Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да... А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уже весной пахнет... Везде лужи, снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области... А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка... везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так... от нечего делать...— говорит Иван Матвеич и вздыхает.— Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет... А что

мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да... Однако будем писать... На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвеич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.

— М-да...— говорит ученый.— Так-с... Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеич?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да... А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

— Признаться, мало...— говорит Иван Матвеич, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет...

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя... Нет, не читал!

— Иван Матвеич! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг... Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не клеится сегодня...— бормочет ученый.— Иван Матвеич, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью... Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

— Так-с... хорошо-с. А писать все-таки нужно.

Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра,— говорит он.— Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас бог опоздать.

Иван Матвеич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь...

Иван Матвеич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

ВЕДЬМА

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

— Я зна-аю! — бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем.— Я все знаю!

У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости — ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает...

— Поди ложись! — проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

— Что?

— Ничего... Кажись, кто-то едет...— тихо ответила дьячиха.

Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове.

— Слышишь?— спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва

уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

— Это почта...— проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

— Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха.

— Дело казенное. Хочешь — не хочешь, поезжай...

Стон подержался в воздухе и замер.

— Проехала! — сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

— Не слыхать...— пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

— Почту кружит! — прохрипел он, злобно косясь на жену.— Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю? — забормотал он.— Я все знаю, чтоб ты пропала!

— Что ты знаешь? — тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

— А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит... все это ты наделала! Ты!

— Бесишься, глупый...— покойно заметила дьячиха.

— Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

— Тьфу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь.— Да ты перекрестись, дурень!

— Ведьма и есть ведьма,— продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол

рубахи.— Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и — что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!

— Ничего ты не видел...

— Ну да! А этой зимой перед рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла... помнишь? — писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то — тьфу!— сатана.

Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.

— И теперь тоже! — продолжал Савелий.— Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

— Вот дурень! — усмехнулась дьячиха.— Что ж, по твоему по дурацкому уму, я непастье делаю?

— Гм... Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

— О безумие! О Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы

в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

— Да и глупый же ты, Савелий! — вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа.— Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

— Не то чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся... Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас — ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской — у-у-у! — спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!

— Да что ты пристал ко мне, окаянный? — вышла из терпения дьячиха.— Что ты пристал ко мне, смола?

— А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дьяково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаете знать, почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

— Ради бога, пустите погреться! — послышался дрожащий густой бас.— Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

— А кто вы? — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

— Почта! — ответил другой голос.

— Недаром дьяволила! — махнул рукой Савелий.— Так и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая...

— И тюки вносить? — спросила вторая хриплым басом.

— Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.

— Собачья жизнь! — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле.— Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда все это кончится! Конца-краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

— На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского,— ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.

— Слышь, Степан? — повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине.— Мы на Гуляевский бугор попали!

— Да... далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и немного погодя внес другой тюк поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

— Может, с дороги чаю покушаете? — спросила дьячиха.

— Куда тут чаи распивать! — нахмурился почтальон.— Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите...

— Наказал бог погодой! — вздохнула дьячиха.

— М-да... Вы же сами кто тут будете?

— Мы? Тутошние, при церкви... Мы из духовного звания... Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и... заместо сторожа. Ему споручено за церквой глядеть...

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

— Все-таки мы духовного звания...— добавила дьячиха.

— Чем же вы живете? — спросил почтальон.

— При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится...— вздохнула дьячиха.— Дядькинский отец Никодим, завидущие глаза, служит тут на Николу летнего, да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому!

— Врешь! — прохрипел Савелий.— Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!

— Какой он у тебя сердитый! — усмехнулся почтальон.— А давно ты замужем?

— С прощеного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

— Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил! — сказал почтальон, глядя на спину Савелия.— И место получил и жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

— Собачья жизнь...— пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза.— И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое, протяжное «к-х-х-х...». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

— Ну, чего воззрилась? — сердито прошептал Савелий.

— А тебе что? Лежи! — ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдыхнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем.

Дьячок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

— Зачем ты это? — спросила дьячиха.

— Чтоб огонь ему в глаза не бил.

— А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

— Ну, не хитрость ли бесовская? — воскликнул он.— А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?

— А, сатана длиннополая! — прошипела дьячиха, поморщившись от досады.— Погоди же!

И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

— Хоть я и длиннополый, нечистый дух,— проговорил, немного постояв, Савелий,— а тут им нечего спать... Да... Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего... Эй, ты! — крикнул Савелий в сени.— Ты, ямщик... как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

— Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не тово... Спать не годится.

Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

— А ехать же когда? — забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав.— На то ведь она и почта, чтоб во благовремении поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный мас-

леный взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.

— Ну, куда в такую погоду ехать! — услышал он мягкий женский голос.— Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

— А почта? — встревожился Савелий.— Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился.

— Пять минуток еще бы можно поспать...— зевнул он.— Все равно опоздали...

— А может, как раз вовремя приедем! — послышался голос из сеней.— Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

— Помоги, что ль! — крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

— Чаю бы попили...— сказала она.

— Я бы ничего... да вот они собрались! — соглашался он.— Все равно опоздали.

— А вы останьтесь! — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

— Какая у тебя... шея...

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

— Фу, какая...

— Остались бы... чаю попили бы.

— Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! — послышался со двора голос ямщика.— Поперек клади.

— Остались бы... Ишь как воет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье.

— Все готово! — сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

— Что же, садись, показывай дорогу!—услышала она.

Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безыменного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула

руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

— Даром только ворожила: уехал! — сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

— А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! — пробормотал он, съеживаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

— Будет с тебя и места,— сказала она,— а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи!

— Ну, ну... Спи!

— Несчастная я! — зарыдала дьячиха.— Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, ка-

кой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее...

— Ведьма! — негодовал он.— Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцами ее затылка... подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала... Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

— Отстань! — крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

ОТРАВА

На земле весь род людской... и т. д.

Из арии Мефистофеля

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К°. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви... Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней... Черту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (черт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово... Уговор лучше денег... Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться... Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово... ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не все ли это равно? — вспыхнул идеалист.— И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то... Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал... Человек я, конечно, не

бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня, кроме Любочки, еще пятеро... Так-то, друг милый Петя... Охохоххх... (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь... В случае, ежели что-нибудь этакое... детородность там или другое какое событие, то могу помогать... Понемножку могу... Даже сейчас могу...

— Выдумали, ей-богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить... Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

— На, бери! — сказал он.— Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да, знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь... Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай... А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу...

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет... Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю...

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

— Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шелковой, знаешь, обивкой... Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, черт ее побери, заковыристой лампой... Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене? [1]

---

[1] Вы понимаете? (от *франц.* comprenez vous?)

Ха-ха... В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом... То есть черт знает, как хорошо все это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, черта... Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать... Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану...

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйте в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет...

«А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку.— Одна софа небось рублей четыреста стоит...»

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, господин доктор, собственно говоря, не болен,— начал идеалист, мило улыбаясь,— а пришел к вам по делу... Видите ли, я вчера женился, и... мне очень нужны деньги... Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу...

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза доктор.

— А вот по этому... Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо.— Я думал, что вы

больны, а вы с ерундой какой-то... Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы черт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой... Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с...— сконфузился Лысов,— я не знал-с...

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

— А когда же прикажете за получением приходить?

— Никогда... Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае,— сказал он,— извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и... наложить запрещение на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этот ваш Затыкин или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он.— Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же...»

Вечером, вместо того чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо... В этом письме он категорически, и угрожая судебным приставом, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо... Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу...

Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала... Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние должишки, портному, в лавочку... Когда дней через

десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет... Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать...— кончил он.— Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психопат...— ухмыльнулся Клябов.— Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово... добросовестны!

— Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке.— Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу... Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей... Слышишь? Поди, так и скажи...

— Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

— Аа... для тебя он, значит, дороже мужа! По-

твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается...— пробормотал Лысов.— Этого еще недоставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь... не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги... Этим стуком и завершился медовый месяц...

РАССКАЗ БЕЗ КОНЦА

Сценка

В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха.

— Просит, барин, чтоб вы к ней сходили...— сказала кухарка, тяжело переводя дух.— С ее жильцом нехорошо случилось... Застрелился или завесился...

— Что же я могу сделать? — сказал я.— Пусть идет к доктору или в полицию!

— Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печку забилась... Сходили бы, барин!

Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была отворена. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я отворил его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нащупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.

Сейчас я пишу не святочный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована

одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые, аспидного цвета обои скупо освещались тремя, рядом стоявшими, восковыми пятикопеечными свечками. Посреди залика на двух столах стоял гроб. Восковые свечки горели для того, чтобы освещать маленькое, смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисеи, а из волн глядели две бледные, неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы залика, образа́ за гробом, гроб — все, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно мертвенно, как сама могила...

«Что за чудеса? — подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти.— Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»

Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой...

— Воды дайте...— услышал я стон.

Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я отворил эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.

— Здесь есть кто-нибудь? — спросил я.

И, не дождавшись ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его в луже крови валялся револьвер.

— Не уходите...— услышал я слабый голос, когда потухла спичка.— Свеча на столе.

Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.

— Боль нестерпимая,— прошептал он,— а нет сил выстрелить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!

Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежу; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между пятым и шестым ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку — только. Самую пулю нашел я в складках сюртучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки, полотенца и двух платков, я дал больному напиться и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во все время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.

— Теперь вы потрудитесь лежать покойно,— сказал я, покончив с повязкой,— а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.

— Не нужно! — пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь.

В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.

— Не нужно! Посидите еще минут пять... десять... Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.

Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом, да пре-

скверная олеография на стене — вот и все, что я увидел. Сыро, мрачно и серо.

— Какой ветер! — проговорил больной, не открывая глаз.— Как он ноет!

— Да...— сказал я.— Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?

— А что? — спросил он, быстро открыв глаза.

По лицу его пробежала тучка.

— Точно я видел вас там. Вы не Васильев?

— Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.

— Не легче, но я спросил вас так... между прочим.

Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.

— Не понимаю я этого любопытства! — проворчал он.— Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!

Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:

— Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и... неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах!

— Напрасно вы волнуетесь... Я и не думал спрашивать вас о причинах.

— Так спросили бы... Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите... Я и сам, признаться, не понимаю... Есть протокольно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны... Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать «из дневника самоубийцы». Один только бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.

— Все это очень мило,— сказал я,— но вам не следует много говорить...

Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора:

— Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выеденного... Все зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время... Взять, например, меня. Полчаса тому назад я страстно желал смерти, теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?

— Свет действительно влияет...— пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь.— Влияние света на организм...

— Влияние света... Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего...

— Простите,— сказал я,— но... судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы... рисуетесь.

— Да? — спохватился Васильев.— Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь... Объясните-ка!

Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!

— Вы здесь? — спросил он, вдруг приподнимаясь на локте.— Боже мой! Нужно только прислушаться!

Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.

— «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие»,— читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

— Не правда ли, это весело? — прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо.— Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Незнающих привел бы он в смятение,— как говорит Гамлет,— исторг бы силу из очей и слуха». Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?

— Без пяти три.

— Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады... брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!

Помолчав немного, он вдруг спросил:

— Давно видали генерала Лухачева?

— С самого лета не видел.

— Любит петушиться, но милый старикашка. А вы все пописываете?

— Да, немножко.

— Так... А помните, каким фырсиком, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело... Даже при воспоминании весной пахнет... А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.

— Вы опять... рисуетесь,— сказал я.— В вашем положении ничего нет юмористического.

— Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?

Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.

— Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают,— сказал он,— но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году на ваших глазах не знал, куда деваться от счастья, а теперь на ваших же глазах...

Васильев упал головой на подушку и засмеялся.

— Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц... мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и... завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.

Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.

— Послушайте,— сказал я,— вы лежите, а я схожу в аптеку.

Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, я взглянул на гроб и читавшую Милютиху. Как я ни напрягал зрения, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенькую ingénu [1] лухачевской труппы.

«Sic transit» [2],— подумал я.

Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате все время, пока не наступило утро и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду.

---

[1] Актриса, играющая роль наивных девушек (*франц.*).

[2] «Так проходит» (*лат.*) (Начало поговорки: так проходит слава земная.)

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, еле волоча ноги и изредка конвульсивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, когда я каким-то ничтожным вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная злоба.

— «Колѣсное завѣдение»,— прочел он вывеску.— Безграмотные невежи, черт бы их взял совсем!

С кладбища я повез его к себе.

Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены.

В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет. Ему весело.

Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда снисходительный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.

— Черт возьми, какие ужасы,— бормочет он улыбаясь.

Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол.

— Чем же кончить? — спрашиваю я его.

— Чем кончить? Гм...

Он окидывает взглядом комнату, меня, себя... Он ви-

дит свой новый модный костюм, слышит смех дам и...упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.

— Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что все это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать, выстрадал черт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, вечна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! Словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно все на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!

— Петр Николаевич, скоро же вы? — зовут моего героя нетерпеливые дамы.

— Сию минуту-с! — говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстук.— Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? Homo sum...[1] А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли да о тех страхах, которые приходится каждому из нас переживать, будь все это вечно,— скверно жилось бы тогда на свете нашему брату человеку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отчаяние и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теориями вроде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.

— Чем же кончить? — спрашиваю я себя вслух.

Васильев, посвистывая и поправляя галстук, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед, и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий,— жаль всего того, что я и сам перечувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...

---

[1] Я человек... (*лат.*) (Начало поговорки: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.)

ШУТОЧКА

Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я.— Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я.— Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра

нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду,— говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами.— Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом

долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес *те* слова? Он, или мне только послышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне... мне нравится это катанье,— говорит она краснея.— Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.». И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер... Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей,

по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет, точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места... «Жжжж»... жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла — это все равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...

АГАФЬЯ

В бытность мою в С—м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет двадцати пяти, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его... От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной

работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами наперегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа, я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от

неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу.

Все замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» — и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

— Отчего это нынче соловьи не поют? — спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал коростель.

— Вот вам и соловей...— усмехнулся Савка.— Дерг-дерг! Дерг-дерг! Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

— Мне нравится эта птица...— сказал я.— Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком.

— Ишь ты, собака...— пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия.

— А какой край для птиц роднее? — спросил он.— Наш или тамошний?

— Конечно, наш. Тут птица и сама родится и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, все любопытно. Птица таперя, человек ли... камешек ли этот взять — во всем своя умственность!.. Эх, кабы знатье, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить... Просилась одна нынче придтить...

— Ах, сделай милость, я мешать не стану! — сказал я.— Я могу и в роще лечь...

— Ну, вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком.

— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.

— Нет... Нынче новая просилась... Агафья Стрельчиха...

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал... Это была совсем еще молодая бабенка, лет девятнадцати — двадцати, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории! — вздохнул я.

— А пусть...

И, немного подумав, Савка прибавил:

— Я говорил бабам, не слушаются... Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание... Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее... Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще бо́льшую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:

— Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать.

И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мною мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то... Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика, и принялись за еду... Серая крупная соль, грязные сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как все это вкусно!

— Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого,— сказал я, указывая на чашку.— Где ты его берешь?

— Бабы носят...— промычал Савка.

— За что же это они тебе носят?

— Так... из жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить... Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.

— Кто-то бродом идет...— сказал Савка.

Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

— Цыц! — крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно,— это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— А... это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

— Я... я-с,— забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. — Кланялся вам Яков и велел передать... вот тут что-то такое...

— Ну, что врать: Яков! — усмехнулся Савка. — Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

— А уж я думал, что ты не придешь нынче...— сказал Савка после продолжительного молчания.— Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить?

— Выдумал! — проговорила Агафья. — Пьяницу какую нашел...

— А ты выпей... Жарче на душе станет... Ну!

Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то...— продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно-шутливый оттенок.— Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А, пирог и картошка... Хорошо живут!— вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом.— Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впотьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

— Это вчерашний! — сказал он.— Постой же!..

И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще.

— Ну, на что он тебе сдался? — крикнул я ему вслед.— Оставь!

Савка махнул рукой — не кричите, мол, — и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьев ловил он непременно руками,

стрелял бекасинником щук или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью... От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

— Как живешь, Агаша? — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.

— Слава богу... Вы же никому не рассказывайте, барин...— прибавила она вдруг шепотом.

— Ну, полно,— успокоил я ее.—Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша... А если узнает Яков?

— Не узнает...

— Ну, а вдруг!

— Нет... Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет...

Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки.

Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села.

— Да что же это он? — не выдержала она.— Ведь поезд не завтра придет! Мне сейчас уходить нужно!

— Савка! — крикнул я.— Савка!

Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала.

— Мне уходить пора! — проговорила она волнующимся голосом.— Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезды ходят!

Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум.

Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками.

— Ну, где же он? — заговорила она, нервно смеясь.— Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-богу, барин, уйду!

Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту... еще минута, и все стихло.

— Погожу еще минутку... — вздохнула Агафья, решительно садясь. — Так и быть, погожу!

Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой, огородной земле и что-то тихо мурлыкал.

— Ведь вот счастье, скажи на милость! — весело засмеялся он.— Только что, это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал! Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покеда опять запоет, да так и плюнул...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.

— А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?— спросил он.

При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды.

— А расскажи-ка барину, зачем ты сюда пришла!— продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию.— Нука, расскажи, мужнина жена! Хо-хо... Нешто нам, брат Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших

покрываться росой... Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался.

Я услышал счастливый смех. То смеялась Агафья.

«А поезд? — вспомнил я.— Поезд давно уже пришел».

Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов, что-то вроде: «Фу ты, ну ты... я да ты...» Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотою ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.

— Агаша, а ведь поезд давно уж пришел! — сказал я.

— Пора, пора тебе,— подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой.— Что разлеглась тут? Ты, бесстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему.

— Давно уж пора! — сказал я.

Агафья заворочалась и привстала на одно колено... Она страдала... Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебание. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке.

— А ну его! — сказала она с диким грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль.

Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла,— ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел... Я видел, как звезды стали туманиться

и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив...

— А-га-фья!..— донесся из деревни чей-то глухой голос.— Агафья!

То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время несдерживаемый смех: жена забылась, опьянела и счастием нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее назавтра муку.

Я уснул...

Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые и умытые, деревья и поле — все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца.

— Так-то вы рыбу ловите? — усмехнулся Савка.— Ну, вставайте!

Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздух.

— Агаша ушла? — спросил я.

— Вон она,— указал мне Савка в сторону, где был брод.

Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанная, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле...

— Знает кошка, чье мясо съела! — бормотал Савка, щуря на нее глаза.— Идет и хвост поджала... Шкодливы эти бабы, как кошки, трусливы — как зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня в волости... опять за баб драть будут...

Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух.

— То-то, что страшно! — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей.— Не хочется идти! Муж-то уж целый час стоит и поджидает... Видали его?

Савка сказал последние слова улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около крайней избы, на дороге, стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что́ он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчило от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села.

— Ты бы хоть за куст спрятался... — сказал я Савке.— Неравно тебя муж увидит...

— Он и без того знает, от кого это Агашка идет... На огород по ночам бабы не за капустой ходят — всем известно.

Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливою жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных.

— Кошке смех, мышке слезы...— вздохнул он.

Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решилась.

МОЙ РАЗГОВОР С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ

— Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич,— обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль,— зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

— Нельзя без этого...— ответил Семен Алексеич, значительно пошевелив бровями.

— Почему же?

— А потому... Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания, они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам...

— Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить...— глубокомысленно заметил Семен Алексеич.

— Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще... Нет, серьезно, Семен Алексеич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеич подумал, вздохнул и сказал:

— М-да... Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

— Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл, как предохранительное средство от посягателей, теперь же...

— Вот видите! — обрадовался почтмейстер.— А нешто посягателей нет?

— Теперь же,— продолжал я,— у конвертов есть подклейка из гуммиарабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить — раз плюнуть!

— Это верно...— вздохнул Семен Алексеич.— От своих воров не убережешься...

— Ну, вот видите! К чему же печати?

— Ежели во все входить... — протяжно произнес почтмейстер,— да обо всем думать, как, почему да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делать так, как показано... Право!

— Это справедливо...— согласился я.— Но позвольте еще один вопрос... Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произвесть, чем этот рубль посылать... Судите сами... Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облокачиваться!»

— Без этого нельзя...

— Нельзя, но позвольте... Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать «денежное»... Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди...

Ну-с, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит: «Ваш сургуч?» А у моей мамаши этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печатищи насуслит, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говорит, печатку?» А у моей мамаши, кроме наперстка да стальных очков, никакой другой мебели...

— Можно и без печатки...

— Но позвольте... Засим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку, за... голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь... Ну-с, рубль записывают в двадцати книгах и наконец посылают... Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в двадцати книгах записываете, пятью нумерами нумеруете и за десять замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

— А на родителей грех роптать!— вздохнул Семен Алексеич.

— То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личность и подпись... Хорошо еще, что удостоверение только десять — пятнадцать копеек стоит,— а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеич, меня отлично знаете... И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали... Для чего же вам удостоверение моей личности?

— Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что... лучше и не связываться... Формалистика, одним словом!

— Но ведь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну... а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы инкогнито!

— И рассудили бы вы: какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтоб украсть деньги? Ведь это подлог-с! Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука... Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон входит к вам и — «Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не может этого быть...— покачал головой почтмейстер.

— Вот вам и не может быть! Там все зиждется на взаимном доверии. Я вам доверяю, вы мне... Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки... Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы...

— Ежели во все вникать,— перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь,— да ежели все решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше...

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

— Не нашего ума это дело!

ВОЛК

Помещик Нилов, плотный крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, и следователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новенького, дед? — обратился Нилов к Максиму.

— Что новенького? — усмехнулся старик.— А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьеца попросить.

— На что тебе ружье?

— Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности... Все равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегает... Вчера ввечеру около деревни жеребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он, проклятый, сидит под ветлой и бьет себя лапой по морде. Я на него — «тю!», а он глядит на меня, как нечистая сила...

Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску... Испугался я до смерти.

— Черт знает что...— пробормотал следователь.— Бешеный волк бегает, а мы тут шатаемся...

— Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

— Не станете же вы стрелять в волка дробью...

— Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

— Вам хорошо рассуждать! — вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. — Силища у вас — слава тебе, господи, на десятерых хватит. Не то, что тростью, вы пальцем собаку уложите. Простой же смертный, пока соберется поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история... Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил, как шальной, и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни... Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего—цап его бешеная собака! Человеком моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения... Засим можете себе вообразить томительное, гнетущее ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь... Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения.

— А у нас на деревне лечат, барин! — сказал Максим.— Мирон кого угодно вылечит.

— Чепуха... — вздохнул Нилов.— Насчет Мирона все это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Степку искусала собака, и никакие Мироны не помогли... Как ни поили его всякою дрянью, а все-таки

К рассказу «Ведьма».

Художник А. Апсит. 1902.

взбесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случись со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человека от случайностей и пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, яйца выеденного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал... Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закромов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло...

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку... Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатилась к плотине.

«Волк!» — вспомнил Нилов.

Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади,— соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа.— Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и...и задушу его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним...

«Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный скрипучий звук, повернул к нему

морду и остановился. Он точно соображал: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком...— думал Нилов.— Ошеломить...»

Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу: он или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ею левую подмышку, поднял волка на воздух. Все это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, словно шпоры... Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся с страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, протянуть же морду к лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль...

«Скверно! — думал Нилов, оттягивая возможно дальше назад свою голову.— Слюна его попала мне на губу. Стало быть, все равно уже пропал, даже если и избавлюсь от него каким-нибудь чудом».

— Ко мне! — закричал он. — Максим! Ко мне!

Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу... Волк щелкал зубами, издавал скрипучие звуки и брызгал... Задние лапы его, ища опоры, ерзали по коленям Нилова... В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человеческие.

— Ко мне! — закричал еще раз Нилов.— Максим!

Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно

чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал не громко.

«Буду пятиться назад...— решил он.— Дойду задом до дверей и там крикну».

Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный, душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и по груди. Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя...

Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уж разжали пальцы и доказали ему, что волк убит. Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уж кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу. Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые им ужасы и опасность, которая для него только что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его в реку? — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение.— Отчего в реку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши кое-как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадями, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком.

Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

— Дед,— обратился он к Максиму,— вези меня к Мирону! Скорей! Идем, садись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шепотом:

— Не надо, барин, к Мирону ехать... И я, извините, лечить умею.

— Хорошо, только скорее, пожалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной теплой жидкости с полынным вкусом.

— А Степка умер...— пробормотал Нилов.— Допустим, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Овчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменил лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам.

Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван.

— Доктор! — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица.— Григорий Иваныч! Делайте со мной, что хотите, но дальше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

— Вам нужно лечь в постель,— сказал Овчинников.

— Ах, подите вы с вашим лежаньем! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну да займитесь же мною, бога ради! Что мне делать? Вот что, не поехать ли мне к профессорам?

— Это все равно. Поезжайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаешь, пока... то успеешь раз десять взбеситься. Я готов теперь все состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же, ради бога! Не понимаю этого воз-

мутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой мухе завидую... я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал.

— Послушайте, — начал утешать его Овчинников.— Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевают только тридцать. Потом, что очень важно, волк кусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану и попал яд, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде.

— Вы думаете? Утешаете вы или серьезно?

— Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте!

Овчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни.

— Стало быть, вы напрасно беспокоитесь,— сказал он, кончив чтение.— Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк, или здоровый.

— М-да...— согласился Нилов улыбаясь.— Теперь понятно, конечно. Стало быть, все это чепуха?

— Разумеется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной...— засмеялся Нилов, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этакий, я покоен... Я доволен и даже счастлив, ей-богу... Нет, честное слово... даже.

Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилев от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левою рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним

вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила, все крыльцо затрепетало под ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! — думал Овчинников, с умилением глядя на его большую спину.— Какой молодец!»

Севши в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с волком.

— Была игра! — кончил он, весело смеясь.— Будет о чем вспомнить в старости. Погоняй, Тришка!

В ПАРИЖ!

Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Вонючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву «Ю». Грязнов тонок, высок и жилист, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампадкин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает ноль. Оба были навеселе и слегка пошатывались.

— Рекомендована новая грамматика Грота,— бормотал Лампадкин, всхлипывая своими полными грязи калошами.— Грот доказывает ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужеского рода имеют не *аго*, а *ого*... Вот тут и понимай! Вчера Перхоткина без обеда за *ого* в слове *золотого* оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать... Стыд! Срам!

Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную, шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась поджать как можно дальше под живот свой ощипанный хвост. Случай неважный, но секретарь управы принадлежит к числу тех

восприимчивых, легко воспламеняющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Рви его! Куси, анафему! Фюйть! — начал он рычать и подсвистывать, примыкая к собачьей цепи. — Рррр... Так его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и, прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампадкина за икру и побежала вдоль по улице. Собаки за ней.

— Ах ты, шут! — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем.— Чтоб тебя раздавило, чертова тварь! Лови! Бей!

— Лови! — раздались голоса, мешаясь со свистками. — Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост поджала и морду вниз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!

Приятели дождались, когда собаки скрылись из виду, взялись под руки и пошли дальше. Придя домой (педагог за семь рублей в месяц жил и столовался у секретаря), они уже забыли историю с дворняжкой... Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски благодушное... Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой.

— Ничего, ничего... я не дама! — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги.— Меня, господа, к вам прислали! Говорят, что вас обоих укусила собака.

— Как же, как же... укусила,— сказал Грязнов, ухмыляясь во все лицо. — Очень приятно! Садитесь, Митрий Фомич! Давно не видались, побей меня бог... Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси! Вы чем закусывать будете: редькой или колбасой?

— Говорят, что собака бешеная! — продолжал доктор, встревоженно глядя на приятелей.— Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. Чем черт не шутит? Покажите-ка, где она вас укусила?

— А, да наплюйте! — махнул рукой секретарь.— Укусила чуть-чуть... за палец... От этого не сбесишься... Может, вы пиво пить будете? Глашка, беги к жидовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала!

Каташкин сел и, насколько у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью... Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис.

На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя и привязывал там скворечню. Лампадкин стоял внизу под деревом и держал молоток и веревочки. Садик секретаря был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной.

— Грот доказывает еще ту теорию,— бормотал педагог,— что ворота не среднего рода, а мужеского. Гм... Значит, писать нужно не красныя ворота, а красные... Ну, это пусть он оближется! Скорей в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения.

И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых академиков, как в это время скрипнула садовая калитка, и в сад нежданно-негаданно, словно черт из люка, вошел уездный предводитель Позвоночников. Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток.

— Здравствуйте, милейший! — обратился к нему предводитель.— Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала!

— Может, она вовсе не бешеная,— пробормотал с верхушки тополя Грязнов.— Одни только бабьи разговоры!

— Может быть; а может быть, и бешеная! — сказал предводитель.— Так ведь нельзя рассуждать... На всякий случай нужно принять меры!

— Какие же меры-с? — тихо спросил педагог.— Нас вчера прижигали-с!

— Сейчас мне говорил доктор, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли... Да так, вероятно, и придется вам сделать: езжайте в Париж!

Педагог выронил веревочки и окаменел, а секретарь от удивления едва не свалился с дерева...

— В Пари-иж? — протянул он.— Да что я там буду делать?

— Вы поедете к Пастеру... Конечно, это немножко дорого будет стоить, но что делать? Здоровье и жизнь дороже... И вы успокоитесь, да и мы будем покойны... Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу... С своей стороны моя жена жертвует вам двести рублей... Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вам выхлопочу...

— Сбесились чудаки! — ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя.— В Париж! Ах, дурни, прости господи! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то — на́ тебе!.. в Париж! И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая. а то из-за дворняжки — тьфу! Скажи на милость, каких аристократов нашел: в Париж! Чтоб я пропал, ежели поеду!

Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом:

— Знаешь что, Вася? Поедем! Накажи меня господь, поедем! Ведь Париж, заграница... Европа!

— Чего я там не видел? Ну его!

— Цивилизация! — продолжал восторгаться Лампадкин.— Господи, какая цивилизация! Виды эти, разные Везувии... окрестности! Что ни шаг, то и окрестности! Ей-богу, поедем!

— Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?

— Там не немцы, а французы!

— Один шут! Что я с ними буду делать? На них глядючи, я со смеху околею! При моем характере я их всех там перебью! Поезжай только, так сам не рад будешь... И оберут и оскоромишься... А еще, чего доб-

рого, вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь...

Грязнов наотрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обнявшись, по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспокоен, педагог же восторженно размахивал руками и искал, с кем бы поделиться своим счастьем...

— Все бы ничего, коли б не этот Париж! — утешал себя вслух Грязнов.— Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда ни придешь, закуска и выпивка, все деньги дают, но... Париж! За каким шутом я туда поеду? Прощай, братцы! — останавливал он встречных.— В Париж едем! Не поминай лихом! Может, и не увидимся больше.

Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая подслеповатым пасынком надзирателя Вонючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а мировиха дала им сто рублей с просьбой купить по образчику материи... Благопожеланиям, вздохам и стенаниям конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал, секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, все время надувался, чтобы не заплакать... Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся...

— Не поеду!— рванулся он от вагона.— Пусть лучше сбешусь, чем к пастору ехать! Ну его!

Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся.

Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампадкина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда стукнула калитка и послышалось из сеней знакомое сопенье, явление потеряло свой спиритический

характер. Сестры замерли от удивления и вместо вопроса обратили к пришедшему свои вытянувшиеся, побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой.

— Приехали это мы в Курск...— начал он, хрипло плача.— Вася мне и говорит: «На вокзале, говорит, дорого обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли (педагог всхлипнул)... А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой... «Ты, кричит, меня на погибель везешь!» Шуметь начал... А как после водки херес стал пить, то... протокол составили. Дальше — больше и... все до копейки! Еле на дорогу осталось...

— Где же Вася? — встревожились девицы.

— В Ку...Курске... Просил, чтоб вы ему скорей на дорогу денег выслали...

Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил:

— А Курск хороший город! Очень хороший! С удовольствием там день прожил...

ВЕСНОЙ

С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом все весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. Деревья голы, но уже живут, дышат.

В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать там скворечни. Да, все хорошо в это счастливое время года, в особенности если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны, не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Нехорошо, если вы больны, если чахнете в канцелярии, если знаетесь с музами.

Да, весною не следует знаться с музами.

Вы поглядите, как хорошо, как славно чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелей Петрович спозаранку нарядился в широкополую соломен-

ную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он поднял еще утром на аллее; посмотрите: он стоит, подбоченясь, перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зовет «стрюцким», выражает самодовольство и достоинство. На природу глядит он с сознанием своего превосходства над ней, и во взгляде у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто.

Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает все, все тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узкогрудая исхудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжереи и кормит постными щами его детей.

А охотник Иван Захаров? Этот в истрепанной драповой куртке и в калошах на босу ногу сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыжи. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется путь, по которому он пойдет, со всеми тропинками, зажорами, ручьями; закрыв глаза, он видит длинный, прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и напрягая свой тонкий слух; ему чудятся звуки, которые издает харкающий вальдшнеп; он уже слышит, как в монастыре, по соседству, после всенощной, пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола... Ему хорошо, он безмерно, бестолково счастлив.

Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человека, который служит у генерала Стремоухова не то писарем, не то младшим управляющим. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда сыт и одет и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие пожимать белую, пухлую руку с крупным бриль-

янтовым перстнем, но тем не менее все-таки как он несчастлив! Вечно он с книжками, выписывает он на двадцать пять рублей журналов и пишет, пишет... Пишет он каждый вечер, каждое после-обеда, когда все спят, и все написанное прячет в свой большой сундук. В этом сундуке на самом дне лежат аккуратно сложенные брюки и жилеты; на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пилюль, пунцовый шарфик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всякого другого добра, а по краям сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги, и тут же два-три номера «Нашей губернии», где напечатаны рассказы и корреспонденции Макара Денисыча. Весь уезд считает его литератором, поэтом, все видят в нем что-то особенное, не любят его, говорят, что он не так говорит, не так ходит, не так курит, и сам он однажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто украл курицу.

Вот он, в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке, тихо идет по аллее... Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо или на старого грача, который сидит на ели.

Садовник стоит, подбоченясь, на лице у охотника написана строгость, а Макар Денисыч согнулся, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна давит и душит его своими испарениями, своей красотой!.. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд весна порождает в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и сам не разберет, что ему нужно. В самом деле, что ему нужно?

— А, здравствуйте, Макар Денисыч! — слышит он вдруг голос генерала Стремоухова.— Что, еще не приезжали с почты?

— Нет еще, ваше превосходительство,— отвечает Макар Денисыч, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый веселый генерал со своей маленькой дочкой.

— Чудесная погода! Совсем весна! — говорит генерал.— А вы гуляете? Чай, вдохновляетесь?

А в глазах у него написано:

«Бездарность! Посредственность!»

— Ах, батенька! — говорит генерал, берясь за вожжи.— Какую прекрасную штучку я прочел сегодня за кофе! Пустячок, в две странички, но какая прелесть! Жаль, что вы не владеете французским языком, я дал бы вам почитать...

Генерал наскоро, пятое через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рассказа, а Макар Денисыч слушает и чувствует неловкость, словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки.

«Не понимаю, что он там нашел хорошего? — думает он, глядя вслед исчезающей коляске.— Содержание пошлое, избитое... Мои рассказы гораздо содержательнее».

И Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие — это боль, это катар души; кто болеет им, тому уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь организм. Отравленный Макар идет дальше и через садовую калитку выходит на грязную дорогу. Тут, подпрыгивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов.

— А, господину писателю!— кричит он.— Наше вам!

Будь Макар Денисыч только писарем или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким снисходительным, небрежным тоном, но он «писатель», он бездарность, посредственность!

Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственностями, то они неумолимы, безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукописи. Садовник сломал старый фикус и сгноил много дорогих растений, генерал ничего не делает и проедает чужое, господин Бубенцов, когда был мировым судьей, разбирал дела только раз в месяц и, разбирая, заикался, путал законы и нес чепуху, но все это прощается,

не замечается; но не заметить и пройти молчанием мимо бездарного Макара, пишущего неважные стихи и рассказы,— никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что свояченица генерала бьет горничных по щекам и бранится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флюгин украл у помещика Сивобразова собаку, никому до этого дела нет, но то, что недавно из «Нашей губернии» возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает насмешки, длинные разговоры, негодование, и Макара Денисыча уже называют Макаркой.

Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это «не так», а просто говорят:

— Опять этот сукин сын чепуху написал!

Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то все было бы прекрасно. Но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает или читает так, что лучше бы совсем не читать. Как втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, как втолковать ему, если он, кроме таких плоских штучек, никогда не читал ничего другого?

А как раздражают Макара женщины!

— Ах, Макар Денисыч! — говорят они ему обыкновенно.— Как жаль, что вас сегодня не было на базаре! Если б вы видели, как смешно дрались два мужика, вы наверно бы описали!

Все это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя, как на угольях. Душа его полна чувства одиночества, сиротства, тоски, той самой тоски, какую испытывают только очень одинокие люди и большие грешники. Никогда, ни разу в жизни, он не стоял так подбоченясь, как стоит садовник. Изредка разве, этак раз в пять лет, встретившись где-нибудь в лесу, или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет на минутку, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхи-

щаются, восторгаются, хохочут, так что, со стороны глядя, их обоих можно принять за безумных.

Но обыкновенно и эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно на смех, Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты, не признают друг друга, завидуют, ненавидят, раздражаются, расходятся врагами. Так и изнашивается, тает их молодость без радостей, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар.

А с молодостью проходит и весна.

МНОГО БУМАГИ

Архивное изыскание

«Имею честь покорнейше заявить 8-го сего ноября замечена болезнь на двух малчиках, которые ребята пришедши объяснили что в школе и протчии ребяты хворают глоткой жар и по всему телу сып, ходят они в Жаровскую земскую школу. *Ноября 19-го* дня 1885 г. Староста Ефим Кирилов».

«М. В. Д. N—ская Уездная Земская управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от 19-го ноября, предлагаю Вам, м. г., отправиться в Курносово и озаботиться по правилам науки о скорейшем прекращении эпидемии болезни, по всем признакам, скарлатины. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на каковую и прошу обратить внимание. *4-го декабря* 1885 г. За председателя: С. Паркин».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за № 102 от 4-го декабря, которое при сем прилагаю, прошу Вас, м. г., сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения скарлатинной эпидемии. *13-го* Декабря 1885 г. Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана N—ского уезда. № 1011. В Жаровское земское училище. Земский Врач Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины (или, как называют в народе, дифтерита). Во избежание проявления более грустных

результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я с своей стороны поставлен в необходимость покорнейше просить: не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений. *Января 2-го* дня 1886 года. Пристав Подпрунин».

«В дирекцию народных училищ Х—ской губернии. Г. Инспектору народных училищ. Учителя Жаровского училища Фортянского заявление. Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что вследствие отношения г. Пристава 2-го стана за № 1011 от 2-го января, появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь Вас известить. *12-го января* 1886 г. Учитель Фортянский».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. Ввиду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу, а теперь Вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с Вашими бумагами к уездному врачу, с меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера, и у меня нет времени отвечать на все Ваши канцелярские измышления. *26-го января*. Земской врач Радушный».

«М. В. Д. Его Высокоблагородию Господину N—скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь препроводить при сем отношение г. Земского Врача Радушного от 26 января за № 31 на предмет рассмотрения Вашего Высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально-служебной бумаге, как-то: «канцелярские измышления». *8-го февраля* дня 1886 г. Пристав Подпрунин».

Из частного письма г. Исправника к приставу 2-го стана: «Алексей Мануилович, возвращаю Вам Ваш ра-

порт. Прекратите пожалуйста Ваши постоянные неудовольствия с доктором Радушным. Такой антагонизм по меньшей мере неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в сношениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. О скарлатине в с. Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки».

«М. Н. П. Инспектор народных училищ Х—ской губернии, № 810. Г. Учителю Жаровского училища. На представление Ваше от *12-го января* сего года, поставляю Вас в известность, что уроки во вверенном Вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращение дальнейшего распространения скарлатины. *Февраля 22-го* дня 1886 г. Инспектор народных училищ И. Жилеткин».

По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове (а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще двадцать восемь), читателю станет понятным многое из следующего описания, помещенного в 36 № Х—ских губернских ведомостей:

«...покончив с чрезмерною детскою смертностью, перейдем теперь к более веселому и отрадному. Вчера в церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершал протоиерей о. Клиопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперова. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что г. К. получает в приданое *около миллиона* и, кроме того, еще имение Благодушное с конским заводом и с оранжереями, в коих произрастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу».

Как приятно быть бумажным фабрикантом!

КОШМАР

Непременный член по крестьянским делам присутствия Кунин, молодой человек лет тридцати, вернувшись из Петербурга в свое Борисово, послал первым делом верхового в Синьково за тамошним священником, отцом Яковом Смирновым.

Часов через пять отец Яков явился.

— Очень рад познакомиться! — встретил его в передней Кунин.— Уж год, как живу и служу здесь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просим! Но, однако... какой вы молодой!— удивился Кунин.— Сколько вам лет?

— Двадцать восемь-с...— проговорил отец Яков, слабо пожимая протянутую руку и, неизвестно отчего, краснея.

Кунин ввел гостя к себе в кабинет и принялся его рассматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!» — подумал он.

Действительно, в лице отца Якова было очень много «бабьего»: вздернутый нос, ярко-красные щеки и большие, серо-голубые глаза с жидкими, едва заметными бровями. Длинные рыжие волосы, сухие и гладкие, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться в настоящие, мужские усы, а бородка принадлежала к тому сорту никуда не годных бород, который у семинаристов почему-то называется «скоктанием»: реденькая, сильно просвечиваю-

щая; погладить и почесать ее гребнем нельзя, можно разве только пощипать... Вся эта скудная растительность сидела неравномерно, кустиками, словно отец Яков, вздумав загримироваться священником и начав приклеивать бороду, был прерван на половине дела. На нем была ряска цвета жидкого цикорного кофе с большими латками на обоих локтях.

«Странный субъект...—подумал Кунин, глядя на его полы, обрызганные грязью.— Приходит в дом первый раз и не может поприличней одеться».

— Садитесь, батюшка,— начал он более развязно, чем приветливо, придвигая к столу кресло.— Садитесь же, прошу вас!

Отец Яков кашлянул в кулак, неловко опустился на край кресла и положил ладони на колени. Малорослый, узкогрудый, с потом и краской на лице, он на первых же порах произвел на Кунина самое неприятное впечатление. Ранее Кунин никак не мог думать, что на Руси есть такие несолидные и жалкие на вид священники, а в позе отца Якова, в этом держании ладоней на коленях и в сидении на краешке ему виделось отсутствие достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласил вас по делу...— начал Кунин, откидываясь на спинку кресла.— На мою долю выпала приятная обязанность помочь вам в одном вашем полезном предприятии... Дело в том, что, вернувшись из Петербурга, я нашел у себя на столе письмо от предводителя. Егор Дмитриевич предлагает мне взять под свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у вас в Синькове. Я, батюшка, очень рад, всей душой... Даже больше: я с восторгом принимаю это предложение!

Кунин поднялся и заходил по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитриевичу и, вероятно, вам известно, что большими средствами я не располагаю. Имение мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непременного члена. Стало быть, на большую помощь вы рассчитывать не можете, но что в моих силах, то я все сделаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будут деньги...— ответил отец Яков.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-с... Мужики постановили на сходе платить ежегодно по тридцати копеек с каждой мужской души, но ведь это только обещание! А на первое обзаведение нужно по крайней мере рублей двести...

— М-да... К сожалению, у меня теперь нет этой суммы...— вздохнул Кунин.— В поездке я весь истратился и... задолжал даже. Давайте общими силами придумаем что-нибудь.

Кунин стал вслух придумывать. Он высказывал свои соображения и следил за лицом отца Якова, ища на нем одобрения или согласия. Но лицо это было бесстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кроме застенчивой робости и беспокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунин говорил о таких мудреных вещах, которых отец Яков не понимал, слушал только из деликатности и притом боялся, чтобы его не уличили в непонимании.

«Малый, как видно, не из очень умных...— думал Кунин.— Не в меру робок и глуповат».

Несколько оживился и даже улыбнулся отец Яков только тогда, когда в кабинет вошел лакей и внес на подносе два стакана чаю и сухарницу с крендельками. Он взял свой стакан и тотчас же принялся пить.

— Не написать ли нам преосвященному? — продолжал соображать вслух Кунин.— Ведь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшие духовные власти подняли вопрос о церковно-приходских школах. Они должны, по-настоящему, и средства указать. Мне помнится, я читал, что на этот счет даже была ассигнована сумма какая-то. Вам ничего не известно?

Отец Яков так погрузился в чаепитие, что не сразу ответил на этот вопрос. Он поднял на Кунина свои сероголубые глаза, подумал и, точно вспомнив его вопрос, отрицательно мотнул головой. По некрасивому лицу его от уха до уха разливалось выражение удовольствия и самого обыденного, прозаического аппетита. Он пил и смаковал каждый глоток. Выпив все до последней капли, он поставил свой стакан на стол, потом взял назад этот стакан, оглядел его дно и опять поставил. Выражение

удовольствия сползло с лица... Далее Кунин видел, как его гость взял из сухарницы один кренделек, откусил от него кусочек, потом повертел в руках и быстро сунул его себе в карман.

«Ну, уж это совсем не по-иерейски! — подумал Кунин, брезгливо пожимая плечами.— Что это, поповская жадность или ребячество?»

Дав гостю выпить еще один стакан чаю и проводив его до передней, Кунин лег на софу и весь отдался неприятному чувству, навеянному на него посещением отца Якова.

«Какой странный, дикий человек! — думал он. — Грязен, неряха, груб, глуп и, наверное, пьяница... Боже мой, и это священник, духовный отец! Это учитель народа! Воображаю, сколько иронии должно быть в голосе дьякона, возглашающего ему перед каждой обедней: «Благослови, владыко!» Хорош владыко! Владыко, не имеющий ни капли достоинства, невоспитанный, прячущий сухари в карманы, как школьник... Фи! Господи, в каком месте были глаза у архиерея, когда он посвящал этого человека? За кого они народ считают, если дают ему таких учителей? Тут нужны люди, которые...»

И Кунин задумался о том, кого должны изображать из себя русские священники...

«Будь, например, я попом... Образованный и любящий свое дело поп много может сделать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповедь? Если поп искренен и вдохновлен любовью к своему делу, то какие чудные, зажигательные проповеди он может говорить!»

Кунин закрыл глаза и стал мысленно слагать проповедь. Немного погодя он сидел за столом и быстро записывал.

«Дам тому рыжему, пусть прочтет в церкви...» — думал он.

В ближайшее воскресенье, утром, Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и кстати познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощанье с

землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится к земле и, прежде чем стать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет...

Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера; колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без дьякона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая и длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле.

Церковь была не полна. Кунина, при взгляде на прихожан, поразило на первых порах одно странное обстоятельство: он увидел только стариков и детей... Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения.

Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки.

«Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться...— думал Кунин.— Как в Риме у св. Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирение и простота».

Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на

каком голосе ему остановиться, на высоком теноре или жидком баске; кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто... Старый дьячок, очевидно больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дьячок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос, с одышкой, дрожащий и шепелявый... В довершение неблаголепия дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь.

— Жалуются на падение в народе религиозного чувства...— вздохнул он. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов!

Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно потягивало вон на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб, только солома на крыше лежала ровнее да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках да часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям: в одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом — табурет, в третьем — стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом— стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом — расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет.

— Вы это первый раз в нашем храме? — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик.

— Да, в первый. Вот что, батюшка... Прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла.

Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно быть, с попадьей...— подумал Кунин. — Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья...»

Немного погодя отец Яков вышел из-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана.

— Сейчас поставят самовар,— сказал он, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунин.— Изволь теперь ждать!»

— Я вам привез,— сказал он, — черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая... Может быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-с.

Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.

— Погода чудесная-с... — сказал он.

— Да. Между прочим, интересную я вещь прочел вчера... Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно.

Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения.

— Это ничего,— говорил он,— лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые, по своему развитию и нравственным качествам, не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник.

Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женский голос из-за перегородки.

Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нет, не дождусь я тут чаю! — подумал он, глядя на часы.— Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».

Кунин взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился с ним.

— Даром только утро пропало! — злился он дорогой.— Бревно! Пень! Школой он так же интересуется, как я прошлогодним снегом. Нет, не сварю я с ним каши! Ничего у нас с ним не выйдет! Если бы предводитель знал, какой здесь поп, то не спешил бы хлопотать о школе. Надо сперва о хорошем попе позаботиться, а потом уж о школе!

Кунин теперь почти ненавидел отца Якова. Этот человек, его жалкая, карикатурная фигура, в длинной помятой ризе, его бабье лицо, манера служить, образ жизни и канцелярская, застенчивая почтительность оскорбляли тот небольшой кусочек религиозного чувства, который оставался еще в груди Кунина и тихо теплился наряду с другими нянюшкиными сказками. А холодность и невнимание, с которыми он встретил искреннее, горячее участие Кунина в его же собственном деле, было трудно вынести самолюбию...

Вечером того же дня Кунин долго ходил по комнатам и думал, потом решительно сел за стол и написал архиерею письмо. Попросив денег для школы и благословения, он, между прочим, искренне, по-сыновьи, изложил свое мнение о синьковском священнике. «Он молод,— написал он,— недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяет тем требованиям, которые веками сложились у русского народа по отношению к его пастырям». Написав это письмо, Кунин легко вздохнул и лег спать с сознанием, что он сделал доброе дело.

В понедельник утром, когда он еще лежал в постели, ему доложили о приходе отца Якова. Вставать ему не хотелось, и он велел сказать, что его нет дома. Во вторник уехал он на съезд и, вернувшись в субботу, узнал от

прислуги, что без него ежедневно приходил отец Яков.

«Как, однако, ему мои крендельки понравились!»— подумал Кунин.

В воскресенье, перед вечером, пришел отец Яков. На этот раз не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Как и в первое свое посещение, он был красен и потен, сел, как и тогда, на краешек кресла. Кунин порешил не начинать разговора о школе, не метать бисера.

— Я вам, Павел Михайлович, списочек учебных пособий принес...— начал отец Яков.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отец Яков не из-за списочка пришел. Вся его фигура выражала сильное смущение, но в то же время на лице была написана решимость, как у человека, внезапно озаренного идеей. Он порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же он молчит?— злился Кунин.— Расселся тут! Мне ведь некогда возиться с ним!»

Чтобы хоть чем-нибудь сгладить неловкость своего молчания и скрыть борьбу, происходившую в нем, священник начал принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь пот и краску лица, не вязавшаяся с неподвижным взглядом серо-голубых глаз, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мне нужно ехать...— сказал он.

Отец Яков встрепенулся, как сонный человек, которого ударили, и, не переставая улыбаться, начал в смущении запахивать полы своей рясы. При всем отвращении к этому человеку Кунину вдруг стало жаль его, и он захотел смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, в другой раз...— сказал он,— а на прощанье у меня к вам будет просьба... Тут как-то я вдохновился, знаете, и написал две проповеди... Отдаю на ваше рассмотрение... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-с...— сказал отец Яков, покрывая ладонью лежавшие на столе проповеди Кунина.— Я возьму-с...

Постояв немного, помявшись и все еще запахивая рясу, он вдруг перестал принужденно улыбаться и решительно поднял голову.

— Павел Михайлович,— сказал он, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышал, что вы изволили тово... рассчитать своего писаря и... и ищете теперь нового...

— Да... А вы имеете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мне?

— Да разве вы бросаете священство? — изумился Кунин.

— Нет, нет,— быстро проговорил отец Яков, почему-то бледнея и дрожа всем телом.— Боже меня сохрани! Ежели сомневаетесь, то не нужно, не нужно. Я ведь это как бы между делом... чтоб дивиденды свои увеличить... Не нужно, не беспокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но ведь я плачу писарю только двадцать рублей в месяц!

— Господи, да я и десять взял бы! — прошептал отец Яков, оглядываясь.— И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и все изумляются. Жадный поп, алчный, куда он деньги девает? Я и сам это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людям в глаза глядеть совестно... Вам, Павел Михайлович, я по совести... привожу истинного бога в свидетели...

Отец Яков перевел дух и продолжал:

— Приготовил я вам дорогой целую исповедь, но... все забыл, не подберу теперь слов. Я получаю в год с прихода сто пятьдесят рублей, и все... удивляются, куда я эти деньги деваю. Но я вам все по совести объясню... Сорок рублей в год я за брата Петра в духовное училище взношу. Он там на всем готовом, но бумага и перья мои...

— Ах, верю, верю! Ну, к чему все это? — замахал рукой Кунин, чувствуя страшную тяжесть от этой откровенности гостя и не зная, куда деваться от слезливого блеска его глаз.

— Потом-с, я еще в консисторию за место свое не все еще выплатил. За место с меня двести рублей

положили, чтоб я по десяти в месяц выплачивал... Судите же теперь, что остается? А ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию по крайней мере хоть по три рубля в месяц!

— Какому отцу Авраамию?

— Отцу Авраамию, что до меня в Синькове священником был. Его лишили места за... слабость, а ведь он в Синькове и теперь живет! Куда ему деваться? Кто его кормить станет? Хоть он и стар, но ведь ему и угол, и хлеба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтоб он, при своем сане, пошел милостыню просить! Мне ведь грех будет, ежели что! Мне грех! Он... всем задолжал, а ведь мне грех, что я за него не плачу.

Отец Яков рванулся с места и, безумно глядя на пол, зашагал из угла в угол.

— Боже мой! Боже мой! — забормотал он, то поднимая руки, то опуская.— Спаси нас, господи, и помилуй! И зачем было такой сан на себя принимать, ежели ты маловер и сил у тебя нет? Нет конца моему отчаянию! Спаси, царица небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказал Кунин.

— Замучил голод, Павел Михайлович! — продолжал отец Яков. — Извините великодушно, но нет уже сил моих... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякий поможет, но... не могу! Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Вы служите тут и сами видите... Какая рука подымется просить у нищего? А просить у кого побогаче, у помещиков, не могу! Гордость! Совестно!

Отец Яков махнул рукой и нервно зачесал обеими руками голову.

— Совестно! Боже, как совестно! Не могу, гордец, чтоб люди мою бедность видели. Когда вы меня посетили, то ведь чаю вовсе не было, Павел Михайлович! Ни соринки его не было, а ведь открыться перед вами гордость помешала! Стыжусь своей одежды, вот этих латок... Риз своих стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отец Яков остановился посреди кабинета и, словно не замечая присутствия Кунина, стал рассуждать с самим собой.

— Ну, положим, я снесу и голод и срам, но ведь у

меня, господи, еще попадья есть! Ведь я ее из хорошего дома взял! Она белоручка и нежная, привыкла и к чаю, и к белой булке, и к простыням... Она у родителей на фортепьянах играла... Молодая, еще и двадцати лет нет... Хочется небось и нарядиться, и пошалить, и в гости съездить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, боже мой! Только и утехи у нее, что принесу из гостей яблочек или какой кренделечек...

Отец Яков опять обеими руками зачесал голову.

— И выходит у нас не любовь, а жалость... Не могу видеть ее без сострадания! И что оно такое, господи, делается на свете. Такое делается, что если в газеты написать, то не поверят люди... И когда всему этому конец будет!

— Полноте, батюшка! — почти крикнул Кунин, пугаясь его тона.— Зачем так мрачно смотреть на жизнь?

— Извините великодушно, Павел Михайлович...— забормотал отец Яков, как пьяный.— Извините, все это... пустое, и вы не обращайте внимания... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отец Яков оглянулся и зашептал:

— Как-то рано утром иду я из Синькова в Лучково; гляжу, а на берегу стоит какая-то женщина и что-то делает... Подхожу ближе и глазам своим не верю... Ужас! Сидит жена доктора, Ивана Сергеича, и белье полощет... Докторша, в институте кончила! Значит, чтоб люди не видели, норовила пораньше встать и за версту от деревни уйти... Неодолимая гордость! Как увидала, что я около нее и бедность ее заметил, покраснела вся... Я оторопел, испугался, подбежал к ней, хочу помочь ей, а она белье от меня прячет, боится, чтоб я ее рваных сорочек не увидел...

— Все это как-то даже невероятно...— сказал Кунин, садясь и почти с ужасом глядя на бледное лицо отца Якова.

— Именно невероятно! Никогда, Павел Михайлович, этого не было, чтоб докторши на реке белье полоскали! Ни в каких странах этого нет! Мне бы, как пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сделать? Что? Сам же еще норовлю у ее

мужа даром лечиться! Верно вы изволили определить, что все это невероятно! Глазам не верится! Во время обедни, знаете, выглянешь из алтаря, да как увидишь свою публику, голодного Авраамия и попадью, да как вспомнишь про докторшу, как у нее от холодной воды руки посинели, то, верите ли, забудешься и стоишь, как дурак, в бесчувствии, пока пономарь не окликнет... Ужас!

Отец Яков опять заходил.

— Господи Иисусе! — замахал он руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вот про школу мне говорите, а я, как истукан, ничего не понимаю и только об еде думаю... Даже перед престолом... Впрочем... что же это я? — спохватился отец Яков.— Вам уезжать нужно. Простите-с, я ведь это так... извините.

Кунин молча пожал руку отца Якова, проводил его до передней и, вернувшись в свой кабинет, остановился перед окном. Он видел, как отец Яков вышел из дому, нахлобучил на голову свою широкополую ржавую шляпу и тихо, понурив голову, точно стыдясь своей откровенности, пошел по дороге.

«А его лошади не видно»,— подумал Кунин.

Помыслить, что священник все эти дни ходил к нему пешком, Кунин боялся: до Синькова было семь-восемь верст, а грязь на дороге стояла невылазная. Далее Кунин видел, как кучер Андрей и мальчик Парамон, прыгая через лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбежали к нему под благословение. Отец Яков снял шляпу и медленно благословил Андрея, потом благословил и погладил по голове мальчика.

Кунин провел рукой по глазам, и ему показалось, что рука его от этого стала мокрой. Он отошел от окна и мутными глазами обвел комнату, в которой ему еще слышался робкий, придушенный голос... Он взглянул на стол... К счастью, отец Яков забыл второпях взять с собой его проповеди... Кунин подскочил к ним, изорвал их в клочки и с отвращением швырнул под стол.

— И я не знал! — простонал он, падая на софу.— Я, который уже более года служу здесь непременным членом, почетным мировым судьей, членом училищного

совета! Слепая кукла, фат! Скорей к ним на помощь! Скорей!

Он мучительно ворочался, стискивал виски и напрягал свой ум.

— Получу двадцатого числа жалованья двести рублей... Под благовидным предлогом суну и ему и докторше... Его позову молебен служить, а для доктора фиктивно заболею... Таким образом, не оскорблю их гордости. И Авраамию помогу...

Он рассчитывал по пальцам свои деньги и боялся себе сознаться, что этих двухсот рублей едва хватит ему, чтобы заплатить управляющему, прислуге, тому мужику, который привозит мясо... Поневоле пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилетним молокососом, он дарил проституткам дорогие веера, платил извозчику Кузьме по десяти рублей в день, подносил из тщеславия актрисам подарки. Ах, как бы пригодились теперь все эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отец Авраамий проедает в месяц только три рубля,— думал Кунин. — За рубль попадья может себе сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тут вдруг Кунин вспомнил донос, который написал он архиерею, и его всего скорчило, как от невзначай налетевшего холода. Это воспоминание наполнило всю его душу чувством гнетущего стыда перед самим собой и перед невидимой правдой...

Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности одного из благонамеренных, но чересчур сытых и нерассуждающих людей.

НА РЕКЕ

Весенние картинки

— Лед тронулся! — слышны крики среди ясного весеннего дня.— Ребята, лед идет!

Лед трогается аккуратно каждую весну, но тем не менее ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышав крики, вы, если живете в городе, бежите к мосту, причем на лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выражение и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков, у торговок. На мосту уже собралась публика. Тут гимназисты с ранцами, барыни в ватерпруфах, две-три рясы, черномазый мальчишка, держащий за уши только что сшитые сапоги, поддевки всех сортов, солдатики. Все, свесившись через перила моста, молчат, не двигаются и вопросительно глядят вниз на реку. Молчание гробовое, лишь городовой рассказывает какому-то господину в мохнатом пальто и с клапаном на спине о том, насколько прибыла вода, да изредка проезжают с шумом извозчики. Городовой говорит вполголоса. Когда речь идет об аршинах, лицо делается серьезным, вытянутым, почти испуганным, когда же он говорит о вершках, то на лице его появляется выражение жалости и нежности, как будто вершки его дети.

Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку и — какое разочарование! Вы ожидали треска и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, похожего на очень отдаленный гром. Вме-

сто чудовищной ломки, столкновений и дружного натиска вы видите безмятежно лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполняющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки изрыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великан-пахарь и тронул ее своим громадным плугом. Воды не видно ни капли, а только лед, лед и лед. Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова и кажется, что мост вместе с вами и с публикой куда-то уходит. Тяжелый мост мчится вдоль реки вместе с берегами и рассекает своими быками груды льда. Вот одна большая льдина, упершись о бык, долго не пускает мост бежать от нее, но вдруг, как живая, начинает ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет проститься с вами, но, не выдержав своей тяжести, ломается на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, унылый. Они как будто сознают, что их гонят из родных мест куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужасов, они умрут, обратятся в ничто.

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами показывается темная, стремительно бегущая вода. Теперь обман исчезает, и вы начинаете видеть, что двигается не мост, а река. К вечеру река уже почти совсем чиста от льда, изредка попадаются на ней отставшие льдины, но их так мало, что они не мешают фонарям глядеться в воду, как в зеркало.

— Это еще не ледоход!— говорят на мосту.— А вот будет ледоход, когда лед с верховьев пойдет!.. Нынче в обед приехал один из N—ского уезда. Сказывает, что там уже тронулся лед... Стало быть, ожидать его здесь нужно завтра.

Действительно, на другой день пасмурно, дует холодом и сыростью. Такая резкая перемена погоды показывает, что где-то на большом пространстве идет лед... На мосту стоит публика и опять глядит на реку. Вода стоит высоко, но поверхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпеливо зевают и пожимаются от холода. Но вот показывается на поверхности реки большая льдяная глыба. За ней, как за козлом в стаде, в почтительном отдалении тянется несколько глыб поменьше... Слышится удар глыбы о бык моста. Она разбилась, и части ее в смя-

тении, кружась и толкаясь, бегут под мост... На повороте показывается новая глыба, за ней другая, третья... и скоро воздух наполняется глухим шумом, который слышался вчера. Вы видите уже не тутошний лед, а чужой, с далеких верховьев.

Скоро и этот лед пропадает, но с его уходом еще не оканчивается весеннее оживление реки. Тотчас же после ледохода начинают показываться плоты.

Плоты следует наблюдать не в городе, а где-нибудь подальше, хотя бы у тех таинственных верховьев, откуда шел последний лед.

Вот по речонке Жиже, лавируя и извиваясь змеей, несется длинный плот. Летом Жижа представляет собой лужицу, которую вы не увидите из-за густого ивняка и перейдете вброд, где хотите, теперь же она неузнаваема. Глядите на нее и диву даетесь: откуда могла взяться такая прыть? Она надувается, топорщится и грозит затопить всю землю. С большим плотом она обращается, как с маленькой щепкой. Этот плот запоздал и принадлежит к числу последних, которым грозит возможность застрять на полдороге. Купец Макитров вчера уже пустил шесть плотов; на этом следовало бы и остановиться, но жадность одолела, и он сегодня пустил еще седьмой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человек двадцать мужиков и баб. Настоящий мужик, который сыт и одет, не пойдет в сплавщики, а потому вы видите здесь одну только сплошную голь. Народишко все малорослый, сутуловатый, угрюмого вида, словно огрызанный. Все в лаптях и такой одежонке, что, кажется, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то висящие на нем лохмотья посыплются на землю. У каждого из них свое лицо: есть рыжие, как глина, и смуглые, как арабы; у одного на лице волос едва пробивается, у другого все лицо косматo, как у зверя; у каждого своя рваная шапка, свои лохмотья, свой голос, но тем не менее все они непривычному глазу кажутся одинаковыми, так что долго нужно побыть между ними, чтобы научиться разбирать, кто из них Митрий, кто Иван, кто Кузьма. Такое разительное сходство придается им одной общей печатью, ко-

торая лежит на всех бледных, угрюмых лицах, на всех лохмотьях и рваных шапках — невылазной бедностью.

Работа их непрерывна. Что ни шаг, то Жижа делает поворот, а потому то и дело приходится перебегать с краю на край и работать шестами, чтобы несущийся плот не налетел на берег или не наскочил на утес, о который он мог бы разорваться... Все красны, вспотели и тяжело дышат... Ни один не сидит, хотя среди плота и раскидана солома для сиденья. Бабы с заболтанными, мокрыми подолами, тощие и оборванные, делают то же, что и мужчины...

Оба берега залиты ярким светом полуденного солнца, и перед глазами сплавщиков мелькают картины одна другой краше. С быстротою птицы проносятся перед ними леса, пашни, деревни, барские усадьбы... Вот они видят перед собой на высоком крутом берегу белую церковь с зеленым куполом. Прошла минута, и церкви уж нет, а видна только равнина, далеко залитая сердитой Жижей; за равниной тянется черная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то галки... Вот высокий и длинный, как грабли, мужик гонит по берегу тощую корову с одним рогом... Далее барская усадьба: на балкончике стоит барыня с зонтиком и спешит указать девочке на плот; какой-то молодой человек в венгерке и высоких сапогах заглядывает в вершу... Потом опять пашня, лес, деревня... Если теперь оглянуться назад, то белая церковь едва белеет на горизонте, а мужика с коровой и след простыл... Но не думайте, что плот далеко ушел. Проходит еще немного времени, и сплавщики видят на горизонте что-то белое... Начинают вглядываться и — что за чудеса? — они несутся к той церкви, которую только что оставили назади... Чем ближе подходят к ней, тем больше убеждаются, что это она, та самая, на крутом берегу и с зеленым куполом... Вот уж видны ее окна, крест на верхушке, труба на крыше... Проехать еще минутку, и сплавщики будут у самой церкви,— но плот круто поворачивает, и церковь опять остается назади...

Улучив минутку, три-четыре сплавщика сходятся на середине плота, глядят друг на друга и тяжело дышат. Это они отдыхают. Между ними вы увидите единственного человека в сапогах, сапогах ужасных, кривых, рыжих, но все-таки сапогах. Храм оставленный—

все храм! В сапоги засунуты узкие суконные брючки, до того никуда не годные, что и критиковать их даже грех. Человек в сапогах одет в рваный полушубок, сквозь дыры которого видна жилетка. На большой голове его торчит бросовая гимназическая фуражка с поломанным козырьком и донельзя грязными кантами. Лицо его, испитое и обрюзглое, не похоже на лица остальных сплавщиков... Одним словом, это личность, без которой теперь на Руси не обходится ни одна артель, ни один кабак, ни один сброд нищих и убогих... Эта личность страшно пришиблена судьбой, проникнута насквозь сознанием своей низменности, а потому всячески старается скрыть свое «благородство», в котором ее подозревают... В рваном деревенском полушубке ей гораздо легче дышится, чем в потертом пальто или жилетке, которую вы, расщедрившись, вздумаете ей пожертвовать. Расспрашивать, кто она, откуда, кем была и о чем теперь помышляет, жалко, да и бесполезно. Спросите только, и она наврет вам, что она была и в офицерах, и в актерах, и в заточении...

На плоту зовут эту личность Диомидом. В сплавщики Диомид попал не столько из желания заработать три-четыре рубля, сколько обрадовавшись случаю проехать задаром в город и избежать таким образом пешего хождения... Новизна дела занимает его, и он всячески старается не уступать мужикам в трудолюбии. Он так же, как и они, бегает с края на край, суетится, тычет шестом, потеет, еле дышит, но непривычка сказывается в каждом его движении. Не понимает он дела, да, кроме того, слабосилен и скоро утомляется... Как только увидит, что двое-трое остановились отдохнуть, он непременно пристанет к ним.

Отдыхающие глядят друг на друга и начинают разговор. Тема для разговоров на плотах всегда одна и та же:

— Нонешние времена, это которое... сущая беда!— лепечет козлиная бородка в шапке с ушами. — Годов пять назад дешевле восьми рублей никакой сплавщик не брал. За восемь, сделай милость, поплыву, а дешевле не желаю... А нынче еле четыре дают, а? Сущее наказание! И отчего оно так стало, господь его знает!

— Народу много расплодилось... — хрипит борода лопатой. — Некуда его девать, народ-то этот. Ты за четыре не пойдешь, так другой за три пойдет. Прежде, бывало, ты бабу на плоту и за деньги не увидишь, а теперя, вишь, сколько их насажали! А баба глупа, она и за рупь пойдет...

— Четыре рубля...— бормочет козлиная бородка, задумчиво глядя на несущийся берег. — Четыре... История!

Диомид поехал не из-за денег, для него все равно, что четыре, что восемь рублей, но, чтобы ввязаться в разговор, он считает нужным поддакнуть.

— Мда...— говорит он.— Деньги паршивые. А все оттого, братцы, что купец разжирел. Боится с деньгами расстаться...

Собеседники не отвечают Диомиду. Они глядят вперед, куда летит плот, и видят белеющее пятно. Плот опять несет к той же белой церкви. Божий храм ласково мигает им солнцем, которое отражается в его кресте и в лоснящемся зеленом куполе, и словно обещает не упускать их из виду.

— Одначе какие выкрутасы тут река делает! — говорит Диомид.— Плывем-плывем, и все на одном месте вертимся...

— Ежели прямо в город ехать, то верст пятьдесят будет, а ежели рекой, то и шестьсот наберется. Эх, дал бы только бог, вода не сбывала, завтра ввечеру на месте будем...

День проходит благополучно, без приключений, но к вечеру плот наскакивает на беду. Сплавщики вдруг сквозь начинающиеся сумерки усматривают на реке препятствие: у одного берега стоит крепко привязанный паром, а от парома к другому берегу тянутся жидкие, едва только сколоченные лавы. Как проехать? На обоих берегах сильное движение. Несколько человек бегут навстречу плоту, машут руками и кричат:

— Стой! Стой! Черти собачие!

Оторопевшие сплавщики останавливают плот.

— Не сметь плыть дальше! — кричит какой-то толстяк с красным лицом и в длинном драповом пальто.— Я вас так пугну к черту с вашими дровами, что вы живы

не останетесь! У меня уж и так два раза лавы ломали, а вам не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутся и снимают шапки.

— Ваше степенство, как же нам быть-то? — спрашивает один.

— Как знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народ то и дело на фабрику ходит, и без лав никак нельзя.

— Ваше благородие, уж вы будьте благонадежны!— галдят сплавщики плачущими голосами. — Сделайте милость! Мы ваши лавы соберем и к месту приставим, как все следовает... по совести! Заставьте вечно бога молить!

— Ну да, знаю вас! Не сметь!

Красная физиономия грозит рукой и уходит. Сплавщики вешают носы.

— Как он смеет? — кипятится Диомид.— Что за самовольство? Не имеет он права до положенного срока лавы ставить! Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана глядеть!

Долго кипятится и ораторствует Диомид, до самой ночи сплавщики ходят по берегу без шапок и кланяются, но ничто не помогает... Приходится мириться с судьбой.

Всю ночь около лав горит огонек. Сплавщики, измокшие и продрогшие, молча и не давая себе ни минуты отдыха, перетаскивают через лавы свои бревна и увязывают их в новый плот. Над этой египетской работой копошатся они, как муравьи, до самого утра.

А утром опять плыть!

ГРИША

Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки.

Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение.

До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом — нянькин сундук, в третьем — стул, а в четвертом — горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан, а за нянькиным сундуком очень много разных вещей: катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывают мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа — личность

в высшей степени загадочная! Няня и мама понятны: они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать, но для чего существует папа — неизвестно. Еще есть другая загадочная личность — это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было...

В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и подбежать. Но страннее и нелепее всего — лошади. Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит.

Вдруг он слышит страшный топот... По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку: не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт.

Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать, и бежит за кошками.

— Стой! — кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи.— Куда ты? Нешто тебе велено шалить?

Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин.

— Это ты зачем же? — кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин.— Дурак!

Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка, но он боится, что его опять ударят по руке.

— Мое вам почтение! — слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами.

К великому его удовольствию, этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы — все это так поразительно ново и не страшно,

что душа Гриши наполняется чувством наслаждения и он начинает хохотать.

— Пойдем! Пойдем! — кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду.

— Куда пойдем? — спрашивает человек.

— Пойдем! — настаивает Гриша.

Ему хочется сказать, что недурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку, но язык говорит совсем не то, что нужно.

Немного погодя нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной, темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнет жарким и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно.

«Отчего бы это?» — думает он, оглядываясь.

Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит большим черным дуплом...

— Ма-а-ма! — тянет он.

— Ну, ну, ну! — кричит нянька.— Подождешь!

Кухарка ставит на стол бутылку, две рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз, и человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь.

Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька. Ему тоже хочется выпить.

— Дай! Няня, дай! — просит он.

Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется.

Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка...

Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы — все это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать.

— А у тебя жар! — говорит мама, касаясь ладонью его лба.— Отчего бы это могло случиться?

— Печка! — плачет Гриша.— Пошла отсюда, печка!

— Вероятно, покушал лишнее...— решает мама.

И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

ЛЮБОВЬ

«Три часа ночи. В окна мои смотрится тихая апрельская ночь и ласково мигает мне своими звездами. Я не сплю. Мне так хорошо!

Всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчас не умею, некогда, лень, да и бог с ним, с этим анализом! Ну, станет ли отыскивать смысл в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни или узнает, что выиграл двести тысяч? До этого ли ему?»

Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, девятнадцатилетней девочке, в которую я влюбился. Пять раз начинал я его, столько же раз принимался рвать бумагу, зачеркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, вычурнее и чувствительнее, а потому, что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писанья, когда сидишь в тиши своего кабинета, в который глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ, и, казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, наивно-счастливые, глупые и блаженно улыбающиеся, и тоже строчили. Я писал и то и дело поглядывал на свою руку, которая все еще томилась от недавнего рукопожатия, а если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решетку зеленой калитки. Сквозь

эту решетку Саша глядела на меня после того, как я простился с ней. Когда я прощался с Сашей, я ни о чем не думал и только любовался ее фигурой, как всякий порядочный человек любуется хорошенькой женщиной; увидев же сквозь решетку два больших глаза, я вдруг, словно по наитию, понял, что я влюблен, что между нами все уже решено и кончено, что мне остается только соблюсти кое-какие формальности.

Большая также приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихоньку из дому и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уже нет звезд; вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, кое-где прерываемая облаками; от этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит, но уж водовозы выехали, и где-то на далекой фабрике свисток будит рабочих. Возле почтового ящика, слегка подернутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колоколообразном тулупе и с палкой. Находится он в состоянии каталепсии: не спит и не бодрствует, а что-то среднее.

Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, то не имели бы такого смиренного вида. Я по крайней мере едва не облобызал свой почтовый ящик и, глядя на него, вспомнил, что почта — величайшее благо!..

Тому, кто когда-либо был влюблен, предлагаю вспомнить, что, опустивши в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой, быстро ложишься в постель и укрываешься одеялом в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя охватит воспоминание о вчерашнем и ты с восторгом будешь глядеть на окно, в котором сквозь складки занавесок жадно пробивается дневной свет...

Но к делу... На другой день, в полдень, горничная Саши принесла мне такой ответ: «Я очень рада приходите сегодня пожалуйста к нам непременно я вас буду ждать. Ваша С.» Запятой ни одной. Это отсутствие знаков препинания, «е» в слове «непремѣнно», все письмо и даже длинный узкий конвертик, в который оно было вложено, наполнили мою душу умилением. В размашистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши, ее манеру вы-

соко поднимать брови во время смеха, движения ее губ... Но содержание письма меня не удовлетворило... Во-первых, на поэтические письма так не отвечают, и, во-вторых, зачем мне идти в дом Саши и ждать там, пока толстая мамаша, братцы и приживалки догадаются оставить нас наедине? Они и не подумают догадаться, а нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради того только, что около вас торчит какой-нибудь одушевленный пустяк вроде полуглухой старушки или девочки, пристающей с вопросами. Я послал с горничной ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для rendez-vous [1] какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку.

В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. В саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину: коли мед, так и ложка, коли свидание, так подавай самую глухую и непроходимую чащу, где рискуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина.

Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной, а в этой спине прочел я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили: тссс! Девушка была в простеньком ситцевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонии, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полушепотом.

Насколько я теперь понимаю, в этом rendez-vous я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал *он*, сколько романичность свидания, его таинственность, поцелуи, молчание угрюмых деревьев, мои клятвы... Не было минуты, чтобы она забылась, замерла, сбросила с своего лица выражение таинственности, и, право, будь вместо меня какой-нибудь Иван Сидорыч или Сидор Иваныч, она чувствовала бы себя одинаково

---

[1] свидания (*франц.*).

хорошо. Извольте-ка при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет? Если любят, то по-настоящему или не по-настоящему?

Из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостой квартире любимой женщины действует, как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем, причем самоуверенность и самонадеянность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи еще прапорщиком, и, в общем, несешь такую красноречивую чушь, что слушательнице нужно иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддакивать. К счастью для мужчин, любящие женщины всегда ослеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяка. Саша слушала меня со вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность: она меня не понимала. Будущее, о котором говорил я ей, занимало ее только своей внешностью, и напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие обои будут в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль, и т. д. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе, фотографии, нюхала флаконы, отлепляла от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны.

— Пожалуйста, собирай мне старые марки! — сказала она, сделав серьезное лицо. — Пожалуйста!

Затем она нашла где-то на окне орех, громко раскусила его и съела.

— Отчего ты не наклеишь на свои книги билетиков?— спросила она, окинув взглядом шкаф с книгами.

— Зачем это?

— А так, чтобы у каждой книги свой номер был... А где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги.

— А какие у тебя книги? — спросил я.

Саша подняла брови, подумала и сказала:

— Разные...

И если бы я вздумал спросить ее, какие у нее мысли, убеждения, цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала: «Разные...»

Далее я проводил Сашу домой и ушел от нее самым настоящим патентованным женихом, каким и считался, пока нас не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опыту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно, гораздо скучнее, чем быть мужем или ничем. Жених — это ни то ни се: от одного берега ушел, к другому не дошел; не женат и нельзя сказать, чтобы был холост, а так что-то похожее на состояние дворника, о котором я упомянул выше.

Ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно, идя к ней, я нес с собой тьму надежд, желаний, намерений, предложений, фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно, погружусь по горло в прохладительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставал всю семью ее и домочадцев за шитьем глупого приданого. (А propos:[1] шили два месяца и нашили меньше, чем на сто рублей.) Пахло утюгами, стеарином и угаром. Под ногами хрустел стеклярус. Две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, коленкора и кисеи, а из волн выглядывала головка Саши с ниточкой в зубах. Все шьющие встречали меня радостным криком, но тотчас же выпроваживали в столовую, где я не мог мешать и видеть то, что позволяется видеть только мужьям. Скрепя сердце я должен был сидеть в столовой и беседовать с приживалкой Пименовной. Саша, озабоченная и встревоженная, то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь скукой.

— Погоди, погоди... Я сейчас! — говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза.— Представь, подлая Степанида в барежевом платье весь лиф испортила!

И, не дождавшись милости, я злился, уходил и прогуливался по тротуарам в обществе своей женихов-ской палочки. А то, бывало, захочешь погулять или

---

[1] Кстати (*франц.*).

покататься с невестой, зайдешь к ней, а она уже стоит со своей маменькой в передней совсем одетая и играет зонтиком.

— А мы в пассаж идем! — говорит она.— Нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить.

Пропала прогулка! Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочав массу материи и сбавив цену ad minimum [1], уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей копеек на сорок — пятьдесят. Выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толковали о том, что они ошиблись, купили не того, что следовало купить, что на ситце слишком темны цветочки, и т. д.

Нет, скучно быть женихом! Бог с ним!

Теперь я жепат. Сейчас вечер. Я сижу у себя в кабинете и читаю. Позади меня на софе сидит Саша и что-то громко жует: Мне хочется выпить пива.

— Поищи-ка, Саша, штопор...— говорю я. —Тут он где-то валяется.

Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, роняет спички и, не найдя штопора, молча садится... Проходит минут пять—десять... Меня начинает помучивать червячок — и жажда и досада...

— Саша, поищи же штопор! — говорю я.

Саша опять вскакивает и роется около меня в бумагах. Ее жеванье и шелест бумаги действуют на меня, как лязганье потираемых друг о друга ножей... Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец он найден и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то.

— Ты бы почитала что-нибудь, Саша...— говорю я.

Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами. Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы и задумываюсь.

«Ей двадцатый год...— думаю я.— Если взять интеллигентного мальчика таких же лет и сравнить, то

---

[1] до предела (*лат.*).

какая разница! У мальчика и знания, и убеждения, и умишко».

Но я прощаю эту разницу, как прощаю узенький лобик и шевелящиеся губы... Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросал женщин из-за пятна на чулке, из-за одного глупого слова, из-за нечищенных зубов, а тут я прощаю все: жеванье, возню со штопором, неряшество, длинные разговоры о выеденном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не насилуя своей воли, словно ошибки Саши — мои ошибки, а от многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в моей любви к Саше, а где мотивы самой любви — право, не знаю.

СВЯТОЮ НОЧЬЮ

Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома. В обыкновенное время Голтва представляет из себя речонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую из-за густых камышей, теперь же предо мной расстилалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота, так что на водной поверхности не редкость было встретить одиноко торчащие тополи и кусты, похожие в потемках на суровые утесы.

Погода казалась мне великолепной. Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью. В воздухе было тепло и тихо... Далеко, на том берегу, в непроглядной тьме, горело врассыпную несколько ярко-красных огней...

В двух шагах от меня темнел силуэт мужика в высокой шляпе и с толстой суковатой палкой.

— Как, однако, долго нет парома! — сказал я.

— А пора ему быть,— ответил мне силуэт.

— Ты тоже дожидаешься парома?

— Нет, я так...— зевнул мужик,— люминации дожидаюсь. Поехал бы, да, признаться, пятачка на паром нет.

— Я тебе дам пятачок.

— Нет, благодарим покорно... Ужо на этот пятачок ты за меня там в монастыре свечку поставь... Этак любопытней будет, а я и тут постою. Скажи на милость, нет парома! Словно в воду канул!

Мужик подошел к самой воде, взялся рукой за канат и закричал:

— Иероним! Иерони-им!

Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса; казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.

— Христос воскрес! — сказал он.

Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом. Около красных огней загорелись новые огни и все вместе задвигались, беспокойно замелькали.

— Иерони-им! — послышался глухой протяжный крик.

— С того берега кричат,— сказал мужик.— Значит, и там нет парома. Заснул наш Иероним.

Огни и бархатный звон колокола манили к себе... Я уж начал терять терпение и волноваться, но вот наконец, вглядываясь в темную даль, я увидел силуэт чего-то, очень похожего на виселицу. Это был давно жданный паром. Он подвигался с такою медленностью, что если б не постепенная обрисовка его контуров, то можно было бы подумать, что он стоит на одном месте или же идет к тому берегу.

— Скорей! Иероним! — крикнул мой мужик.— Барин дожидается!

Паром подполз к берегу, покачнулся и со скрипом остановился. На нем, держась за канат, стоял высокий человек в монашеской рясе и в конической шапочке.

— Отчего так долго? — спросил я, вскакивая на паром.

— Простите, Христа ради,— ответил тихо Иероним.— Больше никого нет?

— Никого...

Иероним взялся обеими руками за канат, изогнулся в вопросительный знак и крякнул. Паром скрипнул и покачнулся. Силуэт мужика в высокой шляпе стал медленно удаляться от меня,— значит, паром поплыл. Иероним скоро выпрямился и стал работать одной рукой. Мы молчали и глядели на берег, к которому плыли. Там уже началась «люминация», которой дожидался мужик. У самой воды громадными кострами пылали смоляные бочки. Отражения их, багровые, как восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли к нам навстречу. Горящие бочки освещали свой собственный дым и длинные человеческие тени, мелькавшие около огня; но далее в стороны и позади них, откуда неслся бархатный звон, была все та же беспросветная черная мгла. Вдруг, рассекая потемки, золотой лентой взвилась к небу ракета; она описала дугу и, точно разбившись о небо, с треском рассыпалась в искры. С берега послышался гул, похожий на отдаленное «ура».

— Как красиво! — сказал я.

— И сказать нельзя, как красиво! — вздохнул Иероним.— Ночь такая, господин! В другое время и внимания не обратишь на ракеты, а нынче всякой суете радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказал, откуда я.

— Так-с... радостный день нынче...— продолжал Иероним слабым, вздыхающим тенорком, каким говорят выздоравливающие больные.— Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего это даже и при великой радости человек не может скорбей своих забыть?

Мне показалось, что этот неожиданный вопрос вызывал меня на один из тех «продлинновенных», душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Я не был расположен много говорить, а потому только спросил:

— А какие, батюшка, у вас скорби?

— Обыкновенно, как и у всех людей, ваше благородие, господин хороший, но в нынешний день случилась в монастыре особая скорбь: в самую обедню, во время паремий, умер иеродьякон Николай...

— Что ж, это божья воля! — сказал я, подделываясь под монашеский тон.— Всем умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорят, что кто умрет под пасху или на пасху, тот непременно попадет в царство небесное.

— Это верно.

Мы замолчали. Силуэт мужика в высокой шляпе слился с очертаниями берега. Смоляные бочки разгорались все более и более.

— И писание ясно указывает на суету скорби и размышление,— прервал молчание Иероним,— но отчего же душа скорбит и не хочет слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Иероним пожал плечами, повернулся ко мне и заговорил быстро:

— Умри я или кто другой, оно бы, может, и не заметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! Стою я тут на пароме, и все мне кажется, что сейчас он с берега голос свой подаст. Чтобы мне на пароме страшно не казалось, он всегда приходил на берег и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человека и матери такой нет, каким у меня был этот Николай! Спаси, господи, его душу!

Иероним взялся за канат, но тотчас же опять повернулся ко мне.

— Ваше благородие, а ум какой светлый! — сказал он певучим голосом. — Какой язык благозвучный и сладкий! Именно, как вот сейчас будут петь в заутрене: «О, любезного! о, сладчайшего твоего гласа!»

Кроме всех прочих человеческих качеств, в нем был еще и дар необычайный!

— Какой дар?— спросил я.

Монах оглядел меня и, точно убедившись, что мне можно вверять тайны, весело засмеялся.

— У него был дар акафисты писать...— сказал он.— Чудо, господин, да и только! Вы изумитесь, ежели я вам объясню! Отец архимандрит у нас из московских, отец наместник в казанской академии кончил, есть у нас и иеромонахи разумные и старцы, но ведь, скажи пожалуйста, ни одного такого нет, чтобы писать умел, а Николай, простой монах, иеродьякон, нигде не обучался и даже видимости наружной не имел, а писал! Чудо! Истинно чудо!

Иероним всплеснул руками и, совсем забыв про канат, продолжал с увлечением:

— Отец наместник затрудняется проповеди составлять; когда историю монастыря писал, то всю братию загонял и раз десять в город ездил, а Николай акафисты писал! Акафисты! Это не то что проповедь или история!

— А разве акафисты трудно писать? — спросил я.

— Большая трудность...— покрутил головой Иероним.— Тут и мудростью и святостью ничего не поделаешь, ежели бог дара не дал. Монахи, которые не понимающие, рассуждают, что для этого нужно только знать житие святого, которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться. Но это, господин, неправильно. Оно, конечно, кто пишет акафист, тот должен знать житие до чрезвычайности, до последней самомалейшей точки. Ну, и соображаться с прочими акафистами нужно, как где начать и о чем писать. К примеру сказать вам, первый кондак везде начинается с «возбранный» или «избранный»... Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: «Ангелов творче и господи сил», в акафисте к пресвятой богородице: «Ангел предстатель с небесе послан бысть», к Николаю Чудотворцу: «Ангела образом, земнаго суща естеством» и прочее. Везде с ангела начинается. Конечно, без того нельзя, чтобы не сообра-

жаться, но, главное, ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно, чтоб все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. В богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози!»

Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой.

— Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное...— пробормотал он.— Найдет же такие слова! Даст же господь такую способность! Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно! «Светоподательна светильника сущим...» — сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем! Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райскаго прозябения!» — сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райскаго прозябения»! Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал! Точь-в-точь так! И выразить вам не могу, как он писал!

— Да, в таком случае жаль, что он умер,— сказал я.— Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем...

Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход,

потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

— Николай печатал свои акафисты? — спросил я Иеронима.

— Где ж печатать? — вздохнул он.— Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется. Не любят. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает!

— С предубеждением к ним относятся?

— Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братия и полюбопытствовала бы, а то ведь ему еще и сорока лет не было. Были которые смеялись и даже за грех почитали его писание.

— Для чего же он писал?

— Так, больше для своего утешения. Из всей братии только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать...

Иероним оставил канат и подошел ко мне.

— Мы вроде как бы друзья с ним были,— зашептал он, глядя на меня блестящими глазами.— Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех, а все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно! Теперь я все равно как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но... ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют, а Николай говорил завсегда тихо, ласково, а ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное...

Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, дви-

гались люди. Мельканье огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди.

— Сейчас запоют пасхальный канон...— сказал Иероним,— а Николая нет, некому вникать... Для него слаже и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал! Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется: дух захватывает!

— А вы разве не будете в церкви?

— Мне нельзя-с... Перевозить нужно...

— Но разве вас не сменят?

— Не знаю... Меня еще в девятом часу нужно было сменить, да вот, видите, не сменяют!.. А, признаться, хотелось бы в церковь...

— Вы монах?

— Да-с....то есть я послушник.

Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за провоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашиваемый огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром...

Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма... Сущий хаос! И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стены, в ограде, происходила не меньшая суетня, но благочиния и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали святить куличи издалека и

были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали.

«Какая беспокойная ночь! — думал я.— Как хорошо!»

Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне.

Та же необычайная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей... Чтений не полагается никаких; пение суетливое и веселое не прерывается до самого конца; после каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые десять минут.

Не успел я занять место, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий, плотный дьякон с длинной красной свечой; за ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и десяти минут, как хлынула новая волна и опять показался дьякон. На этот раз за ним шел отец наместник, тот

самый, который, по словам Иеронима, писал историю монастыря.

Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному?

— «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь...— пели на клиросе,— се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада и севера, и моря, и востока чада твоя...»

Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящих около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка.

Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая; бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я

представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов.

Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым, хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома, жажда сна и тепла.

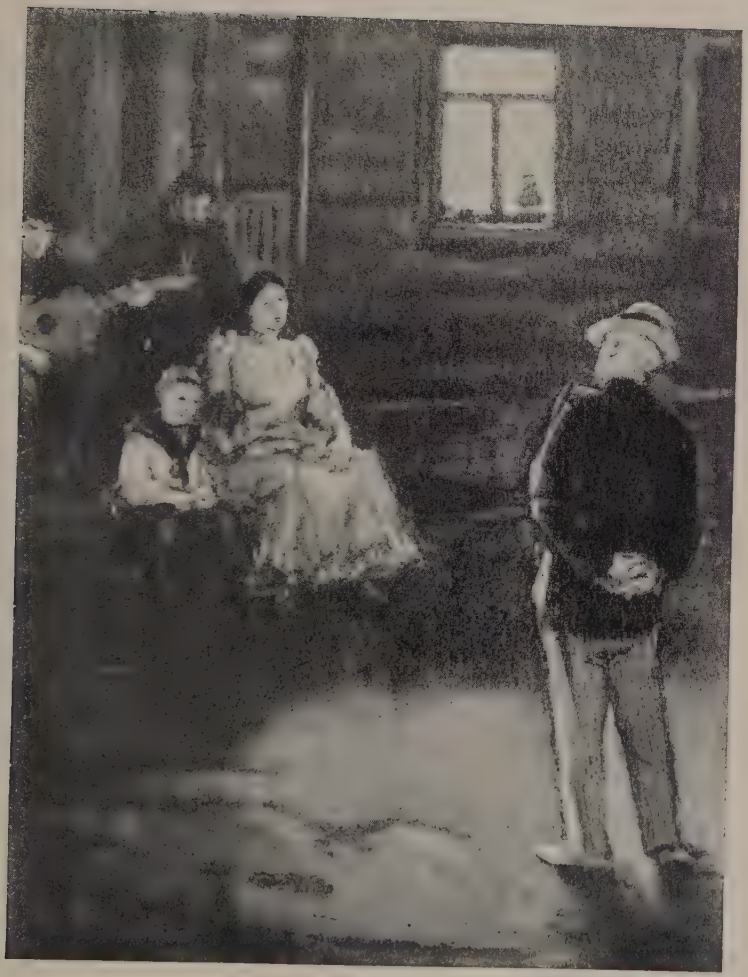
Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане.

— Христос воскрес! Больше никого нет? — спросил тихий голос.

Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уж не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий, узкоплечий человек, лет тридцати пяти, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми, лениво глядящими глазами и с нечесаной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный.

— Вас еще не сменили? — удивился я.

— Меня-с? — переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь.— Те-



К рассказу «Тайный советник».

Художники Кукрыниксы. 1941.

перь уж некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с.

Он да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места.

Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжение всего пути.

В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.

Федор Петрович, директор народных училищ N—ской губернии, считающий себя человеком справедливым и великодушным, принимал однажды у себя в канцелярии учителя Временского.

— Нет, господин Временский,— говорил он,— отставка неизбежна. С таким голосом, как у вас, нельзя продолжать учительской службы. Да как он у вас пропал?

— Я холодного пива, вспотевши, выпил...— прошипел учитель.

— Экая жалость! Служил человек четырнадцать лет, и вдруг такая напасть! Черт знает, из-за какого пустяка приходится свою карьеру ломать. Что же вы теперь намерены делать?

Учитель ничего не ответил.

— Вы семейный? — спросил директор.

— Жена и двое детей, ваше превосходительство...— прошипел учитель.

Наступило молчание. Директор встал из-за стола и прошелся из угла в угол, волнуясь.

— Ума не приложу, что мне с вами делать! — сказал он.— Учителем быть вы не можете, до пенсии вы еще не дотянули... отпустить же вас на произвол судьбы, на все четыре стороны, не совсем ловко. Вы для нас свой человек, прослужили четырнадцать лет, значит, наше дело помочь вам... Но как помочь? Что я для

вас могу сделать? Войдите вы в мое положение: что я могу для вас сделать?

Наступило молчание; директор ходил и все думал, а Временский, подавленный своим горем, сидел на краешке стула и тоже думал. Вдруг директор просиял и даже пальцами щелкнул.

— Удивляюсь, как это я раньше не вспомнил! — заговорил он быстро.— Послушайте, вот что я могу предложить вам... На будущей неделе письмоводитель у нас в приюте уходит в отставку. Если хотите, поступайте на его место! Вот вам!

Временский, не ожидавший такой милости, тоже просиял.

— И отлично,— сказал директор.— Сегодня же напишите прошение...

Отпустив Временского, Федор Петрович почувствовал облегчение и даже удовольствие: перед ним уже не торчала согбенная фигура шипящего педагога, и приятно было сознавать, что, предложив Временскому свободную вакансию, он поступил справедливо и по совести, как добрый, вполне порядочный человек. Но это хорошее настроение продолжалось недолго. Когда он вернулся домой и сел обедать, его жена, Настасья Ивановна, вдруг вспомнила:

— Ах да, чуть было не забыла! Вчера приезжала ко мне Нина Сергеевна и просила за одного молодого человека. Говорят, у нас в приюте вакансия открывается...

— Да, но это место уже другому обещано,— сказал директор и нахмурился.— И ты знаешь мое правило: я никогда не даю мест по протекции.

— Я знаю, но для Нины Сергеевны, полагаю, можно сделать исключение. Она нас как родных любит, а мы для нее до сих пор еще ничего хорошего не сделали. И не думай, Федя, отказывать! Своими капризами ты и ее обидишь и меня.

— А кого она рекомендует?

— Ползухина.

— Какого Ползухина? Это того, что на Новый год в собрании Чацкого играл? Джентльмена этого? Ни за что!

Директор перестал есть.

— Ни за что! — повторил он.— Боже меня сохрани!

— Но почему же?

— Пойми, матушка, что уж ежели молодой человек действует не прямо, а через женщин, то, стало быть, он дрянь! Почему он сам ко мне не идет?

После обеда директор лег у себя в кабинете на софе и стал читать полученные газеты и письма.

«Милый Федор Петрович! — писала ему жена городского головы.— Вы как-то говорили, что я сердцеведка и знаток людей. Теперь вам предстоит проверить это на деле. К вам придет на днях просить места письмоводителя в нашем приюте некий К. Н. Ползухин, которого я знаю за прекрасного молодого человека. Юноша очень симпатичен. Приняв в нем участие, вы убедитесь...», и т. д.

— Ни за что! — проговорил директор.— Боже меня сохрани!

После этого не проходило дня, чтобы директор не получал писем, рекомендовавших Ползухина. В одно прекрасное утро явился и сам Ползухин, молодой человек, полный, с бритым жокейским лицом, в новой черной паре...

— По делам службы я принимаю не здесь, а в канцелярии,— сказал сухо директор, выслушав его просьбу.

— Простите, ваше превосходительство, но наши общие знакомые посоветовали мне обратиться именно сюда.

— Гм!..— промычал директор, с ненавистью глядя на его остроносые башмаки.— Насколько я знаю,— сказал он,— у вашего батюшки есть состояние и вы не нуждаетесь, какая же вам надобность проситься на это место? Ведь жалованье грошовое!

— Я не из-за жалованья, а так... И все-таки служба казенная...

— Так-с... Мне кажется, через месяц же вам надоест эта должность и вы ее бросите, а между тем есть кандидаты, для которых это место — карьера на всю жизнь... Есть бедняки, для которых...

— Не надоест, ваше превосходительство! — перебил Ползухин.— Честное слово, я буду стараться!

Директора взорвало.

— Послушайте,— спросил он, презрительно улыбаясь,— почему вы не обратились сразу ко мне, а нашли нужным предварительно беспокоить дам?

— Я не знал, что это для вас будет неприятно,— ответил Ползухин и сконфузился.— Но, ваше превосходительство, если вы не придаете значения рекомендательным письмам, то я могу вам представить аттестации...

Он достал из кармана бумагу и подал ее директору. Под аттестацией, написанной канцелярским слогом и почерком, стояла подпись губернатора. По всему видно было, что губернатор подписал не читая, лишь бы только отделаться от какой-нибудь навязчивой барыни.

— Нечего делать, преклоняюсь... слушаюсь...— сказал директор, прочитав аттестацию, и вздохнул.— Подавайте завтра прошение... Нечего делать...

И когда Ползухин ушел, директор весь отдался чувству отвращения.

— Дрянь! — шипел он, шагая из угла в угол.— Добился-таки своего, негодный шаркун, бабий угодник! Гадина! Тварь!

Директор громко плюнул в дверь, за которой скрылся Ползухин, и вдруг сконфузился, потому что в это время входила к нему в кабинет барыня, жена управляющего казенной палаты...

— Я на минутку, на минутку...— начала барыня.— Садитесь, кум, и слушайте меня внимательно... Ну-с, говорят, у вас есть свободная вакансия... Завтра или сегодня будет у вас молодой человек, некто Ползухин...

Барыня щебетала, а директор глядел на нее мутными, осовелыми глазами, как человек, собирающийся упасть в обморок, глядел и улыбался из приличия.

А на другой день, принимая у себя в канцелярии Временского, директор долго не решался сказать ему

правду. Он мялся, путался и не находил, с чего начать, что сказать. Ему хотелось извиниться перед учителем, рассказать ему всю сущую правду, но язык заплетался, как у пьяного, уши горели, и стало вдруг обидно и досадно, что приходится играть такую нелепую роль — в своей канцелярии, перед своим подчиненным. Он вдруг ударил по столу, вскочил и закричал сердито:

— Нет у меня для вас места! Нет и нет! Оставьте меня в покое! Не мучайте меня! Отстаньте от меня наконец, сделайте одолжение!

И вышел из канцелярии.

СИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Дело происходило не так давно в московском окружном суде. Присяжные заседатели, оставленные в суде на ночь, прежде чем лечь спать, завели разговор о сильных ощущениях. Их навело на это воспоминание об одном свидетеле, который стал заикой и поседел, по его словам, благодаря какой-то страшной минуте. Присяжные порешили, что, прежде чем уснуть, каждый из них пороется в своих воспоминаниях и расскажет что-нибудь. Жизнь человеческая коротка, но все же нет человека, который мог бы похвастать, что у него в прошлом не было ужасных минут.

Один присяжный рассказал, как он тонул; другой рассказал, как однажды ночью он в местности, где нет ни врачей, ни аптекарей, отравил собственного ребенка, давши ему по ошибке вместо соды цинкового купороса. Ребенок не умер, но отец едва не сошел с ума. Третий, еще нестарый, болезненный человек, описал два своих покушения на самоубийство: раз стрелялся, другой раз бросился под поезд.

Четвертый, маленький, щеголевато одетый толстяк, рассказал следующее:

— Мне было двадцать два — двадцать три года, не больше, когда я по уши влюбился в свою теперешнюю жену и сделал ей предложение... Теперь я с удовольствием высек бы себя за раннюю женитьбу, но тогда не знаю, что было бы со мной, если бы Наташа

ответила мне отказом. Любовь была самая настоящая, такая, как в романах описывают, бешеная, страстная, и прочее. Мое счастье душило меня, и я не знал, куда мне уйти от него, и я надоел и отцу, и приятелям, и прислуге, рассказывая постоянно о том, как пылко я люблю. Счастливые люди — это самые надоедливые, самые скучные люди. Я надоедал страшно, даже теперь мне совестно...

Между приятелями был у меня тогда один начинающий адвокат. Теперь этот адвокат известен на всю Россию, тогда же он только что входил в силу и не был еще богат и знаменит настолько, чтобы при встрече со старым приятелем иметь право не узнавать, не снимать шляпы. Бывал я у него раз или два в неделю. Когда я приходил к нему, мы оба разваливались на диванах и начинали философствовать.

Как-то я лежал у него на диване и толковал о том, что нет неблагодарнее профессии, как адвокатская. Мне хотелось доказать, что суд, после того как допрос свидетелей окончен, легко может обойтись без прокурора и без защитника, потому что тот и другой не нужны и только мешают. Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный заседатель убежден, что этот потолок бел, что Иванов виновен, то бороться с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен. Кто может убедить меня, что у меня рыжие усы, если я знаю, что они черные? Слушая оратора, я, быть может, и расчувствуюсь и заплачу, но коренное убеждение мое, основанное большею частью на очевидности и на факте, нисколько не изменится. Мой же адвокат доказывал, что я молод еще и глуп и что я говорю мальчишеский вздор. По его мнению, очевидный факт оттого, что его освещают добросовестные, сведущие люди, становится еще очевиднее — это раз; во-вторых, талант — это стихийная сила, это ураган, способный обращать в пыль даже камни, а не то что такой пустяк, как убеждения мещан и купцов второй гильдии. Человеческой немощи бороться с талантом так же трудно, как глядеть, не мигая, на солнце или остановить ветер. Один простой смертный силою слова обращает тысячи убежденных дикарей в христианство; Одиссей был

убежденнейший человек в свете, но спасовал перед сиренами, и так далее. Вся история состоит из подобных примеров, а в жизни они встречаются на каждом шагу, да так и должно быть, иначе умный и талантливый человек не имел бы никакого преимущества перед глупцом и бездарным.

Я стоял на своем и продолжал доказывать, что убеждение сильнее всякого таланта, хотя, откровенно говоря, сам не мог точно определить, что такое именно убеждение и что такое талант. Вероятно, говорил я, только чтобы говорить.

— Взять хоть тебя...— сказал адвокат.— Ты убежден в настоящее время, что твоя невеста ангел и что нет во всем городе человека счастливее тебя. А я тебе говорю: достаточно мне десяти — двадцати минут, чтобы ты сел за этот самый стол и написал отказ своей невесте.

Я засмеялся.

— Ты не смейся, я говорю серьезно,— сказал приятель.— Захочу, и через двадцать минут ты будешь счастлив от мысли, что тебе не нужно жениться. У меня не бог весть какой талант, но ведь и ты не из сильных.

— А ну-ка, попробуй! — сказал я.

— Нет, зачем же? Я ведь это так только говорю. Ты мальчик добрый, и было бы жестоко подвергать тебя такому опыту. И к тому же я сегодня не в ударе.

Мы сели ужинать. Вино и мысли о Наташе, моя любовь наполнили всего меня ощущением молодости и счастья. Счастье мое было так безгранично велико, что сидевший против меня адвокат с его зелеными глазами казался мне несчастным, таким маленьким, серень-ким...

— Попробуй же! — приставал я к нему. — Ну, прошу!

Адвокат покачал головой и поморщился. Я, видимо, уже начал надоедать ему.

— Я знаю,— сказал он,— после моего опыта ты мне спасибо скажешь и назовешь меня спасителем, но ведь нужно и о невесте подумать. Она тебя любит, твой отказ заставил бы ее страдать. А какая она у тебя прелесть! Завидую я тебе.

Адвокат вздохнул, выпил вина и стал говорить о том, какая прелесть моя Наташа. У него был необыкновенный дар описывать. Про женские ресницы или мизинчик он мог наговорить вам целую кучу слов. Слушал я его с наслаждением.

— Видел я на своем веку много женщин,— говорил он,— но даю тебе честное слово, говорю, как другу, твоя Наталья Андреевна — это перл, это редкая девушка. Конечно, есть и недостатки, их даже много, если хочешь, но все же она очаровательна.

И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Теперь я отлично понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых сторонах вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о Наташе. Он восторгался вздернутым носом, вскрикиваниями, визгливым смехом, жеманством, именно всем тем, что мне так в ней не нравилось. Все это, по его мнению, было бесконечно мило, грациозно, женственно. Незаметно для меня он скоро с восторженного тона перешел на отечески назидательный, потом на легкий, презрительный... Председателя суда с нами не было, и некому было остановить расходившегося адвоката. Я не успевал рта разинуть, да и что я мог сказать? Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что́ он говорил, а в анафемской форме. То есть черт знает какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе. Конечно, я не могу передать вам ни этого тона, ни формы, скажу только, что, слушая приятеля и шагая из угла в угол, я возмущался, негодовал, презирал с ним вместе. Я поверил ему даже, когда он со слезами на глазах заявил мне, что я великий человек, что я достоин лучшей участи, что мне предстоит в будущем совершить что-то такое особенное, чему может помешать женитьба!

— Друг мой! — восклицал он, крепко пожимая мне руку.— Умоляю тебя, заклинаю: остановись, пока не поздно. Остановись! Да хранит тебя небо от этой странной, жестокой ошибки! Друг мой, не губи своей молодости!

Хотите, верьте, хотите — нет, но в конце концов я сидел за столом и писал своей невесте отказ. Я писал и радовался, что еще не ушло время исправить ошибку. Запечатав письмо, я поспешил на улицу, чтобы опустить его в почтовый ящик. Со мной пошел и адвокат.

— И отлично! Превосходно! — похвалил он меня, когда мое письмо к Наташе исчезло во мраке почтового ящика.— От души тебя поздравляю. Я рад за тебя.

Пройдя со мной шагов десять, адвокат продолжал:

— Конечно, брак имеет и свои хорошие стороны. Я, например, принадлежу к числу людей, для которых брак и семейная жизнь — все.

И он уже описывал свою жизнь, и предо мною предстали все безобразия одинокой, холостой жизни.

Он говорил с восторгом о своей будущей жене, о сладостях обыкновенной, семейной жизни и восторгался так красиво, так искренне, что, когда мы подошли к его двери, я уже был в отчаянии.

— Что ты делаешь со мной, ужасный человек?! — говорил я задыхаясь.— Ты погубил меня! Зачем ты заставил меня написать то проклятое письмо? Я люблю ее, люблю!

И я клялся в любви, я приходил в ужас от своего поступка, который уже казался мне диким и бессмысленным. Сильнее того ощущения, которое испытал я в то время, и представить, господа, невозможно. О, что я тогда пережил, что перечувствовал! Если бы нашелся добрый человек, который подсунул мне в ту пору револьвер, то я с наслаждением пустил бы себе пулю в лоб.

— Ну, полно, полно...— сказал адвокат, хлопая меня по плечу, и засмеялся.— Перестань плакать. Письмо не дойдет до твоей невесты. Адрес на конверте писал не ты, а я, и я его так запутал, что на почте ничего не поймут. Все это да послужит для тебя уроком: не спорь о том, чего не понимаешь.

Теперь, господа, предлагаю говорить следующему...

Пятый присяжный поудобней уселся и раскрыл уже рот, чтобы начать свой рассказ, как послышался бой часов на Спасской башне.

— Двенадцать...— сосчитал один из присяжных.— А к какому, господа, разряду вы отнесете ощущения, которые испытывает теперь наш подсудимый? Он, этот убийца, ночует здесь в суде в арестантской, лежит или сидит и, конечно, не спит и в течение всей бессонной ночи прислушивается к этому звону. О чем он думает? Какие грезы посещают его?

И присяжные как-то все вдруг забыли о «сильных ощущениях»; то, что пережил их товарищ, писавший когда-то письмо к своей Наташе, казалось неважным, даже не забавным; и уже никто не рассказывал, стали тихо, в молчании ложиться спать...

ЗНАКОМЫЙ МУЖЧИНА

Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасья Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала: без приюта и без копейки денег. Как быть?

Она первым делом отправилась в ссудную кассу и заложила там кольцо с бирюзой — единственную свою драгоценность. Ей дали за кольцо рубль, но... что купишь за рубль? За эти деньги не купишь ни модной, короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета, а без этих вещей она чувствовала себя точно голой. Ей казалось, что не только люди, но даже лошади и собаки глядят на нее и смеются над простотой ее платья. И думала она только о платье, вопрос же о том, что́ она будет есть и где будет ночевать, не тревожил ее нисколько.

«Хоть бы мужчину знакомого встретить...— думала она.— Я взяла бы денег... Мне ни один не откажет, потому что...»

Но знакомые мужчины не встречались. Их нетрудно встретить вечером в «Ренесансе», но в «Ренесанс» не пустят в этом простом платье и без шляпы. Как быть? После долгого томления, когда уже надоело и ходить, и сидеть, и думать, Ванда решила пуститься на последнее средство: сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег.

«К кому бы сходить? — размышляла она.— К Мише нельзя — семейный... Рыжий старик теперь на службе...»

Ванда вспомнила о зубном враче Финкеле, выкресте, который месяца три назад подарил ей браслет и которому она однажды за ужином в Немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про этого Финкеля, она ужасно обрадовалась.

«Он наверное даст, лишь бы только мне дома его застать...— думала она, идя к нему.— А не даст, так я у него там все лампы перебью».

Когда она подходила к двери зубного врача, у нее уже был готов план: она со смехом взбежит по лестнице, влетит к врачу в кабинет и потребует двадцать пять рублей... Но когда она взялась за звонок, этот план как-то сам собою вышел из головы. Ванда вдруг начала трусить и волноваться, чего с ней раньше никогда не бывало. Она бывала смела и нахальна только в пьяных компаниях, теперь же, одетая в обыкновенное платье, очутившись в роли обыкновенной просительницы, которую могут не принять, она почувствовала себя робкой и приниженной. Ей стало стыдно и страшно.

«Может быть, он уж забыл про меня...— думала она, не решаясь дернуть за звонок.— И как я пойду к нему в таком платье? Точно нищая или мещанка какая-нибудь...»

И нерешительно позвонила.

За дверью послышались шаги; это был швейцар.

— Доктор дома? — спросила она.

Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет», но тот вместо ответа впустил ее в переднюю и снял с нее пальто. Лестница показалась ей роскошной, великолепной, но из всей роскоши ей прежде всего бросилось в глаза большое зеркало, в котором она увидела оборвашку без высокой шляпы, без модной кофточки и без туфель бронзового цвета. И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях она называла себя уже не Вандой, а, как раньше, Настей Канавкиной...

— Пожалуйте! — сказала горничная, провожая ее в кабинет.— Доктор сейчас... Садитесь.

Ванда опустилась в мягкое кресло.

«Так и скажу: дайте взаймы! — думала она.— Это прилично, потому что ведь он знаком со мной. Только вот если б горничная вышла отсюда. При горничной неловко... И зачем она тут стоит?»

Минут через пять отворилась дверь, и вошел Финкель, высокий черномазый выкрест с жирными щеками и с глазами навыкате. Щеки, глаза, живот, толстые бедра — все это у него было так сыто, противно, сурово. В «Ренесансе» и в Немецком клубе он обыкновенно бывал навеселе, много тратил там на женщин и терпеливо сносил их шутки (например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем); теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник, и что-то жевал.

— Что прикажете? — спросил он, не глядя на Ванду.

Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не узнавал ее, и покраснела...

— Что прикажете? — повторил зубной врач уже с раздражением.

— Зу... зубы болят...— прошептала Ванда.

— Ага... Какие зубы? Где?

Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом.

— Внизу направо...— сказала она.

— Гм!.. Раскрывайте рот.

Финкель нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб.

— Больно? — спросил он, ковыряя в зубе какой-то железкой.

— Больно...— солгала Ванда. «Напомнить ему,— думала она,— так он наверное бы узнал... Но... горничная! Зачем она тут стоит?»

Финкель вдруг засопел, как паровоз, прямо ей в рот и сказал:

— Я не советую вам плюмбуровать его... Из етова зуба вам никакого пользы, все равно.

Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и десны Ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным... Ванда вдруг почувствовала страшную боль, вскрикнула и схватила за руку Финкеля.

— Ничего, ничего...— бормотал он.— Вы не пугайтесь... Из этим зубом вам все равно мало толку. Надо быть храброй.

И табачные окровавленные пальцы поднесли к ее глазам вырванный зуб, а горничная подошла и подставила к ее рту чашку.

— Дома вы холодной водой рот полоскайте...— сказал Финкель,— и тогда кровь остановится...

Он стоял перед ней в позе человека, который ждет, когда же наконец уйдут, оставят его в покое...

— Прощайте...— сказала она, поворачиваясь к двери.

— Гм!.. А кто же мне заплатит за работу? — спросил смеющимся голосом Финкель.

— Ах, да... — вспомнила Ванда, покраснела и подала выкресту рубль, вырученный ею за кольцо с бирюзой.

Выйдя на улицу, она чувствовала еще больший стыд, чем прежде, но теперь уж ей было стыдно не бедности. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. Шла она по улице, плевала кровью, и каждый красный плевок говорил ей об ее жизни, нехорошей, тяжелой жизни, о тех оскорблениях, какие она переносила и еще будет переносить завтра, через неделю, через год — всю жизнь, до самой смерти...

— О, как это страшно! — шептала она.— Как ужасно, боже мой!

Впрочем, на другой день она уже была в «Ренесансе» и танцевала там. На ней была новая громадная красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. И ужином угощал ее молодой купец, приезжий из Казани.

СЧАСТЛИВЧИК

Со станции Бологое, Николаевской железной дороги, трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса «для курящих», окутанные вагонными сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина.

Отворяется дверь, и в вагон входит высокая палкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая опереточных и жюльверновских корреспондентов.

Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны.

— Нет, и это не тот! — бормочет она.— Черт знает, что такое! Это просто возмутительно! Нет, не тот!

Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик:

— Иван Алексеевич! Какими судьбами? Это вы?

Палкообразный Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.

— Га! Петр Петрович! — говорит он.— Сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете.

— Живы, здоровы?

— Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял и никак теперь его не найду, этакая я идиотина! Пороть меня некому!

Палкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.

— Бывают же такие случаи! — продолжает он.— Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку. Пока я думал и пил, тут третий звонок... я, как сумасшедший, бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотина ли я? Не курицын ли сын?

— А вы, заметно, в веселом настроении,— говорит Петр Петрович.— Подсаживайтесь-ка! Честь и место!

— Ни-ни... пойду свой вагон искать! Прощайте!

— В потемках вы, чего доброго, с площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь!

Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках.

— Куда едете? — спрашивает Петр Петрович.

— Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Ха-ха... Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет? Так вот глядите! Перед вами счастливейший из смертных! Да-с! Ничего по моему лицу не заметно?

— То есть заметно, что... вы того... чуточку.

— Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо! Эх, жалко, зеркала нет, поглядел бы на свою мордолизацию! Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь. Честное слово! Ха-ха... Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?

— Вы? Разве вы женились?

— Сегодня, милейший! Повенчался и прямо на поезд.

Начинаются поздравления и обычные вопросы.

— Ишь ты... — смеется Петр Петрович.— То-то вы франтом таким разрядились.

— Да-с... Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей,

а одно только ощущение чего-то этакого... черт его знает, как его и назвать... благодушия, что ли? Отродясь еще так себя великолепно не чувствовал!

Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.

— Возмутительно счастлив! — говорит он.— Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там, на диванчике, около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Этакая блондиночка с носиком... с пальчиками... Душечка моя! Ангел ты мой! Пупырчик ты этакий! Филоксера души моей! А ножка! Господи! Ножка ведь не то что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное... аллегорическое! Взял бы, да так и съел эту ножку! Э, да вы ничего не понимаете! Ведь вы материалист, сейчас у вас анализ, то да се! Сухие холостяки, и больше ничего! Вот когда женитесь, то вспомните! Где-то теперь, скажете, Иван Алексеевич? Да-с, так вот пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут... предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь и этак двумя пальчиками за подбородочек...

Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом.

— Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина... поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять!

— Сделайте одолжение.

Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает:

— А для большего идиотства или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету и опрокидонтом рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет... Весь свет собой обхватываю!

Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как

на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут.

— Главное, господа, поменьше думать! К черту все эти анализы... Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно... Все эти философии и психологии к черту!

Через вагон проходит кондуктор.

— Милый человек,— обращается к нему новобрачный,— как будете проходить через вагон номер двести девять, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь!

— Слушаю. Теперь в этом поезде нет двести девятого номера. Есть двести девятнадцатый!

— Ну, двести девятнадцатый! Все равно! Так и скажите этой даме: муж цел и невредим!

Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет:

— Муж... Дама... Давно ли это? Муж... Ха-ха... Пороть тебя нужно, а ты муж! Ах, идиотина! Но она! Вчера еще была девочкой... козявочкой... Просто не верится!

— В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека,— говорит один из пассажиров.— Скорей белого слона увидишь.

— Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками.— Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты! Да-с, а вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастия. Захотите, и вы будете счастливы, но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья!

— Вот-те на! Каким образом?

— Очень просто!.. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки, а вы ведь не слушаетесь природы, всё чего-то ждете. Далее... В законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак... Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего канителить... Но ведь вы не женитесь, всё чего-то ждете! Засим в писании сказано, что вино веселит сердце человеческое...

Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное — не мудрствовать, а жарить по шаблону! Шаблон великое дело!

— Вы говорите, что человек творец своего счастия. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запели...

— Чепуха! — протестует новобрачный.— Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаям. Редки случаи! Ну их к черту! И говорить даже о них не хочу! Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем.

— Вы теперь куда едете? — спрашивает Петр Петрович.— В Москву или куда-нибудь южнее?

— Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?

— Но ведь Москва не на севере.

— Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург! — говорит Иван Алексеевич.

— В Москву мы едем, помилосердствуйте!

— То есть как же в Москву? — изумляется новобрачный.

— Странно... Вы куда билет взяли?

— В Петербург.

— В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали.

Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.

— Да, да,— поясняет Петр Петрович.— В Бологом вы не в тот поезд вскочили... Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть.

Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.

— Ах, я идиотина! — негодует он.— Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну, что я теперь будут делать? Ведь в том поезде жена! Она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!

Новобрачный падает на диван и ежится, точно ему наступили на мозоль.

— Несчастный я человек! — стонет он.— Что же я будут делать? Что?

— Ну, ну...— утешают его пассажиры.— Пустяки... Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните.

— Курьерский поезд! — плачет новобрачный, «творец своего счастья».— А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!

Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

В начале апреля 1870 года моя матушка Клавдия Архиповна, вдова поручика, получила из Петербурга, от своего брата Ивана, тайного советника, письмо, в котором, между прочим, было написано: «Болезнь печени вынуждает меня каждое лето жить за границей, а так как в настоящее время у меня нет свободных денег для поездки в Мариенбад, то весьма возможно, что этим летом я буду жить у тебя в твоей Кочуевке, дорогая сестра...»

Прочитав письмо, моя матушка побледнела и затряслась всем телом, потом на лице ее появилось выражение смеха и плача. Она заплакала и засмеялась. Эта борьба плача со смехом всегда напоминает мне мельканье и треск ярко горящей свечи, когда на нее брызжут водой. Прочитав письмо еще раз, матушка созвала всех домочадцев и прерывающимся от волненья голосом стала объяснять нам, что всех братьев Гундасовых было четверо: один Гундасов помер еще младенцем, другой пошел по военной и тоже помер, третий, не в обиду будь ему сказано, актер, четвертый же...

— До четвертого рукой не достанешь,— всхлипывала матушка.— Родной мне брат, вместе росли, а я вся дрожу и дрожу... Ведь тайный советник, генерал! Как я его, ангела моего, встречу? О чем я, дура необразованная, разговаривать с ним стану? Пятнадцать лет его не видала! Андрюшенька,— обратилась ко мне

матушка,— радуйся, дурачок! Это на твое счастье бог его посылает!

После того как мы узнали самую подробную историю Гундасовых, в усадьбе поднялась суматоха, какую я привык видеть только перед святками. Были пощажены только небесный свод и вода в реке, все же остальное подверглось чистке, мытью и окраске. Если бы небо было ниже и меньше, а река не бежала так быстро, то и их бы поскребли кирпичом и потерли мочалкой. Стены были белы, как снег, но их побелили; полы сияли и лоснились, но их мыли каждый день. Кота Куцего (в бытность мою младенцем я ножом, которым колют сахар, отхватил ему добрую четверть хвоста, отчего он и получил прозвище Куцего) отнесли из хором в кухню и отдали под начало Анисьи; Федьке сказано было, что если собаки будут подходить близко к крыльцу, то его «бог накажет». Но никому так не доставалось, как бедным диванам, креслам и коврам! Никогда в другое время их не били так сильно палками, как теперь, в ожидании гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дело взлетали к самому небу.

Приходил из Новостроевки портной Спиридон, единственный во всем уезде портной, дерзавший шить на господ. Это был человек непьющий, работящий и способный, не лишенный некоторой фантазии и чувства пластики, но тем не менее шивший отвратительно. Все дело портили сомнения... Мысль, что он шьет недостаточно модно, заставляла его переделывать каждую вещь по пяти раз, ходить пешком в город специально затем только, чтобы изучать франтов и в конце концов одевать нас в костюмы, которые даже карикатурист назвал бы утрировкой и шаржем. Мы щеголяли в невозможно узких брюках и в таких коротких пиджаках, что в присутствии барышень нам всегда становилось совестно.

Этот Спиридон долго снимал с меня мерку. Он вымерил всего меня вдоль и поперек, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывал на бумажке толстым карандашом и всю свою мерку иззубрил треугольными значками. Покончив со мной, он при-

нялся за моего учителя Егора Алексеевича Победимского. Мой незабвенный учитель находился тогда в поре, когда люди следят за ростом своих усов и относятся критически к платью, а потому можете себе представить священный ужас, с каким Спиридон приступил к моему учителю! Егор Алексеевич должен был откинуть назад голову и расставить ноги в виде опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридон вымерял его несколько раз, для чего ходил вокруг него, как влюбленный голубь около голубки, становился на одно колено, изгибался крючком... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угоревшая от утюгов, глядела на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридон, бог с тебя взыщет, если сукно испортишь! И счастья тебе не будет, коли не потрафишь!

От слов матушки Спиридона бросало то в жар, то в пот, потому что он был уверен, что не потрафит. За шитье моего костюма он взял рубль двадцать копеек, а за костюм Победимского два рубля, причем сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не может показаться дорого, тем более что от Новостроевки до нас было девять верст, а портной приходил для примерки раза четыре. Когда мы, примеряя, натягивали на себя узкие брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякий раз брезгливо морщилась и удивлялась:

— Бог знает, какая нынче мода пошла! Даже глядеть совестно. Не будь братец столичным, право, не стала бы я шить вам по-модному!

Спиридон, радуясь, что бранят не его, а моду, пожимал плечами и вздыхал, как бы желая сказать: «Ничего не поделаешь: дух времени!»

Волнение, с которым мы ожидали приезда гостя, можно сравнить только с тем напряжением, с каким спириты с минуты на минуту ожидают появления духа. Матушка носилась с мигренью и ежеминутно плакала. Я потерял аппетит, плохо спал и не учил уроков. Даже во сне меня не оставляло желание поскорее увидеть генерала, то есть человека с эполетами, с шитым воротником, который прет под самые уши, и с обнаженной

саблей в руке — точь-в-точь такого, какой висел у нас в зале над диваном и таращил страшные, черные глаза на всякого, кто осмеливался глядеть на него. Один только Победимский чувствовал себя в своей тарелке. Он не ужасался, не радовался, а только изредка, выслушивая от матушки историю рода Гундасовых, говорил:

— Да, приятно будет поговорить со свежим человеком.

На моего учителя у нас в усадьбе глядели как на натуру исключительную. Это был молодой человек, лет двадцати, угреватый, лохматый, с маленьким лбом и с необычайно длинным носом. Нос был так велик, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, должен был наклонять голову набок по-птичьи. По нашим понятиям, во всей губернии не было человека умнее, образованнее и галантнее. Кончил он шесть классов гимназии, потом поступил в ветеринарный институт, откуда был исключен, не проучившись и полугода. Причину исключения он тщательно скрывал, что давало возможность всякому желающему видеть в моем воспитателе человека пострадавшего и до некоторой степени таинственного. Говорил он мало и только об умном, ел в пост скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядел, как только свысока и презрительно, что, впрочем, не мешало ему принимать от моей матушки подарки в виде костюмов и рисовать на моих змеях глупые рожи с красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась пред его умом.

Гостя недолго ждали. В начале мая на двух возах прибыли со станции большие чемоданы. Эти чемоданы глядели так величественно, что, снимая их с возов, кучера машинально поснимали шапки.

«Должно быть,— подумал я,— в этих сундуках мундиры и порох...»

Почему порох? Вероятно, понятие о генеральстве в моей голове было тесно связано с пушками и порохом.

Утром, десятого мая, когда я проснулся, нянька шепотом объявила мне, что «приехали дяденька». Я быстро оделся и, кое-как умывшись, не молясь богу, поле-

тел из спальной. В сенях я наткнулся на высокого плотного господина, с фешенебельными бакенами и в франтовском пальто. Помертвев от священного ужаса, я подошел к нему и, припоминая составленный матушкою церемониал, шаркнул перед ним ножкой, низко поклонился и потянулся к ручке, но господин не дал мне поцеловать руку и объявил, что он не дядя, а только дядин камердинер Петр. Вид этого Петра, одетого гораздо богаче, чем я и Победимский, поверг меня в крайнее изумление, не оставляющее меня, говоря по правде, и до сегодня; неужели такие солидные, почтенные люди, с умными и строгими лицами могут быть лакеями? И ради чего?

Петр сказал мне, что дядя с матушкой в саду. Я бросился в сад.

Природа, не знавшая истории рода Гундасовых и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнее и развязнее, чем я. В саду происходила возня, какая бывает только на ярмарках. Бесчисленные скворцы, рассекая воздух и прыгая по аллеям, с криком и шумом гонялись за майскими жуками. В сиреневых кустах, которые своими нежными пахучими цветами лезли прямо в лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пение иволги, писканье удода и кобчика. В другое время я начал бы гоняться за стрекозами или бросать камнями в ворона, который сидел на невысокой копне под осиной и поворачивал в стороны свой тупой нос, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодело в животе: я готовился увидеть человека с эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарование! Рядом с матушкой гулял по саду тоненький, маленький франт в белой шелковой паре и в белой фуражке. Заложив руки в карманы, откинув назад голову, то и дело забегая вперед матушки, он казался совсем молодым человеком. Во всей фигуре его было столько движения и жизни, что предательскую старость я мог увидеть, только подойдя поближе сзади и взглянув на края фуражки, где серебрились коротко остриженные волосы. Вместо солидности и генеральской тугоподвижности я увидел

почти мальчишескую вертлявость; вместо воротника, прущего под уши,— обыкновенный голубой галстук. Матушка и дядя гуляли по аллее и беседовали. Я тихо подошел к ним сзади и стал ждать, когда кто-нибудь из них оглянется.

— Какой у тебя здесь восторг, Кладя! — говорил дядя.— Как мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здесь такая прелесть, ни за что бы в те годы не ездил за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхал тюльпан. Что только ни попадалось ему на глаза, все возбуждало в нем восторг и любопытство, словно отродясь он не видел сада и солнечного дня. Странный человек двигался как на пружинах и болтал без умолку, не давая матушке сказать ни одного слова. Вдруг на повороте аллеи из-за бузины показался Победимский. Появление его было так неожиданно, что дядя вздрогнул и отступил шаг назад. В этот раз мой учитель был в своей парадной крылатке с рукавами, в которой он, в особенности сзади, очень походил на ветряную мельницу. Вид у него был величественный и торжественный. Прижав по-испански шляпу к груди, он сделал шаг к дяде и поклонился, как кланяются маркизы в мелодрамах: вперед и несколько набок.

— Честь имею представиться вашему высокопревосходительству,— сказал он громко,— педагог и преподаватель вашего племянника, бывший слушатель ветеринарного института, дворянин Победимский!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушке. Она улыбнулась и замерла от сладкого ожидания, что он скажет еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавший, что на его величественное обращение ему и ответят величественно, то есть скажут по-генеральски «гм» и протянут два пальца, сильно сконфузился и оробел, когда дядя приветливо засмеялся и крепко пожал ему руку. Он пробормотал еще что-то несвязное, закашлялся и отошел в сторону.

— Ну, не прелесть ли? — засмеялся дядя.— Ты погляди: надел размахайку и думает, что он очень умный человек! Нравится мне это, клянусь богом!.. Сколько ведь в ней, в этой глупой размахайке, юного апломба,

жизни! А это что за мальчик? — спросил он, вдруг обернувшись и увидев меня.

— Это мой Андрюшенька,— отрекомендовала меня матушка зардевшись.— Утешение мое...

Я шаркнул по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодец мальчик... молодец мальчик...— забормотал дядя, отнимая от моих губ руку и гладя меня по голове.— Тебя Андрюшей зовут? Так, так... мда... клянусь богом... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, как все матери, начала описывать мои успехи по наукам и благонравие, а я шел около дяди и, согласно церемониалу, не переставал отвешивать низкие поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тот счет, что с моими замечательными способностями мне не мешало бы поступить в кадетский корпус на казенный счет, и когда я, согласно церемониалу, должен был заплакать и попросить у дядюшки протекции, дядя вдруг остановился и в изумлении расставил руки.

— Б-батюшки! Это же что? — спросил он.

Прямо на нас по аллее шла Татьяна Ивановна, жена Федора Петровича, нашего управляющего. Она несла белую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо нас, она робко, сквозь ресницы взглянула на гостя и зарделась.

— Час от часу не легче...— процедил дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслед.— У тебя, сестра, что ни шаг, то сюрприз... клянусь богом.

— Она у нас красавица...— сказала матушка.— Федору ее из посада высватали... за сто верст отсюда...

Татьяну Ивановну не всякий назвал бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лет двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лице и во всей фигуре ее не было ни одной крупной черты, ни одного смелого штриха, на котором мог бы остановиться глаз, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновения и уверенности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, редко смеялась, и вся жизнь ее была так же ровна и плоска, как лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурил

ей вслед глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрела на его улыбающееся лицо и сделалась серьезной.

— А вы, братец, так-таки и не женились!— вздохнула она.

— Не женился...

— Почему? — тихо спросила матушка.

— Как тебе сказать, жизнь так сложилась. Смолоду слишком заработался, не до жизни было, а когда жить захотелось — оглянулся, то за моей спиной уж пятьдесят лет стояло. Не успел! Впрочем, говорить об этом... скучно.

Матушка и дядя оба разом вздохнули и пошли дальше, а я отстал от них и побежал искать учителя, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Победимский стоял посреди двора и величественно глядел на небо.

— Заметно, что развитой человек! — сказал он, покрутив головой.— Надеюсь, что мы с ним сойдемся.

Через час подошла к нам матушка.

— А у меня, голубчики, горе,— начала она задыхаясь.— Ведь братец с лакеем приехал, а лакей такой, бог с ним, что ни в кухню его не сунешь, ни в сени, а непременно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мне делать! Вот что разве, деточки, не перебраться ли вам покуда во флигель к Федору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы ответили полным согласием, потому что жить во флигеле гораздо свободнее, чем в доме, на глазах у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка.— Братец сказал, что он будет обедать не в полдень, а в седьмом часу, по-столичному. Просто у меня с горя ум за разум зашел! Ведь к семи часам весь обед перепарится в печке. Право, мужчины совсем ничего не понимают в хозяйстве, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обеда стряпать! Вы, деточки, обедайте по-прежнему в полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата до семи часов.

Затем матушка глубоко вздохнула, приказала мне понравиться дядюшке, которого бог прислал на мое

счастье, и побежала в кухню. В тот же день я и Победимский переселились во флигель. Нас поместили в проходной комнате, между сенями и спальней управляющего.

Несмотря на приезд дяди и новоселье, жизнь, сверх ожидания, потекла прежним порядком, вялая и однообразная. От занятий «по случаю гостя» мы были освобождены. Победимский, который никогда ничего не читал и ничем не занимался, сидел обыкновенно у себя на кровати, водил по воздуху своим длинным носом и о чем-то думал. Изредка он поднимался, примеривал свой новый костюм и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которым он нещадно хлопал ладонями. После обеда он обыкновенно «отдыхал», причем храпом наводил тоску на всю усадьбу. Я от утра до вечера бегал по саду или сидел у себя во флигеле и клеил змеев. Дядю в первые две-три недели мы видели редко. По целым дням он сидел у себя в комнате и работал, несмотря ни на мух, ни на жару. Его необыкновенная способность сидеть и прирастать к столу производила на нас впечатление необъяснимого фокуса. Для нас, лентяев, не знавших систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Проснувшись часов в девять, он садился за стол и не вставал до самого обеда; пообедав, опять принимался за работу и так до поздней ночи. Когда я заглядывал к нему в замочную скважину, то всегда видел неизменно одно и то же: дядя сидел за столом и работал. Работа заключалась в том, что он одной рукой писал, другой перелистывал книгу и, как это ни странно, весь двигался: качал ногой, как маятником, насвистывал и кивал в такт головой. Вид у него при этом был крайне рассеянный и легкомысленный, точно он не работал, а играл в нули и крестики. Каждый раз я видел на нем короткий щегольской пиджак и ухарски завязанный галстук, и каждый раз, даже сквозь замочную скважину, от него пахло тонкими женскими духами. Выходил он из своей комнаты только обедать, но обедал плохо.

— Не пойму я братца! — жаловалась на него матушка.— Каждый день нарочно для него режем

индейку и голубей, сама своими руками делаю компот, а он скушает тарелочку бульону да кусочек мясца с палец и идет из-за стола. Стану умолять его, чтоб ел, он воротится к столу и выпьет молочка. А что в нем, в молоке-то? Те же помои! Умрешь от такой еды... Начнешь его уговаривать, а он только смеется да шутит... Нет, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у нас гораздо веселее, чем дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинные тени, мы, то есть Татьяна Ивановна, Победимский и я, уже сидели на крылечке флигеля. До самых потемок мы молчали. Да и о чем прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — приезд дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель все время не отрывал глаз от лица Татьяны Ивановны и глубоко вздыхал... Тогда я не понимал этих вздохов и не доискивался их смысла, теперь же они объясняют мне очень многое.

Когда тени на земле сливались в одну сплошную тень, с охоты или с поля возвращался управляющий Федор. Этот Федор производил на меня впечатление человека дикого и даже страшного. Сын обрусевшего изюмского цыгана, черномазый, с большими черными глазами, кудрявый, с всклоченной бородой, он иначе и не назывался у наших кучуевских мужиков, как «чертякой». Да и кроме наружности, в нем было много цыганского. Так, он не мог сидеть дома и по целым дням пропадал в поле или на охоте. Он был мрачен, желчен, молчалив и никого не боялся и не признавал над собой ничьей власти. Матушке он грубил, мне говорил «ты», а к учености Победимского относился презрительно. Все это мы прощали ему, считая его человеком вспыльчивым и болезненным. Матушка же любила его, потому что он, несмотря на свою цыганскую натуру, был идеально честен и трудолюбив. Свою Татьяну Ивановну он любил страстно, как цыган, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При нас он никогда не ласкал своей жены, а только злобно таращил на нее глаза и кривил рот.

Возвратившись с поля, он со стуком и со злобой ставил во флигеле ружье, выходил к нам на крылечко

и садился рядом с женой. Отдышавшись, он задавал жене несколько вопросов по части хозяйства и погружался в молчание.

— Давайте петь,— предлагал я.

Учитель настраивал гитару и густым дьячковским басом затягивал «Среди долины ровныя». Начиналось пение. Учитель пел басом, Федор едва слышным тенорком, а я дискантом в один голос с Татьяной Ивановной.

Когда все небо покрывалось звездами и умолкали лягушки, из кухни приносили нам ужин. Мы шли во флигель и принимались за еду. Учитель и цыган ели с жадностью, с треском, так что трудно было понять, хрустели то кости или их скулы, и мы с Татьяной Ивановной едва успевали съесть свои доли. После ужина флигель погружался в глубокий сон.

Однажды, было это в конце мая, мы сидели на крыльце и ожидали ужина. Вдруг мелькнула тень, и перед нами, словно из земли выросши, предстал Гундасов. Он долго глядел на нас, потом всплеснул руками и весело засмеялся.

— Идиллия! — сказал он.— Поют и мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом! Можно мне сесть с вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сел на нижнюю ступеньку, зевнул и поглядел на небо. Наступило молчание. Победимский, который давно уже собирался потолковать со свежим человеком, обрадовался случаю и первый нарушил молчание. Для умных разговоров у него была одна только тема — эпизоотии. Случается, что когда вы попадаете в тысячную толпу, вам почему-то из тысячи физиономий врезывается надолго в память только одна какая-нибудь, так и Победимский из всего того, что он успел услышать в ветеринарном институте за полгода, помнил только одно место:

«Эпизоотии приносят громадный ущерб народному хозяйству. В борьбе с ними общество должно идти рука об руку с правительством».

Прежде чем сказать это Гундасову, мой учитель раза три крякнул и несколько раз в волнении запахивался в крылатку. Услышав про эпизоотии, дядя

пристально поглядел на учителя и издал носом смеющийся звук.

— Ей-богу, это мило...— пробормотал он, разглядывая нас, как манекенов.— Это именно и есть жизнь... Такою, в сущности, и должна быть действительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился он к Татьяне Ивановне.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Ведь канальское время бежит, не ждет! Клянусь богом, не успеете оглянуться, как наступит старость... Тогда уж поздно будет жить. Так-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидеть неподвижно и молчать...

Тут из кухни принесли ужин. Дядя пошел за нами во флигель и за компанию съел пять творожников и утиное крылышко. Он ел и глядел на нас. Все мы возбуждали в нем восторг и умиление. Какую бы глупость ни сморозил мой незабвенный учитель и что бы ни сделала Татьяна Ивановна, все находил он милым и восхитительным. Когда после ужина Татьяна Ивановна смиренно села в уголок и принялась за вязанье, он не отрывал глаз от ее пальчиков и болтал без умолку.

— Вы, друзья, как можно скорее спешите жить...— говорил он.— Храни вас бог жертвовать настоящим для будущего! В настоящем молодость, здоровье, пыл, а будущее — это обман, дым! Как только стукнет двадцать лет, так и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочил, поднял иглу и с поклоном подал ее Татьяне Ивановне, и тут я впервые узнал, что на свете есть люди потоньше Победимского.

— Да...— продолжал дядя.— Любите, женитесь... делайте глупости. Глупость гораздо жизненнее и здоровее, чем наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорил много и долго, до того долго, что надоел нам, а я сидел в стороне на сундуке, слушал его и дремал. Мучило меня, что за все время он ни разу не обратил на меня внимания. Ушел он из флигеля в два часа ночи, когда я, не справившись с дремотою, уже крепко спал.

С этого времени дядя стал ходить к нам во флигель каждый вечер. Он пел с нами, ужинал и всякий раз просиживал до двух часов, без умолку болтая все об одном и том же. Вечерние и ночные работы были им оставлены, а к концу июня, когда тайный советник научился есть матушкины индейки и компоты, были брошены и дневные занятия. Дядя оторвался от стола и втянулся в «жизнь». Днем он шагал по саду, насвистывал и мешал рабочим, заставляя их рассказывать ему разные истории. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, он подбегал к ней и, если она несла что-нибудь, предлагал ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чем дальше вглубь уходило лето, тем легкомысленнее, вертлявее и рассеяннее становился мой дядюшка. Победимский в нем совсем разочаровался.

— Слишком односторонний человек...— говорил он.— Ни капли незаметно, чтоб он стоял на высших ступенях иерархии. И говорить даже не умеет. После каждого слова — «клянусь богом». Нет, не нравится мне он!

С тех пор как дядя начал посещать наш флигель, в Федоре и в моем учителе произошла заметная перемена. Федор перестал ходить на охоту, рано возвращался домой, сделался еще молчаливее и как-то особенно злобно пялил глаза на жену. Учитель же перестал в присутствии дяди говорить об эпизоотиях, хмурился и даже насмешливо улыбался.

— Идет наш мышиный жеребчик! — проворчал он однажды, когда дядя подходил к флигелю.

Такую перемену в обоих я объяснял себе тем, что они обиделись на дядю. Рассеянный дядя путал их имена, до самого отъезда не научился различать, кто из них учитель, а кто муж Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величал то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокией. Умиляясь и восторгаясь нами, он смеялся и держал себя словно с малыми ребятами... Все это, конечно, могло оскорблять молодых людей. Но дело было не в обиде, а, как теперь я понимаю, в более тонких чувствах.

Помню, в один из вечеров я сидел на сундуке и боролся с дремотой. На глаза мои ложился вязкий клей,

и тело, утомленное целодневной беготней, клонило в сторону. Но я боролся со сном и старался глядеть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, как всегда, сидела у маленького столика и шила мужу рубаху. Из одного угла пялил на нее глаза Федор, мрачный и угрюмый, а в другом сидел Победимский, уходивший в высокие воротнички своей сорочки и сердито сопевший. Дядя ходил из угла в угол и о чем-то думал. Царило молчание, только слышно было, как в руках Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдруг дядя остановился перед Татьяной Ивановной и сказал:

— Такие вы все молодые, свежие, хорошие, так безмятежно живется вам в этой тишине, что я завидую вам. Я привязался к этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уехать отсюда... Верьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стук разбудил меня, дядя стоял перед Татьяной Ивановной и глядел на нее с умилением. Щеки у него разгорелись.

— Моя жизнь пропала,— говорил он.— Я не жил! Ваше молодое лицо напоминает мне мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидеть здесь и глядеть на вас. С удовольствием я взял бы вас с собой в Петербург.

— Зачем это? — спросил хриплым голосом Федор.

— Поставил бы у себя на рабочем столе под стеклом, любовался бы и другим показывал. Вы знаете, Пелагея Ивановна, таких, как вы, там у нас нет. У нас есть богатство, знатность, иногда красота, но нет этой жизненной правды... этого здорового покоя...

Дядя сел перед Татьяной Ивановной и взял ее за руку.

— Так не хотите со мной в Петербург?— засмеялся он.— В таком случае дайте мне туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцеловать ее...

В это время послышался треск стула. Федор вскочил и мерными, тяжелыми шагами подошел к жене. Лицо его было бледно-серо и дрожало. Он со всего раз-

маха ударил кулаком по столику и сказал глухим голосом:

— Я не позволю!

Одновременно с ним вскочил со стула и Победимский. Этот, тоже бледный и злой, подошел к Татьяне Ивановне и тоже ударил кулаком по столику...

— Я... я не позволю! — сказал он.

— Что? Что такое? — удивился дядя.

— Я не позволю! — повторил Федор, стукнув по столу.

Дядя вскочил и трусливо замигал глазами. Он хотел говорить, но от изумленья и перепуга не сказал ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засеменил из флигеля, оставив у нас свою шляпу. Когда немного погодя во флигель прибежала встревоженная матушка, Федор и Победимский все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у вас тут случилось? — спросила матушка.— Отчего с братцем сделалось дурно? Что такое?

Поглядев на бледную, испуганную Татьяну Ивановну и на ее рассвирепевшего мужа, матушка, вероятно, догадалась, в чем дело. Она вздохнула и покачала головой.

— Ну, будет, будет бухотеть по столу! — сказала она.— Перестань, Федор! А вы-то чего стучите, Егор Алексеевич? Вы-то тут при чем?

Победимский спохватился и сконфузился. Федор пристально поглядел на него, потом на жену и зашагал по комнате. Когда матушка вышла из флигеля, я видел то, что долго потом считал за сон. Я видел, как Федор схватил моего учителя, поднял его на воздух и вышвырнул в дверь...

Когда я проснулся утром, постель учителя была пуста. На мой вопрос, где учитель, нянька шепотом сказала мне, что его рано утром отвезли в больницу лечить сломанную руку. Опечаленный этим известием и припоминая вчерашний скандал, я вышел на двор. Погода стояла пасмурная. Небо заволокло тучами, и по земле гулял ветер, поднимая с земли пыль, бумажки и перья. Чувствовалась близость дождя. На людях и на

животных была написана скука. Когда я пошел в дом, меня попросили не стучать ногами, сказав, что матушка больна мигренью и лежит в постели. Что делать? Я пошел за ворота, сел там на лавочку и стал искать смысла в том, что я вчера видел и слышал. От наших ворот шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала в большую, почтовую дорогу... Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал.

По почтовой дороге проехала пыльная линейка, битком набитая горожанами, ехавшими, вероятно, на богомолье. Не успела линейка исчезнуть из вида, как показалась легкая пролетка, запряженная в пару. В ней, стоя и держась за пояс кучера, ехал становой Аким Никитич. К великому моему удивлению, пролетка свернула на нашу дорогу и пролетела мимо меня в ворота. Пока я недоумевал, зачем это прикатил к нам становой, послышался шум, и на дороге показалась тройка. В коляске стоял исправник и показывал кучеру на наши ворота.

«А этот зачем? — думал я, разглядывая покрытого пылью исправника.— Это, вероятно, Победимский им на Федора пожаловался, и они приехали взять его в острог».

Но загадку не так легко было решить. Становой и исправник были только предтечи, потому что не прошло и пяти минут, как к нам в ворота въехала карета. Она так быстро мелькнула мимо меня, что, заглянув в каретное окно, я увидел одну только рыжую бороду.

Теряясь в догадках и предчувствуя что-то недоброе, я побежал к дому. В передней прежде всего я увидел матушку. Она была бледна и с ужасом глядела на дверь, из-за которой слышались мужские голоса. Гости застали ее врасплох, в самый разгар мигрени.

— Кто приехал, мама? — спросил я.

— Сестра! — послышался голос дяди.— Дай-ка нам с губернатором закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить! — прошептала матушка, млея от ужаса.— Что я теперь успею приготовить? Осрамилась на старости лет!

Матушка схватила себя за голову и побежала в кухню. Внезапный приезд губернатора поднял на ноги и ошеломил всю усадьбу. Поднялась ожесточенная резня. Зарезали штук десять кур, пять индеек, восемь уток и впопыхах обезглавили старого гусака, родоначальника нашего гусиного стада и любимца матери. Кучера и повар словно обезумели и резали птиц зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогих турманов, которые мне были так же дороги, как матушке гусак. Смерти их я долго не прощал губернатору.

Вечером, когда губернатор и его свита, сытно пообедав, сели в свои экипажи и уехали, я пошел в дом поглядеть на остатки пиршества. Заглянув из передней в залу, я увидел и дядю и матушку. Дядя, заложив руки назад, нервно шагал вдоль стен и пожимал плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудевшая, сидела на диване и больными глазами следила за движениями брата.

— Извини, сестра, но так нельзя...— брюзжал дядя, морща лицо.— Я представляю тебе губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастного! Нет, это не годится... Простота хорошая вещь, но ведь и она должна иметь пределы... клянусь богом... И потом этот обед! Разве можно такими обедами кормить? Например, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка под сладким соусом...— тихо ответила матушка.

— Утка... Прости, сестра, но... но у меня вот изжога! Я болен!

Дядя сделал кислое, плачущее лицо и продолжал:

— И черт принес этого губернатора! Очень мне нужен его визит! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсем развинтился... И как это, не понимаю, вы можете жить тут без работы... в этой скучище! Вот уж у меня и боль начинается под ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрее зашагал.

— Братец,— тихо спросила матушка,— а сколько стоит поехать за границу?

— По меньшей мере три тысячи...—ответил плачущим голосом дядя.— Я бы поехал, а где их взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядел с тоской на серое пасмурное окно и опять зашагал.

Наступило молчание... Матушка долго глядела на икону, что-то раздумывая, потом заплакала и сказала:

— Я, братец, дам вам три тысячи...

Дня через три величественные чемоданы были отправлены на станцию, а вслед за ними укатил и тайный советник. Прощаясь с матушкой, он заплакал и долго не мог оторвать губ от ее руки, когда же он сел в экипаж, лицо его осветилось детскою радостью... Сияющий, счастливый, он уселся поудобней, сделал на прощанье плачущей матушке ручкой и вдруг неожиданно остановил свой взгляд на мне. На лице его появилось выражение крайнего удивления.

— А это что за мальчик? — спросил он.

Матушку, уверявшую меня, что дядюшку бог послал к нам на мое счастье, этот вопрос сильно покоробил. Мне же было не до вопросов. Я глядел на счастливое лицо дяди, и мне почему-то было страшно жаль его. Я не выдержал, вскочил в экипаж и горячо обнял этого легкомысленного и слабого, как все люди, человека. Глядя ему в глаза и желая сказать что-нибудь приятное, я спросил:

— Дядя, вы были хоть раз на войне?

— Ах, милый мальчик...— засмеялся дядя, целуя меня,— милый мальчик, клянусь богом. Так все это естественно, жизненно... клянусь богом...

Коляска тронулась... Я глядел ей вослед и долго слышал это прощальное «клянусь богом».

ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ

Сценка

Девятый час утра.

Навстречу солнцу ползет темная свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бегает шестилетняя нищенка Фекла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая, босоногая девочка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.

— Дяденька, где Терентий? — спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей пономарь Силантий Силыч, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.

— Дяденька, где Терентий?

— На огородах,— отвечает Силантий.

Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик с рябым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную женину кофту, стоит около грядок и пьяными, посоловелыми глазками глядит на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных, ногах он покачивается от ветра, как скворечня.

— Дядя Терентий! — обращается к нему беловолосая нищенка.— Дяденька, родненький!

Терентий нагибается к Фекле, и его пьяное суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах

людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.

— А-аа... раба божия Фекла! — говорит он, нежно сюсюкая.— Откуда бог принес?

— Дяденька Терентий,— всхлипывает Фекла, дергая сапожника за полу.— С братцем Данилкой беда приключилась! Пойдем!

— Какая такая беда? У-ух, какой гром! Свят, свят, свят... Какая беда?

— В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, вынь ему руку, сделай милость!

— Как же это он руку засунул? Зачем?

— Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.

— Не успел еще день начаться, а у вас уже горе...— крутит головой Терентий, медленно сплевывая.— Ну, что ж мне таперя с тобой делать? Надо идтить... Надо, волк вас заешь, баловников! Пойдем, сирота!

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним едва поспевает нищенка Фекла.

Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синеющей вдали графской роще. К ней версты две будет. А тучи уже заволокли солнце, и скоро на небе не остается ни одного голубого местечка. Темнеет.

— Свят, свят, свят,— шепчет Фекла, спеша за Терентием.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Феклы и ползет слезой к подбородку.

— Дождь начался!— бормочет сапожник, взбудораживая пыль своими босыми костистыми ногами.— Это слава богу, брат Фекла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грома ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.

— Измокнем мы с тобой, Феклушка! — бормочет Терентий.— Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.

Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой!

— Свят, свят, свят...— крестится Терентий.— Не бойся, сиротка! Не по злобе гремит.

Ноги сапожника и Феклы покрываются кусками тяжелой мокрой глины. Идти тяжело, скользко, но Терентий шагает все быстрей и быстрей... Маленькая слабосильная нищая задыхается и чуть не падает.

Но вот наконец входят они в графскую рощу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о пни и начинает идти тише.

— Где же тут Данилка?— спрашивает он.— Веди к нему!

Фекла ведет его в чащу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький восьмилетний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву, и, склонив голову набок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит:

— Страсть какой гром, Терентий! Отродясь такого грома не было...

— А рука твоя где?

— В дупле... Вынь, сделай милость, Терентий!

Край дупла надломился и ущемил руку Данилы: дальше просунуть можно, а двинуть назад никак

нельзя. Терентий надламывает отломок, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.

— Страсть как гремит! — повторяет мальчик, почесывая руку. — А отчего это гремит, Терентий?

— Туча на тучу надвигается...— говорит сапожник.

Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-помалу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.

— Тут, Терентий, намедни утки пролетели...— говорит Данилка, все еще почесывая руку. — Должно, в Гнилых Займищах на болотах сядут. Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?

— Не трогай, потревожишь... — говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду. — Соловей птица певчая, безгрешная... Ему голос такой в горле даден, чтоб бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить.

— А воробья?

— Воробья можно, злая птица, ехидная. Мысли у него в голове, словно у жулика. Не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он жидам гвозди носил и кричал: «Жив! жив!»

На небе показывается светло-голубое пятно.

— Погляди-кось! — говорит Терентий.— Муравейник разрыло! Затопило шельмов этаких!

Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев; насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.

— Ништо вам, не околеете! — ухмыляется сапожник.— Как только солнышко пригреет, и придете в чувство... Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте...

Идут дальше.

— А вот и пчелы!— вскрикивает Данилка, указывая на ветку молодого дуба.

На этой ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измокшие и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.

— Это пчелиный рой,— учит Терентий.—Он летал и искал себе жилья, а как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызнуть, чтоб он сел. Таперя, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок, потряси, они все и попадают.

Маленькая Фекла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.

— Ге-ге! — смеется сапожник.— Знаешь ты, брат Фекла, откеда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи. Вода текла с них и капнула тебе на шею — оттого и волдырь.

Солнце показывается из-за облаков и заливает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная, грозная туча ушла уже далеко и унесла с собою грозу. Воздух становится тепел и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.

— Это зелье дают, когда из носа кровь идет,—говорит Терентий, указывая на мохнатый цветок.— Помогает...

Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Данилы и Феклы мчится товарный поезд. Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов. Сила у него необыкновенная. Детям интересно бы знать, как это локомотив, не живой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентий берется объяснить им это:

— Тут, ребята, вся штука в паре... Пар действует... Он, стало быть, прет под энту штуку, что около колес, а оно и тово... этого... и действует...

Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает...

Терентий отвечает на все вопросы, и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает все. Так, он знает названия всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болезни, не затруднится узнать, сколько лошади или

корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не один Терентий так разумен. Силантий Силыч, кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня, знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы.

Данилка глядит на Терентия и с жадностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразная зелень полей, когда все ново и дышит свежестью, кому не интересно слушать про золотистых майских жуков, про журавлей, про колосящийся хлеб и журчащие ручьи?

Оба, сапожник и сирота, идут по полю, говорят без умолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они и в разговорах про красоту земли не замечают, что за ними следом семенит маленькая, тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается. Слезы повисли на ее глазах. Она рада бы оставить этих неутомимых странников, но куда и к кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь не хочешь, а иди и слушай разговоры.

Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашицу хлеба, и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грозу, пчел, муравьев, поезд, теперь же перед его глазами суетятся рыбешки. Одни рыбки с вершок и больше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, подняв вверх голову, проплывает гадюка.

Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на ночлег в заброшенный сарай, где прежде ссыпался общественный хлеб, а Терентий, простившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют.

Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит все, что видел днем: тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается с боку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому. Фекла еще мала и не понять ей.

«Ужо завтра Терентию расскажу...» — думает мальчик.

Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай.

В ПАНСИОНЕ

В частном пансионе m-me [1] Жевузем бьет двенадцать. Пансионерки, вялые и худосочные, взявшись под руки, чинно прогуливаются по коридору. Классные дамы, желтые и весноватые, с выражением крайнего беспокойства на лицах, не отрывают от них глаз и, несмотря на идеальную тишину, то и дело выкрикивают: «Медам! Силянс!»[2]

В учительской комнате, в этой таинственной святая святых, сидят сама Жевузем и учитель математики Дырявин. Учитель давно уже дал урок, и ему пора уходить, но он остался, чтобы попросить у начальницы прибавки. Зная скупость «старой шельмы», он поднимает вопрос о прибавке не прямо, а дипломатически.

— Гляжу я на ваше лицо, Бьянка Ивановна, и вспоминаю прошлое...— говорит он, вздыхая. — Какие прежде, в наше время, красавицы были! Господи, что за красавицы! Пальчики обсосешь! А теперь? Перевелись красавицы! Настоящих женщин нынче нет, а все какие-то, прости господи, трясогузки да кильки... Одна другой хуже...

— Нет, и теперь много красивых женщин! — картавит Жевузем.

— Где? Покажите мне: где? — горячится Дырявин. — Полноте, Бьянка Ивановна! По доброте своего

---

[1] madame — госпожи (*франц.*).
[2] Молчание! (*франц.*)

сердца вы и белужью харю назовете красавицей, знаю я вас! Извините меня за эти кель-выражансы, но я искренно вам говорю. Нарочно вчера на концерте осматривал женщин: рожа на роже, кривуля на кривуле! Да взять вот хоть наш старший класс. Ведь все это бутоны, невесты, самые, можно сказать, сливки — и что же? Восемнадцать их штук, и хоть бы одна хорошенькая!

— Вот и неправда! Кого ни спросите, всякий вам скажет, что в моем старшем классе много хорошеньких. Например, Кочкина, Иванова вторая, Пальцева... А Пальцева просто картинка! Я женщина, да и то на нее заглядываюсь...

— Удивительно... — бормочет Дырявин.— Ничего в ней нет хорошего...

— Прекрасные черные глаза! — волнуется Жевузем.— Черные, как тушь! Вы поглядите на нее: это... это совершенство! В древности с нее писали бы богинь!

Дырявин отродясь не видал таких красавиц, как Пальцева, но жажда прибавки берет верх над справедливостью, и он продолжает доказывать «старой шельме», что в настоящее время красавиц нет...

— Только и отдыхаешь, когда взглянешь на лицо какой-нибудь пожилой дамы,— говорит он.— Правда, молодости и свежести не увидишь, но зато глаз отдохнет хоть на правильных чертах... Главное — правильность черт! А у вашей Пальцевой на лице не черты, а какая-то сметана... кислятина...

— Значит, вы не всматривались в нее... — говорит Жевузем. — Вы всмотритесь, да тогда и говорите...

— Ничего в ней нет хорошего,— угрюмо вздыхает Дырявин.

Жевузем вскакивает, идет к двери и кричит:

— Позвать ко мне Пальцеву! Вы всмотритесь в нее,— говорит она учителю, отходя от двери.— Вы обратите внимание на глаза и на нос... Лучшего носа во всей России не найти.

Через минуту в учительскую входит Пальцева, девочка лет семнадцати, смуглая, стройная, с большими

черными глазами и с прекрасным греческим носом.

— Подойдите поближе...— обращается к ней Жевузем строгим голосом. — М-г [1] Дырявин вот жалуется мне, что вы... что вы невнимательны за уроками математики. Вы вообще рассеянны и... и...

— И по алгебре плохо занимаетесь...— бормочет Дырявин, рассматривая лицо Пальцевой.

— Стыдно, Пальцева! — продолжает Жевузем.— Нехорошо! Неужели вы хотите, чтобы я наказывала вас наравне с маленькими? Вы уже взрослая, и вы должны другим пример подавать, а не то что вести себя так дурно... Но... подойдите поближе!

Жевузем говорит еще очень много «общих мест». Пальцева рассеянно слушает ее и, шевеля ноздрями, глядит через голову Дырявина в окно...

«Отдай все — и мало,— думает математик, рассматривая ее.— Роскошь девочка! Ноздрями шевелит, пострел... Чует, что в июне на волю вырвется... Дай только вырваться, забудет она и эту Жевузешку, и болвана Дырявина, и алгебру... Не алгебра ей нужна! Ей нужен простор, блеск... нужна жизнь...»

Дырявин вздыхает и продолжает думать:

«Ох, эти ноздри! И месяца не пройдет, как вся моя алгебра пойдет к черту... Дырявин обратится в скучное серое воспоминание... Встречусь ей, так она только ноздрями пошевелит и здравствуй не скажет. Спасибо хоть за то, что коляской не раздавит...»

— Хорошие успехи могут быть только при внимании и прилежании,— продолжает Жевузем,— а вы невнимательны... Если еще будут продолжаться жалобы, то я принуждена буду наказать вас... Стыдно!

«Не слушай, ангел, эту сухую лимонную корку,— думает Дырявин.— Нисколько не стыдно... Ты гораздо лучше всех нас вместе взятых».

— Ступайте! — строго говорит Жевузем.

Пальцева делает реверанс и выходит.

— Ну что? Всмотрелись теперь? — спрашивает Жевузем.

---

[1] Monsieur — господин (*франц.*).

Дырявин не слышит ее вопроса и все еще думает.

— Ну? — повторяет начальница. —Плоха, по-вашему?

Дырявин тупо глядит на Жевузем, приходит в себя и, вспомнив о прибавке, оживляется.

— Хоть убейте, ничего хорошего не нахожу...—говорит он. — Вы вот уже в летах, а нос и глаза у вас гораздо лучше, чем у нее...Честное слово... Поглядите-ка на себя в зеркало!

В конце концов m-me Жевузем соглашается, и Дырявин получает прибавку.

НА ДАЧЕ

«Я вас люблю, Вы моя жизнь, счастье — все! Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке... Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой... чего же вам еще?»

Прочитав это письмо, дачник Павел Иваныч Выходцев, человек семейный и положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб.

«Что за чертовщина? — подумал он. — Женатый я человек, и вдруг такое странное... глупое письмо! Кто это написал?»

Павел Иваныч повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул.

— «Я вас люблю»...— передразнил он. — Мальчишку какого нашла! Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку!.. Я, матушка моя, давно уж отвык от этих романсов да флер-д-амуров...[1] Гм! Должно быть, шальная какая-нибудь, непутевая... Ну, народ эти женщины! Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку! Сущая деморализация!»

За все восемь лет своей женатой жизни Павел Иваныч отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных, а потому, как он ни старался хорохориться перед самим собою, вышепри-

[1] Цветов любви (от *франц.* fler d'amour).

веденное письмо сильно озадачило его и взволновало.

Через час после получения его он лежал на диване и думал:

«Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву[1], но все-таки интересно было бы знать: кто это написал? Гм... Почерк, несомненно, женский... Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка... Вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова... Вдовы вообще легкомысленны и эксцентричны. Гм... Кто бы это мог быть?»

Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Иваныча не было ни одной знакомой женщины, кроме жены.

«Странно... — недоумевал он. — «Я вас люблю»... Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина! Полюбила так, с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что я за человек... Должно быть, слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с двух-трех взглядов... Но... кто она?»

Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вчера и третьего дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него и, когда он сел на скамью, уселась рядом с ним...

«Она? — подумал Выходцев. — Не может быть! Разве субтильное[2], эфемерное существо может полюбить такого старого, потасканного угря, как я? Нет, это невозможно!»

За обедом Павел Иваныч тупо глядел на жену и размышлял:

«Она пишет, что она молода и хороша собой... Значит, не старуха... Гм... Говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться... Любит же меня жена! И к тому же любовь зла — полюбишь и козла...»

---

[1] свидание (от *франц.* randez-vous).

[2] нежное (от *лат.* subtilis).

— О чем ты задумался? — спросила его жена.

— Так... голова что-то болит... — соврал Павел Иваныч.

Он порешил, что глупо обращать внимание на такую безделицу, как любовное письмо, смеялся над ним и его авторшей, но — увы! — враг человеческий силен. После обеда Павел Иваныч лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал:

«А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду! Вот дура-то! То-то, воображаю, будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке!.. А я не пойду... Ну ее!»

Но, повторяю, враг человеческий силен.

«Впрочем, так разве, пойти из любопытства...—думал через полчаса дачник.— Пойти и поглядеть издалека, что это за штука... Интересно поглядеть! Смех, да и только! Право, отчего не посмеяться, если подходящий случай представился?»

Павел Иваныч поднялся с постели и начал одеваться.

— Ты куда это так наряжаешься? — спросила его жена, заметив, что он надевает чистую сорочку и модный галстук.

— Так... хочу пройтись... Голова что-то болит... Кгм...

Павел Иваныч нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дому. Когда перед его глазами, на ярко-зеленом фоне, залитом светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце.

«Которая из них? — думал он, застенчиво косясь на лица дачниц. — А блондиночки не видать... Гм... Если она писала, то, стало быть, уж в беседке сидит...»

Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы высоких лип выглядывала «старая беседка»... Он тихо поплелся к ней...

«Погляжу издалека...— думал он, нерешительно подвигаясь вперед.— Ну, что я робею? Ведь я же не иду на рандеву! Этакий... дурень! Смелей иди! А что, если б я вошел в беседку? Ну, ну... незачем!»

У Павла Иваныча еще сильнее забилось сердце...

Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки... В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и с вздернутым носиком... Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и... вдруг сжимает его в объятиях.

«Не будь я женат, оно бы еще ничего...— думал он, гоня из головы грешные мысли.— Впрочем... раз в жизни не мешало бы испытать, а то так и умрешь, не узнавши, что это за штука... А жена... ну, что с ней сделается? Слава богу, восемь лет ни на шаг не отходил от нее... Восемь лет беспорочной службы! Будет с нее... Досадно даже... Возьму вот, назло и изменю!»

Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иваныч подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и заглянул в нее... На него пахнуло сыростью и запахом плесени...

«Кажется, никого...» — подумал он, входя в беседку, и тут же увидел в углу человеческий силуэт...

Силуэт принадлежал мужчине... Вглядевшись в него, Павел Иваныч узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче.

— А, это ты?..— промычал он недовольным голосом, снимая шляпу и садясь.

— Да, я...— ответил Митя.

Минуты две прошло в молчании...

— Извините меня, Павел Иваныч,— начал Митя,— но я просил бы вас оставить меня одного... Я обдумываю кандидатское сочинение, и... и присутствие кого бы то ни было мне мешает...

— А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку...— кротко заметил Павел Иваныч.— На свежем воздухе легче думать, да и... того — мне хотелось бы тут на скамье соснуть... Здесь не так жарко...

— Вам спать, а мне сочинение обдумывать...— проворчал Митя. — Сочинение важней...

Опять наступило молчание... Павел Иваныч, который дал уже волю воображению и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом:

— Ну, я прошу тебя, Митя! Ты моложе меня и должен уважить... Я болен и... и хочу спать... Уйди!

— Это эгоизм... Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду...

— Ну, прошу! Пусть я эгоист, деспот, глупец... но я прошу тебя! Раз в жизни прошу! Уважь!

Митя покрутил головой...

«Какая скотина...— подумал Павел Иваныч.— Ведь при нем не состоится рандеву! При нем нельзя!»

— Послушай, Митя,— сказал он,— я прошу тебя в последний раз... Докажи, что ты умный, гуманный и образованный человек!

— Не понимаю, чего вы пристаете?.. — пожал плечами Митя.— Сказал: не выйду, ну, и не выйду. Из принципа здесь останусь...

В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо с вздернутым носиком.

Увидев Митю и Павла Иваныча, оно нахмурилось и исчезло...

«Ушла! — подумал Павел Иваныч, со злобой глядя на Митю.— Увидала этого подлеца и ушла! Все дело пропало!»

Подождав еще немного, Выходцев встал, надел шляпу и сказал:

— Скотина ты, подлец и мерзавец! Да! Скотина! Подло и... и глупо! Между нами все кончено!

— Очень рад! — проворчал Митя, тоже вставая и надевая шляпу.— Знайте, что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость, какой я вам до самой смерти не прощу!

Павел Иваныч вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче... Его не успокоил и вид стола, сервированного для ужина.

«Раз в жизни представился случай,— волновался он,— и то помешали! Теперь она оскорблена... убита!»

За ужином Павел Иваныч и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали... Оба всей душой ненавидели друг друга.

— Ты чего это улыбаешься? — набросился Павел

Иваныч на жену.— Только одни дуры без причины смеются!

Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула...

— Что это за письмо получил ты сегодня утром? — спросила она.

— Я?.. Я никакого...— сконфузился Павел Иваныч.—Выдумываешь... воображение...

— Ну да, рассказывай! Признайся, получил! Ведь это письмо я тебе послала! Честное слово, я! Ха-ха!

Павел Иваныч побагровел и нагнулся к тарелке.

— Глупые шутки,— проворчал он.

— Но что же делать! Сам ты посуди.... Нам нужно было сегодня полы помыть, а как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь... Но ты не сердись, глупый... Чтобы тебе в беседке скучно не показалось, ведь я и Мите такое же письмо послала! Митя, ты был в беседке?

Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.

ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ

Дачный роман

Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было.

— Нет, не уснуть мне сегодня,— решил он, раз пять перевернувшись с боку на бок.— Стану газеты читать.

Николай Андреич встал с постели, набросил на себя халат и в одних чулках, без туфель, пошел к себе в кабинет за газетами. Он и не предчувствовал, что в кабинете ожидало его зрелище, которое было гораздо интереснее изжоги и газет!

Когда он переступил порог кабинета, перед его глазами открылась картина: на бархатной кушетке, спустив ноги на скамеечку, полулежала его жена, Анна Семеновна, дама тридцати трех лет; поза ее, небрежная и томная, походила на ту позу, в какой обыкновенно рисуется Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями. У ее изголовья на одном колене стоял репетитор Капитоновых, студент-техник 1-го курса, Ваня Щупальцев, розовый, безусый мальчик лет девятнадцати — двадцати. Смысл этой «живой» картины нетрудно было понять: перед самым входом нотариуса уста барыни и юноши слились в продолжительный, томительно-жгучий поцелуй.

Николай Андреевич остановился как вкопанный, притаил дыхание и стал ждать, что дальше будет, но не вытерпел и кашлянул. Техник оглянулся на кашель и, увидев нотариуса, отупел на мгновение, потом же вспыхнул, вскочил и выбежал из кабинета. Анна Семеновна смутилась.

— Пре-екрасно! Мило! — начал муж, кланяясь и расставляя руки.— Поздравляю! Мило и великолепно!

— С вашей стороны тоже мило... подслушивать! — пробормотала Анна Семеновна, стараясь оправиться.

— Mercі! Чу́дно! — продолжал нотариус, широко ухмыляясь.— Так все это, мамочка, хорошо, что я готов сто рублей дать, чтобы еще раз поглядеть.

— Вовсе ничего не было... Это вам так показалось... Глупо даже...

— Ну да, а целовался кто?

— Целовались — да, а больше... не понимаю даже, откуда ты выдумал.

Николай Андреич насмешливо поглядел на смущенное лицо жены и покачал головой.

— Свеженьких огурчиков на старости лет захотелось! — заговорил он певучим голосом.— Надоела белужина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь с этим возрастом! Понимаю! Понимаю и сочувствую!

Николай Андреевич сел у окна и забарабанил пальцами по подоконнику.

— И впредь продолжайте...— зевнул он.

— Глупо! — сказала Анна Семеновна.

— Черт знает, какая жара! Велела бы ты лимонаду купить, что ли. Так-то, сударыня. Понимаю и сочувствую. Все эти поцелуи, ахи да вздохи — фуй, изжога! — все это хорошо и великолепно, только не следовало бы, матушка, мальчика смущать. Да-с. Мальчик добрый, хороший... светлая голова и достоин лучшей участи. Пощадить бы его следовало.

— Вы ничего не понимаете. Мальчик в меня по уши влюбился, и я сделала ему приятное... позволила поцеловать себя.

— Влюбился...— передразнил Николай Андреич.— Прежде чем он в тебя влюбился, ты ему небось сто западней и мышеловок поставила.

Нотариус зевнул и потянулся.

— Удивительное дело! — проворчал он, глядя в окно.— Поцелуй я так же безгрешно, как ты сейчас, девушку, на меня черт знает что посыплется: злодей! соблазнитель! развратитель! А вам, бальзаковским барыням, все с рук сходит. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги... Фуй! Погляди-ка скорей на твоего обже! [1] Бежит по аллее бедный финик, словно ошпаренный, без оглядки. Чай, воображает, что я с ним из-за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Шкодлив, как кошка, труслив, как заяц. Постой же, финик, задам я тебе фернапиксу! Ты у меня еще не этак забегаешь!

— Нет, пожалуйста, ты ему ничего не говори! — сказала Анна Семеновна.— Не бранись с ним, он нисколько не виноват.

— Я браниться не буду, а так только... шутки ради.

Нотариус зевнул, забрал газеты и, подобрав полы халата, побрел к себе в спальную. Повалявшись часа полтора и прочитавши газеты, Николай Андреич оделся и отправился гулять. Он ходил по саду и весело помахивал своей тросточкой, но, увидав издалека техника Щупальцева, он скрестил на груди руки, нахмурился и зашагал, как провинциальный трагик, готовящийся к встрече с соперником. Щупальцев сидел на скамье под ясенью и, бледный, трепещущий, готовился к тяжелому объяснению. Он храбрился, делал серьезное лицо, но его, как говорится, крючило. Увидав нотариуса, он еще больше побледнел, тяжело перевел дух и смиренно поджал под себя ноги. Николай Андреич подошел к нему боком, постоял молча и, не глядя на него, начал:

— Конечно, милостивый государь, вы понимаете, о чем я хочу говорить с вами. После того, что я видел, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Да-с! Волнение мешает мне говорить, но... вы и без

---

[1] предмет увлечения (от *франц.* objèt).

моих слов поймете, что я и вы жить под одной крышей не можем. Я или вы!

— Я вас понимаю,— пробормотал техник, тяжело дыша.

— Эта дача принадлежит жене, а потому здесь останетесь вы, а я... я уеду. Я пришел сюда не упрекать вас, нет! Упреками и слезами не вернешь того, что безвозвратно потеряно. Я пришел затем, чтобы спросить вас о ваших намерениях... (Пауза.) Конечно, не мое дело мешаться в ваши дела, но, согласитесь, в желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого... этакого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены жить с моей женой?

— То есть как-с? — сконфузился техник, подгибая еще больше под скамью ноги.— Я... я не знаю. Все это как-то странно.

— Я вижу, вы уклоняетесь от прямого ответа,— проворчал угрюмо нотариус. — Так я вам прямо говорю: или вы берете соблазненную вами женщину и доставляете ей средства к существованию, или же мы стреляемся. Любовь налагает известные обязательства, милостивый государь, и вы, как честный человек, должны понимать это! Через неделю я уезжаю, и Анна с семьей поступает под вашу ферулу. На детей я буду выдавать определенную сумму.

— Если Анне Семеновне угодно,— забормотал юноша,— то я... я, как честный человек, возьму на себя... но я ведь беден! Хотя...

— Вы благородный человек!— прохрипел нотариус, потрясая руку техника.— Благодарю! Во всяком случае, даю вам неделю на размышление. Вы подумайте!

Нотариус сел рядом с техником и закрыл руками лицо.

— Но что вы сделали со мной! — простонал он.— Вы разбили мне жизнь... отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. Нет, я не перенесу этого удара!

Юноша с тоской поглядел на него и почесал себе лоб. Ему было жутко.

— Сами вы виноваты, Николай Андреич! —

вздохнул он. — Снявши голову, по волосам не плачут. Вспомните, что вы женились на Анне только из-за денег... потом всю жизнь вы не понимали ее, тиранили... относились небрежно к самым чистым, благородным порывам ее сердца.

— Это она вам сказала? — спросил Николай Андреич, вдруг отнимая от лица руки.

— Да, она. Мне известна вся ее жизнь, и... и верьте, я полюбил в ней не столько женщину, сколько страдалицу.

— Вы благородный человек...— вздохнул нотариус, поднимаясь.— Прощайте и будьте счастливы. Надеюсь, что все, что тут было сказано, останется между нами.

Николай Андреич еще раз вздохнул и зашагал к дому.

На полдороге встретилась ему Анна Семеновна.

— Что, финика своего ищешь? — спросил он.— Ступай-ка погляди, в какой пот я его вогнал!.. А ты уж успела ему поисповедаться! И что у вас, бальзаковских, за манера, ей-богу! Красотой и свежестью брать не можете, так с исповедью подъезжаете, с жалкими словами! Наврала с три короба! И на деньгах-то я женился, и не понимал я тебя, и тиранил, и черт, и дьявол...

— Ничего я ему не говорила! — вспыхнула Анна Семеновна.

— Ну, ну... я ведь понимаю, вхожу в положение. Не бойся, не выговор делаю. Мальчика только жалко. Хороший такой, честный, искренний.

Когда наступил вечер и всю землю заволокло потемками, нотариус еще раз вышел на прогулку. Вечер был великолепный. Деревья спали, и казалось, никакая буря не могла разбудить их от молодого, весеннего сна. С неба, борясь с дремотой, глядели звезды. Где-то за садом лениво квакали лягушки и пискала сова. Слышались короткие, отрывистые свистки далекого соловья.

Николай Андреич, проходивший в потемках под широкой липой, неожиданно наткнулся на Щупальцева.

— Что вы тут стоите? — спросил он.

— Николай Андреич! — начал Щупальцев дрожащим от волнения голосом. — Я согласен на все ваши условия, но... все это как-то странно.— Вдруг вы ни с

того ни с сего несчастны... страдаете и говорите, что ваша жизнь разбита...

— Да, так что же?

— Если вы оскорблены, то... то, хоть я и не признаю дуэли, я могу удовлетворить вас. Если дуэль хоть немного облегчит вас, то, извольте, я готов... хоть сто дуэлей...

Нотариус засмеялся и взял техника за талию.

— Ну, ну... будет! Я ведь пошутил, голубчик!— сказал он. — Все это пустяки и вздор. Та дрянная и ничтожная женщина не стоит того, чтобы вы тратили из-за нее хорошие слова и волновались. Довольно, юноша! Пойдемте гулять.

— Я... я вас не понимаю...

— И понимать нечего. Дрянная, скверная бабенка — и больше ничего!.. У вас вкуса нет, голубчик. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам этого, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно: наплюйте! Игра не стоит свеч. Все она вам налгала и, как «страдалица», гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. Глупа и много врет. Честное слово, голубчик! Я не шучу...

— Но ведь она вам жена! — удивился техник.

— Мало ли чего! Был таким же, как вот вы, и женился, а теперь рад бы разжениться, да — тпррр... Наплюйте, милый! Любви-то ведь никакой, а одна только шалость, скука. Хотите шалить, так вон Настя идет... Эй, Настя, куда идешь?

— За квасом, барин! — послышался женский голос.

— Это я понимаю,— продолжал нотариус,— а все эти психопатки, страдалицы... ну их! Настя дура, но в ней хоть претензий нет... Дальше пойдем?

Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздохнувши, пошли по полю.

СКУКА ЖИЗНИ

По наблюдению опытных людей не легко расстаются с здешнею жизнью и *старцы*; при этом они нередко обнаруживают свойственные их возрасту скупость и жадность, а также мнительность, малодушие, строптивость, неудовольствие и т. д.

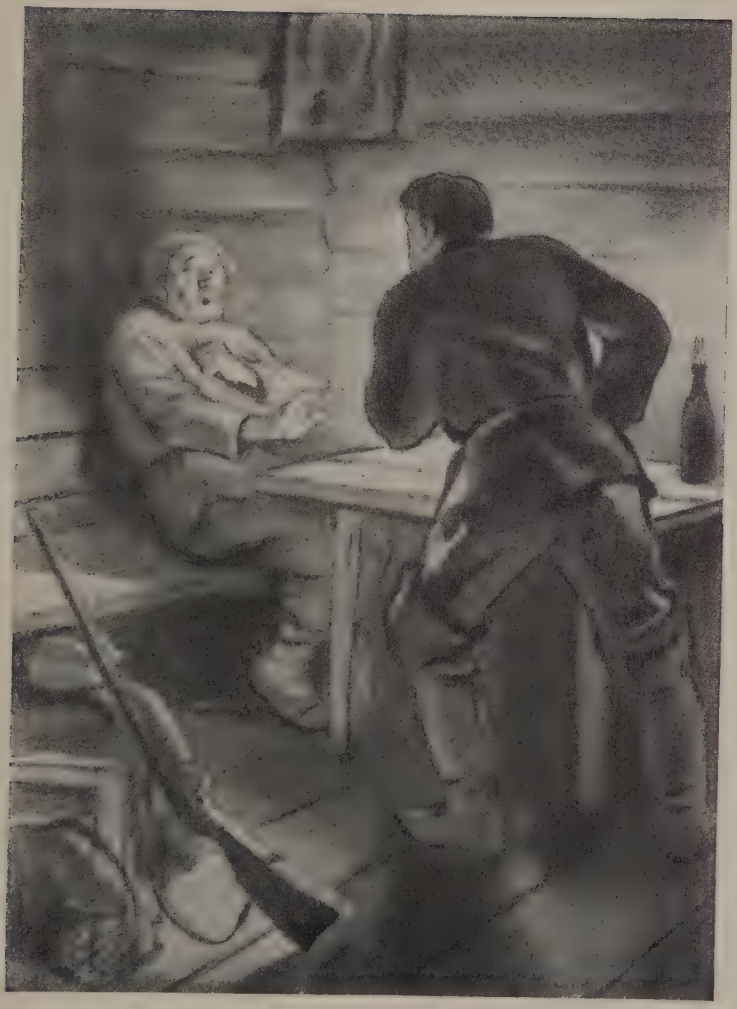
«Практическое руководство для священнослужителей».

П. Нечаев

У полковницы Анны Михайловны Лебедевой умерла единственная дочь, девушка-невеста. Эта смерть повлекла за собою другую смерть: старуха, ошеломленная посещением бога, почувствовала, что все ее прошлое безвозвратно умерло и что теперь начинается для нее другая жизнь, имеющая очень мало общего с первою...

Она беспорядочно заторопилась. Прежде всего она послала на Афон тысячу рублей и пожертвовала на кладбищенскую церковь половину домашнего серебра. Немного погодя она бросила курить и дала обет не есть мяса. Но от всего этого ей нисколько не полегчало, а напротив, чувство старости и близости смерти становилось все острее и выразительней. Тогда Анна Михайловна продала за бесценок свой городской дом и без всякой определенной цели поспешила к себе в усадьбу.

Раз в сознании человека, в какой бы то ни было форме, поднимается запрос о целях существования и является живая потребность заглянуть по ту сторону



К рассказу «Беспокойный гость».

Художники Кукрыниксы. 1954.

гроба, то уж тут не удовлетворят ни жертва, ни пост, ни мыканье с места на место. Но, к счастью для Анны Михайловны, тотчас по приезде ее в Женино, судьба навела ее на случай, который заставил ее надолго забыть о старости и близкой смерти. Случилось, что в день ее приезда повар Мартын облил кипятком себе обе ноги. Поскакали за земским доктором, но дома его не застали. Тогда Анна Михайловна, брезгливая и чувствительная, собственноручно омыла раны Мартына, смазала их спуском и наложила на обе ноги повязки. Всю ночь просидела она у постели повара. Когда благодаря ее стараниям Мартын перестал стонать и уснул, душу ее, как потом она рассказывала, что-то «осенило». Ей вдруг показалось, что перед нею, как на ладони, открылась цель ее жизни... Бледная, с влажными глазами, она благоговейно поцеловала в лоб спящего Мартына и стала молиться.

После этого Лебедева занялась лечением. В дни греховной, неряшливой жизни, о которой она вспоминала теперь не иначе, как с отвращением, ей от нечего делать приходилось много лечиться.

Кроме того, в числе ее любовников были доктора, от которых она кое-чему научилась. То и другое пригодилось ей теперь как нельзя кстати. Она выписала аптечку, несколько книг, газету «Врач» и смело приступила к лечению. Сначала у нее лечились обитатели одного только Женина, потом же к ней стала стекаться публика изо всех окрестных деревень.

— Представьте, моя милая! — хвалилась она попадье месяца через три после приезда,— вчера у меня было шестнадцать больных, а сегодня так целых двадцать! Так я утомилась с ними, что едва на ногах стою. Весь опий у меня вышел, представьте! В Гурьине эпидемия дизентерии!

Каждое утро, просыпаясь, она вспоминала, что ее ждут больные, и сердце ее обливалось приятным холодком. Одевшись и наскоро напившись чаю, она начинала приемку. Процедура приемки доставляла ей невыразимое наслаждение. Сначала она медленно, как бы желая продлить наслаждение, записывала больных в тетрадку, потом вызывала каждого по очереди. Чем

тяжелее страдал больной, чем грязнее и отвратительнее был его недуг, тем слаще казалась ей работа. Ничто ей не доставляло такого удовольствия, как мысль, что она борется со своею брезгливостью и не щадит себя, и она нарочно старалась подольше копаться в гнойных ранах. Бывали минуты, что она, словно упоенная безобразием и зловонием ран, впадала в какой-то восторженный цинизм, когда являлось нестерпимое желание насиловать свою природу, и в эти минуты ей казалось, что она стоит на высоте своего призвания. Она обожала своих пациентов. Чувство подсказывало ей, что это ее спасители, а рассудочно она хотела видеть в них не отдельных личностей, не мужиков, а нечто абстрактное — народ! Потому-то она была с ними необыкновенно мягка, робка, краснела перед ними за свои ошибки и на приемках всегда имела вид виноватой...

После каждой приемки, которая отнимала больше полудня, она, утомленная, красная от напряжения и больная, спешила занять себя чтением. Читала она медицинские книги или тех из русских авторов, которые наиболее подходили к ее настроению.

Зажив новой жизнью, Анна Михайловна почувствовала себя свежей, довольной и почти счастливой. Большей полноты жизни она и не хотела. А тут еще, точно в довершение счастья, как бы вместо десерта, обстоятельства сложились так, что она помирилась со своим мужем, перед которым чувствовала себя глубоко виноватой. Лет семнадцать тому назад, вскоре после рождения дочери, она изменила своему мужу Аркадию Петровичу и должна была разойтись с ним. С тех пор она его не видала. Служил он где-то на юге в артиллерии батарейным командиром и изредка, раза два в год, присылал дочери письма, которые та старательно прятала от матери. После же смерти дочери Анна Михайловна неожиданно получила от него большое письмо. Старческим, расслабленным почерком писал он ей, что со смертью единственной дочери он потерял последнее, что привязывало его к жизни, что он стар, болен и жаждет смерти, которой в то же время боится. Он жаловался, что все ему надоело и опротивело, что он перестал ладить с людьми и ждет не дождется того

времени, когда сдаст батарею и уйдет подальше от дрязг. В заключение он просил жену бога ради молиться за него, беречь себя и не предаваться унынию. У стариков завязалась усердная переписка. Насколько можно было понять из последующих писем, которые все были одинаково слезливы и мрачны, полковнику приходилось жутко не от одних только болезней и лишения дочери: он залез в долги, перессорился с начальством и с офицерством, запустил свою батарею до невозможности сдать ее, и т. д. Переписка между супругами продолжалась около двух лет и кончилась тем, что старик подал в отставку и приехал на житье в Женино.

Приехал он в февральский полдень, когда женинские постройки прятались за высокими сугробами и в прозрачном голубом воздухе вместе с крепким, трескучим морозом стояла мертвая тишина.

Глядя в окно, как он вылезал из саней, Анна Михайловна не узнала в нем своего мужа. Это был маленький сгорбленный старичок, совсем уже дряхлый и развинченный. Анне Михайловне прежде всего бросились в глаза старческие складки на его длинной шее и тонкие ножки с туго сгибаемыми коленями, похожие на искусственные ноги. Расплачиваясь с ямщиком, он долго ему что-то доказывал и в заключение сердито плюнул.

— Даже говорить с вами противно! — услышала Анна Михайловна старческое брюзжанье.— Пойми, что просить на чай безнравственно! Каждый должен получать только то, что он заработал, да!

Когда он вошел в переднюю, Анна Михайловна увидела желтое лицо, не подрумяненное даже морозом, с выпуклыми рачьими глазами и с жидкой бородкой, в которой седые волосы мешались с рыжими. Аркадий Петрович одной рукой обнял свою жену и поцеловал ее в лоб. Взглянув друг на друга, старики как будто чего-то испугались и страшно сконфузились, точно им стало стыдно своей старости.

— Ты как раз вовремя! — поспешила заговорить Анна Михайловна.— Только сию минуту на стол собрали! Отлично ты покушаешь с дороги!

Сели обедать. Первое блюдо съели молча. Аркадий Петрович вынул из кармана толстый бумажник и рассматривал какие-то записочки, а его жена старательно приготовляла салат. У обоих за спинами были груды материала для разговора, но ни тот, ни другая не касались этих груд. Оба чувствовали, что воспоминание о дочери вызовет острую боль и слезы, а от прошлого, как из глубокой уксусной бочки, веяло духотой и мраком...

— А, ты не ешь мяса! — заметил Аркадий Петрович.

— Да, я дала обет не есть ничего мясного...— тихо ответила жена.

— Что ж? Это не повредит здоровью... Если химически разобрать, то рыба и все вообще постное состоит из тех же элементов, как и мясо. В сущности, ничего нет постного... («Для чего это я говорю?» — подумал старик.) Этот, например, огурец так же скоромен, как и цыпленок...

— Нет... Когда я ем огурец, то знаю, что его не лишали жизни, не проливали крови...

— Это, моя милая, оптический обман. С огурцом ты съедаешь очень много инфузорий, да и сам огурец разве не жил? Растения ведь тоже организмы! А рыба?

«К чему я эту чепуху говорю?» — подумал еще раз Аркадий Петрович и тотчас же начал быстро рассказывать об успехах, которые делает теперь химия.

— Просто чудеса! — говорил он, с трудом пережевывая хлеб.— Скоро химически будут приготовлять молоко и дойдут, пожалуй, до мяса! Да! Через тысячу лет в каждом доме вместо кухни будет химическая лаборатория, где из ничего не стоящих газов и тому подобное будут приготовлять все, что хочешь!

Анна Михайловна глядела на его беспокойно бегающие рачьи глаза и слушала. Она чувствовала, что старик говорит о химии только для того, чтобы не заговорить о чем-нибудь другом, но тем не менее его теория о постном и скоромном заняла ее.

— Ты генералом вышел в отставку? — спросила она, когда он вдруг умолк и начал сморкаться.

— Да, генералом... Ваше превосходительство...

Генерал говорил весь обед, не умолкая, и обнаружил таким образом чрезмерную болтливость — свойство, какого во времена оны, в молодости, Анна Михайловна не знала за ним. От его болтовни у старухи разболелась голова.

После обеда он отправился к себе в комнату на отдых, но, несмотря на утомление, ему не удалось уснуть. Когда перед вечерним чаем вошла к нему старуха, он лежал, скорчившись под одеялом, таращил глаза на потолок и испускал прерывистые вздохи.

— Что с тобой, Аркадий? — ужаснулась Анна Михайловна, взглянув на его посеревшее и вытянутое лицо.

— Ни... ничего...— проговорил он.— Ревматизм.

— Отчего же ты не скажешь? Может быть, я могу помочь тебе!

— Нельзя помочь...

— Если ревматизм, то йодом помазать... салицилового натра внутрь...

— Чепуха все это... Восемь лет лечился... Не стучи так ногами! — крикнул вдруг генерал на старуху горничную, злобно вытаращив на нее глаза.— Стучит, как лошадь!

Анна Михайловна и горничная, давно уже отвыкшие от такого тона, переглянулись и покраснели. Заметив их смущение, генерал поморщился и отвернулся к стене.

— Я должен предупредить тебя, Анюта...— простонал он.— У меня несноснейший характер! К старости я брюзгой стал...

— Переломить себя надо...— вздохнула Анна Михайловна.

— Легко сказать: «надо»! Надо, чтоб и боли не было, да вот не слушается природа нашего «надо»! Ох! А ты, Анюта, выйди... Во время боли присутствие людей меня раздражает... Говорить тяжело...

Протекли дни, недели, месяцы, и Аркадий Петрович мало-помалу освоился на новом месте: он привык, и к нему привыкли. На первых порах он жил в доме безвы-

ходно, но старость и тяжесть его несносней шего характера чувствовались во всем Женине. Обыкновенно просыпался он очень рано, часа в четыре утра; день его начинался с пронзительного старческого кашля, будившего Анну Михайловну и всю прислугу. Чтобы убить чем-нибудь длинное время от раннего утра до обеда, он, если ревматизм не сковывал его ног, бродил по всем комнатам и придирался к беспорядкам, которые виделись ему всюду. Его раздражало все: леность прислуги, громкие шаги, пение петухов, дым из кухни, церковный звон... Он брюзжал, бранился, гонял прислугу, но после каждого бранного слова хватал себя за голову и говорил плачущим голосом:

— Боже, какой у меня характер! Невыносимый характер!

А за обедом он много ел и без умолку болтал. Говорил он о социализме, о новых военных реформах, о гигиене, а Анна Михайловна слушала и чувствовала, что все это говорилось для того только, чтобы не говорить о дочери и о прошедшем. Обоим все еще в присутствии друг друга было неловко и как будто чего-то стыдно. Только вечерами, когда в комнатах стояли сумерки и за печкой уныло покрикивал сверчок, эта неловкость исчезала. Они сидели рядом, молчали, и в это время души их словно шептались о том, чего они оба не решались высказать вслух. В это время они, согревая друг друга остатками жизненной теплоты, отлично понимали, о чем думает каждый из них. Но внесла горничная лампу, и старик опять принимался болтать или брюзжать на беспорядки. Дела у него не было никакого. Анна Михайловна хотела было втянуть его в свою медицину, но на первой же приемке он зевал и хандрил. Привязать его к чтению тоже не удалось. Читать долго, часами, он, привыкший на службе к чтению урывками, не умел. Достаточно ему было прочесть пять-шесть страничек, чтобы он утомлялся и снимал очки.

Но наступила весна, и генерал резко изменил свой образ жизни. Когда от усадьбы в зеленое поле и к деревне забегали свежепротоптанные тропинки и на деревьях перед окнами закопошились птицы, он неожи-

данно для Анны Михайловны стал ходить в церковь. Ходил он в церковь не только по праздникам, но и в будни. Такое религиозное усердие началось с панихиды, которую старик тайком от жены отслужил по дочери. Во время панихиды он стоял на коленях, клал земные поклоны, плакал, и ему казалось, что он горячо молился. Но то была не молитва. Отдавшись весь отеческому чувству, рисуя в памяти черты любимой дочери, он глядел на иконы и шептал:

— Шурочка! Дитя мое любимое! Ангел мой!

Это был припадок старческой грусти, но старик вообразил, что в нем происходит реакция, переворот. На другой день его опять потянуло в церковь, на третий тоже... Из церкви возвращался он свежий, сияющий, с улыбкой во все лицо. За обедом темою для его неумолкаемой болтовни служила уже религия и богословские вопросы. Анна Михайловна, входя к нему в комнату, несколько раз заставала его за перелистыванием евангелия. Но, к сожалению, это религиозное увлечение продолжалось недолго. После одного особенно сильного припадка ревматизма, который продолжался целую неделю, он уже не пошел в церковь: как-то не вспомнил, что ему нужно идти к обедне...

Ему вдруг захотелось общества.

— Не понимаю, как это можно жить без общества! — стал он брюзжать. — Я должен сделать соседям визиты! Пусть это глупо, пусто, но, пока я жив, я должен подчиняться условиям света!

Анна Михайловна предложила ему лошадей. Он сделал соседям визиты, но уж во второй раз к ним не поехал. Потребность быть в обществе людей удовлетворялась тем, что он семенил по деревне и придирался к мужикам.

Однажды утром он сидел в столовой перед открытым окном и пил чай. Перед окном в палисаднике около кустов сирени и крыжовника сидели на скамьях мужики, пришедшие к Анне Михайловне лечиться. Старик долго щурил на них глаза, потом забрюзжал:

— Ces moujiks...[1] Объекты гражданской скорби...

---

[1] Эти мужики... (*франц.*)

Чем от болезней лечиться, вы бы лучше пошли куда-нибудь от подлостей и гадостей полечиться.

Анна Михайловна, обожавшая своих пациентов, оставила разливать чай и с немым удивлением поглядела на старика. Пациенты, не видавшие в доме Лебедева ничего, кроме ласки и теплого участия, тоже удивились и поднялись с мест.

— Да, господа мужички... ces moujiks...— продолжал генерал.— Удивляете вы меня. Очень удивляете! Ну, не скоты ли? — повернулся старик к Анне Михайловне.— Уездное земство дало им взаймы для посева овса, а они взяли да и пропили этот овес! Не один пропил, не двое, а все! Кабатчикам некуда было овес ссыпать... Хорошо это? — повернулся генерал к мужикам.— А? Хорошо?

— Оставь, Аркадий! — прошептала Анна Михайловна.

— Вы думаете, земству этот овес даром достался? Какие же вы после этого граждане, если вы не уважаете ни своей, ни чужой, ни общественной собственности? Овес вот вы пропили... лес вырубили и тоже пропили... воруете все и вся... Моя жена вас лечит, а вы у нее забор разворовали... Хорошо это?

— Довольно! — простонала генеральша.

— Пора за ум взяться...— продолжал брюзжать Лебедев.— Глядеть на вас стыдно! Ты вот, рыжий, пришел лечиться — нога у тебя болит? — а не позаботился дома ноги помыть... На вершок грязи! Надеешься, невежа, что тут обмоют? Вбили себе в голову, что они ces moujiks, ну и воображают, что уж могут верхом на людях ездить. Венчал поп какого-то Федора, здешнего столяра. Столяр ему ни копейки не заплатил. «Бедность! — говорит. — Не могу!» Ну ладно. Только поп заказывает этому Федору полочку для книг... Что ж ты думаешь? Раз пять он к попу за получением приходил! А? Ну, не скотина ли? Сам попу не заплатил, а...

— У попа и без того денег много...— угрюмо пробасил один из пациентов.

— А ты почем знаешь? — вспыхнул генерал, вскакивая и высовываясь в окно.— Ты нешто заглядывал попу в карман? Да будь он хоть миллионер, а ты не должен

пользоваться даром его трудами! Сам не даешь даром, так и не бери даром! Ты не можешь себе представить, какие у них мерзости творятся! — повернулся генерал к Анне Михайловне.— Ты побывала бы на их судах да на сходах! Это разбойники!

Генерал не унялся, даже когда началась приемка. Он придирался к каждому больному, передразнивал, объяснял все болезни пьянством и распутством.

— Ишь какой худой!— ткнул он одного пальцем в грудь. — А отчего? Есть нечего! Пропил все! Ведь ты овес земский пропил?

— Что и говорить,— вздохнул больной,— прежде при господах лучше было...

— Врешь! Лжешь! — вспылил генерал.— Ведь ты говоришь это не искренно, а чтобы лесть сказать!

На другой день генерал опять сидел у окна и пропекал больных. Это занятие увлекло его, и он стал сидеть у окна ежедневно. Анна Михайловна, видя, что ее супруг не унимается, начала принимать больных в амбаре, но генерал добрался и до амбара. Старуха со смирением сносила это «испытание» и выражала свой протест только тем, что краснела и раздавала обруганным больным деньги; когда же больные, которым генерал пришелся сильно не по вкусу, стали ходить к ней все реже и реже, она не выдержала. Однажды за обедом, когда генерал сострил что-то насчет больных, глаза ее вдруг налились кровью и по лицу забегали судороги.

— Я просила бы тебя оставить моих больных в покое...— сказала она строго.— Если ты чувствуешь потребность изливать на ком-нибудь свой характер, то брани меня, а их оставь... Благодаря тебе они перестали ходить лечиться.

— Ага, перестали! — ухмыльнулся генерал.— Обиделись! Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Хо-хо... А это, Анюта, хорошо, что они перестали ходить. Я очень рад... Ведь твое лечение не приносит ничего, кроме вреда! Вместо того чтобы лечиться в земской больнице у врача, по правилам науки, они ходят к тебе от всех болезней содой да касторкой лечиться. Большой вред!

Анна Михайловна пристально поглядела на старика, подумала и вдруг побледнела.

— Конечно,— продолжал болтать генерал. — В медицине прежде всего нужны знания, а потом уж филантропия, без знаний же она — шарлатанство... Да и по закону ты не имеешь права лечить. По-моему, ты гораздо больше принесешь пользы больному, если грубо погонишь его к врачу, чем сама начнешь лечить.

Генерал помолчал и продолжал:

— Если тебе не нравится мое обращение с ними, то изволь, я прекращу разговоры, хотя, впрочем... если рассуждать по совести, искренность по отношению к ним гораздо лучше молчания и поклонения. Александр Македонский великий человек, но стульев ломать не следует, так и русский народ — великий народ, но из этого не следует, что ему нельзя в лицо правду говорить. Нельзя из народа болонку делать. Эти ces moujiks такие же люди, как и мы с тобой, с такими же недостатками, а потому не молиться на них, не нянчиться, а учить их нужно, исправлять... внушать...

— Не нам их учить...— пробормотала генеральша.— Мы у них поучиться можем.

— Чему это?

— Мало ли чему... Да хоть бы... трудолюбию...

— Трудолюбию? А? Ты сказала: трудолюбию?

Генерал поперхнулся, вскочил из-за стола и зашагал по комнате.

— А я разве не трудился? — вспыхнул он. — Впрочем... я интеллигент, а не moujik, где же мне трудиться? Я... я интеллигент!

Старик не на шутку обиделся, и его лицо приняло мальчишески капризное выражение.

— Через мои руки тысячи солдат прошло... я околевал на войне, схватил на всю жизнь ревматизм и... и я не трудился! Или, скажешь, мне у этого твоего народа страдать поучиться? Конечно, разве я страдал когда-нибудь? Я потерял родную дочь... то, что привязывало еще к жизни в этой проклятой старости! И я не страдал!

При внезапном воспоминании о дочери старики вдруг заплакали и стали утираться салфетками.

— И мы не страдаем! — всхлипывал генерал, давая волю слезам.— У них есть цель жизни... вера, а у нас одни вопросы... вопросы и ужас! Мы не страдаем!

Оба старика почувствовали друг к другу жалость. Они сели рядом, прижались друг к другу и проплакали вместе часа два. После этого они смело уже глядели в глаза один другому и смело говорили о дочери, о прошедшем и о грозившем будущем.

Вечером легли они спать в одной комнате. Старик говорил без умолку и мешал жене спать.

— Боже, какой у меня характер! — говорил он.— Ну, к чему я говорил тебе все это? Ведь то были иллюзии, а человеку, особенно в старости, естественно жить иллюзиями. Своей болтовней я отнял у тебя последнее утешение. Знала бы себе до смерти лечила мужиков, да не ела мяса, так нет же, дергал меня черт за язык! Без иллюзий нельзя... Бывает, что целые государства живут иллюзиями... Знаменитые писатели на что, кажется, умны, но и то без иллюзий не могут. Вот твой любимец семь томов про «народ» написал!

Час спустя генерал ворочался и говорил:

— И почему это именно в старости человек следит за своими ощущениями и критикует свои поступки? Отчего бы в молодости ему не заниматься этим? Старость и без того невыносима... Да... В молодости вся жизнь проходит бесследно, едва зацепляя сознание, в старости же каждое малейшее ощущение гвоздем сидит в голове и поднимает уйму вопросов...

Старики уснули поздно, но встали рано. Вообще после того, как Анна Михайловна оставила лечение, спали они мало и плохо, отчего жизнь казалась им вдвое длиннее... Ночи коротали они разговорами, а днем без дела слонялись по комнатам или по саду и вопросительно заглядывали в глаза друг другу.

К концу лета судьба послала старикам еще одну «иллюзию». Анна Михайловна, войдя однажды к мужу, застала его за интересным занятием: он сидел за столом и с жадностью ел тертую редьку с конопляным маслом. На его лице ходуном ходили все жилки и около углов рта всхлипывали слюнки.

— Покушай-ка, Анюта! — предложил он.— Великолепие!

Анна Михайловна нерешительно попробовала редьку и стала есть. Скоро и на ее лице появилось выражение жадности...

— Хорошо бы, знаешь, тово...— говорил генерал в тот же день, ложась спать.— Хорошо бы, как это жиды делают, распороть щуке брюхо, взять из нее икру и, знаешь, с зеленым луком... свежую...

— А что же? Щуку нетрудно поймать!

Раздетый генерал отправился босиком в кухню, разбудил повара и заказал ему поймать щуку. Наутро Анне Михайловне захотелось вдруг балыка, и Мартын должен был скакать в город за балыком.

— Ах,— испугалась старуха,— забыла я сказать ему, чтобы кстати он и мятных пряников купил! Мне что-то сладенького захотелось.

Старики отдались вкусовым ощущениям. Оба сидели безвыходно в кухне и взапуски изобретали кушанья. Генерал напрягал свой мозг, вспоминал лагерную холостецкую жизнь, когда самому приходилось заниматься кулинарией, и изобретал... Из числа изобретенных им кушаний обоим понравилось в особенности одно, приготовляемое из риса, тертого сыра, яиц и сока пережаренного мяса. В эту еду входит много перца и лаврового листа.

Пикантным блюдом закончилась последняя «иллюзия». Ему суждено было быть последнею прелестью обеих жизней.

— Вероятно, дождь будет,— говорил в одну сентябрьскую ночь генерал, у которого начинался припадок.— Не следовало бы мне сегодня есть так много этого рису... Тяжело!

Генеральша раскинулась на постели и тяжело дышала. Ей было душно... И у нее, как и у старика, сосало под ложечкой.

— А тут еще, черт их побери, ноги чешутся...— брюзжал старик.— От пяток до колен какой-то зуд стоит... Боль и зуд... Невыносимо, черт бы его взял! Впрочем, я мешаю тебе спать... Прости...

Прошло больше часа в молчании... Анна Михай-

ловна мало-помалу привыкла к тяжести под ложечкой и забылась. Старик сел в постели, положил голову на колени и долго сидел в таком положении. Потом он стал чесать себе голени. Чем усерднее работали его ногти, тем злее становился зуд.

Немного погодя несчастный старик слез с постели и захромал по комнате. Он поглядел в окно... Там за окном при ярком свете луны осенний холод постепенно сковывал умиравшую природу. Видно было, как серый холодный туман заволакивал блекнувшую траву и как зябнувший лес не спал и вздрагивал остатками желтой листвы.

Генерал сел на полу, обнял колени и положил на них голову.

— Анюта! — позвал он.

Чуткая старуха заворочалась и открыла глаза.

— Я вот что думаю, Анюта,— начал старик.— Ты не спишь? Я думаю, что самым естественным содержанием старости должны быть дети... Как по-твоему? Но раз детей нет, человек должен занять себя чем-нибудь другим... Хорошо под старость быть писателем... художником... ученым... Говорят, Гладстон, когда делать ему нечего, древних классиков изучает и — увлекается. Если и со службы его прогонят, то будет у него чем жизнь наполнить. Хорошо также в мистицизм впасть или... или...

Старик почесал ноги и продолжал:

— А то случается, что старики впадают в детство, когда хочется, знаешь, деревца сажать, ордена носить... спиритизмом заниматься...

Послышался легкий храп старухи. Генерал поднялся и опять взглянул в окно. Холод угрюмо просился в комнату, а туман полз уже к лесу и обволакивал его стволы.

«До весны еще сколько месяцев?— думал старик, припадая лбом к холодному стеклу. — Октябрь... ноябрь... декабрь... Шесть месяцев!»

И эти шесть месяцев показались ему почему-то бесконечно длинными, длинными, как его старость. Он похромал по комнате и сел на кровать.

— Анюта! — позвал он.

— Ну?

— У тебя аптека заперта?

— Нет, а что?

— Ничего... Хочу себе ноги йодом помазать.

Наступило опять молчание.

— Анюта! — разбудил старик жену.

— Что?

— На склянках есть надписи?

— Есть, есть.

Генерал медленно зажег свечу и вышел.

Долго сонная Анна Михайловна слышала шлепанье босых ног и звяканье склянок. Наконец он вернулся, крякнул и лег.

Утром он не проснулся. Просто ли он умер, или же оттого, что ходил в аптеку, Анна Михайловна не знала. Да и не до того ей было, чтобы искать причину этой смерти...

Она опять беспорядочно, судорожно заторопилась. Начались пожертвования, пост, обеты, сборы на богомолье...

— В монастырь! — шептала она, прижимаясь от страха к старухе горничной. — В монастырь!

РОМАН С КОНТРАБАСОМ

Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова, где по случаю сговора «имел быть» вечер с музыкой и танцами. На спине его покоился огромный контрабас в кожаном футляре. Шел Смычков по берегу реки, катившей свои прохладные воды хотя не величественно, но зато весьма поэтично.

«Не выкупаться ли?» — подумал он.

Не долго думая, он разделся и погрузил свое тело в прохладные струи. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на сто в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание и замер от наплыва разнородных чувств: воспоминания детства, тоска о минувшем, проснувшаяся любовь... Боже, а ведь он думал, что он уже не в состоянии любить! После того как он потерял веру в человечество (его горячо любимая жена бежала с его другом, фаготом Собакиным), грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал мизантропом.

«Что такое жизнь? — не раз задавал он себе вопрос.— Для чего мы живем? Жизнь есть миф, мечта... чревовещание...»

Но стоя перед спящей красавицей (нетрудно было заметить, что она спала), он вдруг, вопреки своей воле, почувствовал в груди нечто похожее на любовь. Долго он стоял перед ней, пожирая ее глазами...

«Но довольно...— подумал он, испустив глубокий вздох.— Прощай, чудное виденье! Мне уже пора идти на бал к его сиятельству...»

И еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея.

«Надо оставить ей о себе память! — подумал он.— Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от «неизвестного».

Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, прицепил к удочке.

Букет пошел ко дну и увлек за собой красивый поплавок.

Благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя требуют, чтобы роман кончился на этом самом месте, но — увы!— судьба автора неумолима: по независящим от автора обстоятельствам роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслу и природе вещей бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль.

Подплыв к берегу, Смычков был поражен: он не увидел своей одежды. Ее украли... Неизвестные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили все, кроме контрабаса и цилиндра.

— Проклятие! — воскликнул Смычков.— О люди, порождение ехидны! Не столько возмущает меня лишение одежды (ибо одежда тленна), сколько мысль, что мне придется идти нагишом и тем преступить против общественной нравственности.

Он сел на футляр с контрабасом и стал искать выхода из своего ужасного положения.

«Не идти же голым к князю Бибулову! — думал он.— Там будут дамы! Да и к тому же воры вместе с брюками украли и находившийся в них канифоль!»

Он думал долго, мучительно, до боли в висках.

«Ба! — вспомнил он наконец. — Недалеко от берега в кустарнике есть мостик... Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком, а вечером, в потемках, проберусь до первой избы...»

Остановившись на этой мысли, Смычков надел цилиндр, взвалил на спину контрабас и поплелся к ку-

старнику. Нагой, с музыкальным инструментом на спине, он напоминал некоего древнего мифического полубога.

Теперь, читатель, пока мой герой сидит под мостом и предается скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что сталось с нею? Красавица, проснувшись и не увидев на воде поплавка, поспешила дернуть за леску. Леска натянулась, но крючок и поплавок не показались из воды. Очевидно, букет Смычкова размок в воде, разбух и стал тяжел.

«Или большая рыба поймалась,— подумала девушка,— или же удочка зацепилась».

Подергав еще немного за леску, девушка решила, что крючок зацепился.

«Какая жалость! — подумала она.— А вечером так хорошо клюет! Что делать?»

И, не долго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирные одежды и погрузила прекрасное тело в струи по самые мраморные плечи. Не легко было отцепить крючок от букета, в который впуталась леска, но терпение и труд взяли свое. Через какие-нибудь четверть часа красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок.

Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшие одежду Смычкова, похитили и ее платье, оставив ей только банку с червяками.

«Что же мне теперь делать? — заплакала она.— Неужели идти в таком виде? Нет, никогда! Лучше смерть! Я подожду, пока стемнеет; тогда, в темноте, я дойду до тетки Агафьи и пошлю ее домой за платьем... А пока пойду спрячусь под мостик».

Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там нагого человека с музыкальной гривой и волосатой грудью, вскрикнула и лишилась чувств.

Смычков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду.

«Не речная ли это сирена, пришедшая увлечь меня?— подумал он, и это предположение польстило ему, так как он всегда был высокого мнения о своей наруж-

пости.— Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное видоизменение? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?»

Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя.

— Не убивайте меня! — прошептала она. — Я княжна Бибулова. Умоляю вас! Вам дадут много денег! Сейчас я отцепляла в воде крючок и какие-то воры украли мое новое платье, ботинки и все!

— Сударыня! — сказал Смычков умоляющим голосом.— И у меня также украли мое платье. К тому же они вместе с брюками утащили и находившийся в них канифоль!

Все играющие на контрабасах и тромбонах обыкновенно ненаходчивы; Смычков же был приятным исключением.

— Сударыня! — сказал он немного погодя.— Вас, я вижу, смущает мой вид. Но, согласитесь, мне нельзя уйти отсюда, на тех же основаниях, как и вам. Я вот что придумал: не угодно ли вам будет лечь в футляр моего контрабаса и укрыться крышкой? Это скроет меня от вас...

Сказавши это, Смычков вытащил из футляра контрабас. Минуту казалось ему, что он, уступая футляр, профанирует святое искусство, но колебание было непродолжительно. Красавица легла в футляр и свернулась калачиком, а он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила его таким умом.

— Теперь, сударыня, вы меня не видите,— сказал он. — Лежите здесь и будьте покойны. Когда станет темно, я отнесу вас в дом ваших родителей. За контрабасом же я могу прийти сюда и потом.

С наступлением потемок Смычков взвалил на плечи футляр с красавицей и поплелся к даче Бибулова. План у него был такой: сначала он дойдет до первой избы и обзаведется одеждой, потом пойдет далее...

«Нет худа без добра...— думал он, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь под ношей.— За то теплое участие, которое я принял в судьбе княжны, Бибулов наверно щедро наградит меня».

— Сударыня, удобно ли вам? — спрашивал он тоном

cavalier galant [1], приглашающего на кадриль.— Будьте любезны, не церемоньтесь и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома!

Вдруг галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанные темнотою, идут две человеческие фигуры. Вглядевшись пристальней, он убедился, что это не оптический обман: фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы...

«Не воры ли это? — мелькнуло у него в голове.— Они что-то несут. Вероятно, это наше платье!»

Смычков положил у дороги футляр и погнался за фигурами.

— Стой! — закричал он. — Стой! Держи.

Фигуры оглянулись и, заметив погоню, стали улепетывать... Княжна еще долго слышала быстрые шаги и крики: «стой!» Наконец все смолкло.

Смычков увлекся погоней, и, вероятно, красавице пришлось бы еще долго пролежать в поле у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что в ту пору по той же дороге проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучков и кларнет Размахайкин. Споткнувшись о футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками.

— Контрабас! — сказал Жучков.— Ба, да это контрабас нашего Смычкова! Но как он сюда попал?

— Вероятно, что-нибудь случилось со Смычковым,— решил Размахайкин.— Или он напился, или же его ограбили... Во всяком случае, оставлять здесь контрабас не годится. Возьмем его с собой.

Жучков взвалил себе на спину футляр, и музыканты пошли дальше.

— Черт знает, какая тяжесть! — ворчал всю дорогу флейта. — Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище... Уф!

Придя на дачу к князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету.

В это время на даче уже зажигали люстры и бра. Жених, надворный советник Лакеич, красивый и сим-

---

[1] учтивого кавалера (*франц.*).

патичный чиновник ведомства путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке.

— Я, граф,— говорил Лакеич,— в Неаполе был лично знаком с одним скрипачом, который творил буквально чудеса. Вы не поверите! На контрабасе... на обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские трели, что просто ужас! Штраусовские вальсы играл!

— Полноте, это невозможно...— усумнился граф.

— Уверяю вас! Даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже от нечего делать выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа.

— Рапсодию Листа... Гм!.. вы шутите...

— Не верите? — засмеялся Лакеич.— Так я вам докажу сейчас! Пойдемте в оркестр!

Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни... и — о ужас!

Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову... Бедный музыкант, не догнавши воров и вернувшись к тому месту, где он оставил футляр, не увидел драгоценной ноши. Теряясь в догадках, он несколько раз прошелся взад и вперед по дороге и, не найдя футляра, решил, что он попал не на ту дорогу...

«Это ужасно!— думал он, хватая себя за волосы и леденея.— Она задохнется в футляре! Я убийца!»

До самой полуночи Смычков ходил по дорогам и искал футляра, но под конец, выбившись из сил, отправился под мостик.

— Поищу на рассвете,— решил он.

Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил подождать под мостом ночи...

— Я найду ее! — бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за волосы.— Хотя бы год искать, но я найду ее!

. . . . . .

И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса.

СТРАХИ

За все время, пока я живу на этом свете, мне было страшно только три раза.

Первый настоящий страх, от которого шевелились мои волосы и по телу бегали мурашки, имел своей причиной ничтожное, но странное явление. Однажды от нечего делать ехал я июльским вечером на почтовую станцию за газетами. Вечер был тихий, теплый и почти душный, как все те однообразные июльские вечера, которые, раз начавшись, правильной, непрерывной чередой тянутся один за другим неделю-две, иногда и больше, и вдруг обрываются бурной грозой с роскошным, надолго освежающим ливнем.

Солнце давно уже село, и на всей земле лежала сплошная серая тень. В неподвижном, застоявшемся воздухе сгущались медово-приторные испарения трав и цветов.

Ехал я на простых, ломовых дрогах. За моей спиной, положив голову на мешок с овсом, тихо похрапывал сын садовника Пашка, мальчик лет восьми, которого я взял с собою на случай, если бы представилась надобность присмотреть за лошадью. Путь наш лежал по узкой, но прямой, как линейка, проселочной дороге, которая, как большая змея, пряталась в высокой, густой ржи. Бледно догорала вечерняя заря; светлая полоса перерезывалась узким, неуклюжим облаком, которое походило то на лодку, то на человека, окутанного в одеяло...

Проехал я версты две-три, и вот на бледном фоне зари стали вырастать один за другим стройные рослые тополи; вслед за ними заблистала река, и предо мною вдруг, как по волшебству, раскинулась богатая картина. Нужно было остановить лошадь, так как наша прямая дорога обрывалась и уж шла вниз по крутому, поросшему кустарником скату. Мы стояли на горе, а внизу под нами находилась большая яма, полная сумерек, причудливых форм и простора. На дне этой ямы, на широкой равнине, сторожимое тополями и ласкаемое блеском реки, ютилось село. Оно теперь спало... Его избы, церковь с колокольней и деревья вырисовывались из серых сумерек, и на гладкой поверхности реки темнели их отражения.

Я разбудил Пашку, чтоб он не свалился с дрог, и стал осторожно спускаться.

— Приехали в Луково? — спросил Пашка, лениво поднимая голову.

— Приехали. Держи вожжи!..

Я сводил с горы лошадь и глядел на село. С первого же взгляда меня заняло одно странное обстоятельство: в самом верхнем ярусе колокольни, в крошечном окне, между куполом и колоколами, мерцал огонек. Этот огонь, похожий на свет потухающей лампадки, то замирал на мгновение, то ярко вспыхивал. Откуда он мог взяться? Происхождение его было для меня непонятно. За окном он не мог гореть, потому что в верхнем ярусе колокольни не было ни икон, ни лампад; там, как я знал, были одни только балки, пыль да паутина; пробраться в этот ярус было трудно, потому что ход в него из колокольни был наглухо забит.

Этот огонек мог скорее всего быть отражением внешнего света, но как я ни напрягал свое зрение, в громадном пространстве, которое лежало передо мной, я не увидел, кроме этого огня, ни одной светлой точки. Луны не было. Бледная, совсем уже потухавшая полоска зари не могла отражаться, потому что окно с огоньком глядело не на запад, а на восток. Эти и другие подобные соображения бродили в моей голове все время, пока я спускался с лошадью вниз. Внизу я сел

на дроги и еще раз взглянул на огонек. Он по-прежнему мелькал и вспыхивал.

«Странно,— думал я, теряясь в догадках.— Очень странно».

И мною мало-помалу овладело неприятное чувство. Сначала я думал, что это досада на то, что я не в состоянии объяснить простого явления, но потом, когда я вдруг в ужасе отвернулся от огонька и ухватился одной рукой за Пашку, ясно стало, что мною овладевает страх... Меня охватило чувство одиночества, тоски и ужаса, точно меня против воли бросили в эту большую, полную сумерек яму, где я один на один стоял с колокольней, глядевшей на меня своим красным глазом.

— Паша! — окликнул я, закрывая в ужасе глаза.

— Ну?

— Паша, что это светится на колокольне?

Пашка поглядел через мое плечо на колокольню и зевнул.

— А кто ж его знает!

Этот короткий разговор с мальчиком несколько успокоил меня, но не надолго. Пашка, заметив мое беспокойство, устремил свои большие глаза на огонек, поглядел еще раз на меня, потом опять на огонек...

— Мне страшно! — прошептал он.

Тут уж, не помня себя от страха, я обхватил мальчика одной рукой, прижался к нему и сильно ударил по лошади.

— Глупо! — говорил я себе. — Это явление страшно только потому, что непонятно... Все непонятное таинственно и потому страшно.

Я убеждал себя и в то же время не переставал стегать по лошади. Приехав на почтовую станцию, я нарочно проболтал со смотрителем целый час, прочел две-три газеты, но беспокойство все еще не покидало меня. На обратном пути огонька уже не было, но зато силуэты изб, тополей и гора, на которую пришлось въезжать, казались мне одушевленными. А отчего был тот огонек, до сих пор я не знаю.

Другой страх, пережитый мною, был вызван не менее ничтожным обстоятельством... Я возвращался со

свидания. Был час ночи — время, когда природа обыкновенно погружена в самый крепкий и самый сладкий, предутренний сон. В этот же раз природа не спала и ночь нельзя было назвать тихой. Кричали коростели, перепелы, соловьи, кулички, трещали сверчки и медведки. Над травой носился легкий туман, а на небе мимо луны куда-то без оглядки бежали облака. Не спала природа, точно боялась проспать лучшие мгновения своей жизни.

Я шел по узкой тропинке у самого края железнодорожной насыпи. Лунный свет скользил по рельсам, на которых уже лежала роса. Большие тени от облаков то и дело пробегали по насыпи. Далеко впереди покойно горел тусклый зеленый огонек.

«Значит, все благополучно»,—думал я, глядя на него.

На душе у меня было тихо, покойно и благополучно. Шел я со свидания, спешить мне было некуда, спать не хотелось, а здоровье и молодость чувствовались в каждом вздохе, в каждом моем шаге, глухо раздававшемся в однообразном гуле ночи. Не помню, что я тогда чувствовал, но помню, что мне было хорошо, очень хорошо!

Пройдя не больше версты, я вдруг услышал позади себя однозвучный, похожий на журчанье большого ручья, рокот. С каждой секундой он становился все громче и громче и слышался все ближе и ближе. Я оглянулся: в ста шагах от меня темнела роща, из которой я только что вышел; там насыпь красивым полукругом поворачивала направо и исчезала в деревьях. Я остановился в недоумении и стал ждать. Тотчас же на повороте показалось большое черное тело, которое с шумом понеслось по направлению ко мне и с быстротою птицы пролетело возле меня, по рельсам. Прошло меньше чем полминуты, и пятно исчезло, рокот смешался с гулом ночи.

Это был обыкновенный товарный вагон. Сам по себе он не представлял ничего особенного, но появление его одного, без локомотива, да еще ночью, меня озадачило. Откуда он мог взяться и какие силы мчали его с такой

страшной быстротой по рельсам? Откуда и куда он летел?

Будь я с предрассудками, я порешил бы, что это черти и ведьмы покатили на шабаш, и пошел бы далее, но теперь это явление было для меня решительно необъяснимо. Я не верил глазам своим и путался в догадках, как муха в паутине...

Я вдруг почувствовал, что я одинок, один как перст на всем громадном пространстве, что ночь, которая казалась уже нелюдимой, засматривает мне в лицо и сторожит мои шаги; все звуки, крики птиц и шепот деревьев казались уже зловещими, существующими только для того, чтобы пугать мое воображение. Я как сумасшедший рванулся с места и, не отдавая себе отчета, побежал, стараясь бежать быстрей и быстрей. И тотчас же я услышал то, на что раньше не обращал внимания, а именно жалобный стон телеграфных проволок.

— Черт знает что! — стыдил я себя. — Это малодушие, глупо!..

Но малодушие сильнее здравого смысла. Я укоротил свои шаги, только когда добежал до зеленого огонька, где увидел темную железнодорожную будку и возле нее на насыпи человеческую фигуру, вероятно, сторожа.

— Ты видел? — спросил я задыхаясь.

— Кого? Чаво ты?

— Тут вагон пробежал!..

— Видал...— проговорил мужик нехотя.— От товарного поезда оторвался. На сто двадцать первой версте уклон... на гору поезд тащит. Цепи в заднем вагоне не выдержали, ну он оторвался и назад... Поди теперь догоняй!..

Странное явление было объяснено, и фантастичность его исчезла. Страх пропал, и я мог продолжать путь дальше.

Третий хороший страх мне пришлось испытать, когда я однажды ранней весною возвращался с тяги. Были вечерние сумерки. Лесная дорога была покрыта лужами от только что бывшего дождя, и почва всхлипывала под ногами. Багровая заря сквозила через весь

лес, крася белые стволы берез и молодую листву. Я был утомлен и едва двигался.

Верстах в пяти-шести от дома, проходя лесной дорогой, я неожиданно встретился с большой черной собакой из породы водолазов. Пробегая мимо, пес пристально посмотрел на меня, прямо мне в лицо, и побежал дальше.

«Хорошая собака...— подумал я,— чья она?»

Я оглянулся. Пес стоял в десяти шагах и не отрывал глаз от меня. Минуту мы молча рассматривали друг друга, затем пес, вероятно польщенный моим вниманием, медленно подошел ко мне и замахал хвостом...

Я пошел дальше. Пес за мной.

«Чья эта собака? — спрашивал я себя. — Откуда?»

За тридцать — сорок верст я знал всех помещиков и знал их собак. Ни у одного из них не было такого водолаза. Откуда же он мог взяться здесь, в глухом лесу, на дороге, по которой никто никогда не ездил и только возили дрова? Отстать от какого-нибудь проезжего он едва ли мог, потому что по этой дороге проезжать барам было некуда.

Я сел на пень отдохнуть и начал рассматривать своего спутника. Он тоже сел, поднял голову и устремил на меня пристальный взор... Он глядел и не моргал. Не знаю, под влиянием ли тишины, лесных теней и звуков, или, быть может, вследствие утомления, от пристального взгляда обыкновенных собачьих глаз мне стало вдруг жутко. Я вспомнил про Фауста и его бульдога и про то, что нервные люди иногда вследствие утомления бывают подвержены галлюцинациям. Достаточно было этого, чтобы я быстро поднялся и быстро пошел дальше. Водолаз за мной...

— Пошел прочь! — крикнул я.

Псу, вероятно, понравился мой голос, потому что он весело подпрыгнул и побежал впереди меня.

— Пошел прочь! — крикнул я еще раз.

Пес оглянулся, пристально поглядел на меня и весело замахал хвостом. Очевидно, его забавлял мой грозный тон. Мне бы следовало приласкать его, но фаустовский бульдог не выходил из моей головы, и чув-

ство страха становилось все острей и острей... Наступали потемки, которые меня окончательно смутили, и я всякий раз, когда пес подбегал ко мне и бил меня своим хвостом, малодушно закрывал глаза. Повторилась та же история, что с огоньком в колокольне и с вагоном: я не выдержал и побежал...

Дома у себя я застал гостя, старого приятеля, который, поздоровавшись, начал мне жаловаться, что пока он ехал ко мне, то заблудился в лесу, и у него отстала хорошая, дорогая собака.

АПТЕКАРША

Городишко Б., состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко, должно быть за городом, жидким, охрипшим тенорком лает собака. Скоро рассвет.

Все давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б—ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней — и неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна, в одной сорочке, и глядит на улицу. Ей душно, скучно, досадно... так досадно, что даже плакать хочется, а отчего — опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу... Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам Черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, так что аптекарше далеко видно поле... Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая, широколицая луна. Она красна (вообще луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена).

Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса.

«Это офицеры от исправника в лагерь идут»,— думает аптекарша.

Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше... Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна.

— Аптекой пахнет...— говорит тонкий.— Аптека и есть! Ах, помню... На прошлой неделе я здесь был, касторку покупал. Тут еще аптекарь с кислым лицом и с ослиной челюстью. Вот, батенька, челюсть! Такой именно Сампсон филистимлян избивал.

— М-да...— говорит толстый басом.— Спит фармация! И аптекарша спит. Тут, Обтесов, аптекарша хорошенькая.

— Видел. Мне она очень понравилась... Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Неужели?

— Нет, вероятно, не любит,— вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря.— Спит теперь мамочка за окошечком! Обтесов, а? Раскинулась от жары... ротик полуоткрыт... и ножка с кровати свесилась. Чай, болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит... Ему небось что́ женщина, что́ бутыль с карболкой — все равно!

— Знаете что, доктор? — говорит офицер, останавливаясь.— Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь! Аптекаршу, быть может, увидим.

— Выдумал — ночью!

— А что же? Ведь они и ночью обязаны торговать Голубчик, войдемте!

— Пожалуй...

Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ногу туфли и бежит в аптеку.

За стеклянной дверью видны две тени... Аптекарша припускает огня в лампу и спешит к двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входят толстяк-доктор и тонкий Обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст.

— Что вам угодно? — спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье.

— Дайте... э-э-э на пятнадцать копеек мятных лепешек!

Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину; доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен.

— Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует,— говорит доктор.

— Тут ничего нет особенного...— отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова.— Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю.

— Тэк-с... А у вас миленькая аптечка! Сколько тут разных этих... банок! И вы не боитесь вращаться среди ядов! Бррр!

Аптекарша запечатывает пакетик и подает его доктору. Обтесов подает ей пятиалтынный. Проходит полминуты в молчании... Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются.

— Дайте на десять копеек соды! — говорит доктор.

Аптекарша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке.

— Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь этакого...— бормочет Обтесов, шевеля пальцами,— чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги... зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода?

— Есть,— отвечает аптекарша.

— Браво! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка нам бутылочки три!

Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью.

— Фрукт!— говорит доктор, подмигивая.— Такого ананаса, Обтесов, и на острове Мадейре не сыщете. А? Как вы думаете? Однако... слышите храп? Это сам господин аптекарь изволят почивать.

Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок. Она только что была в погребе, а потому красна и немножко взволнована.

— Тсс... тише,— говорит Обтесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор.— Не стучите так, а то мужа разбудите.

— Ну, так что же, если и разбужу?

— Он так сладко спит... видит вас во сне... За ваше здоровье!

— И к тому же,— басит доктор, отрыгивая после сельтерской,— мужья такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если б всегда спали. Эх, к этой водице да винца бы красненького.

— Чего еще выдумали! — смеется аптекарша.

— Великолепно бы! Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов! Впрочем... вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас vinum gallicum rubrum? [1]

— Есть.

— Ну вот! Подавайте нам его! Черт его подери, тащите его сюда!

— Сколько вам?

— Quantum satis!.. [2] Сначала вы дайте нам в воду по унцу, а потом мы увидим... Обтесов, а? Сначала с водой, а потом уже per se... [3]

Доктор и Обтесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино.

— А вино, надо сознаться, препаскуднейшее! Vinum plochissimum. Впрочем, в присутствии... э-э-э... оно кажется нектаром. Вы восхитительны, сударыня! Целую вам мысленно ручку.

---

[1] красное французское вино? (*лат.*)
[2] Сколько понадобится!.. (*лат.*)
[3] само по себе... (*лат.*)

— Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это не мысленно! — говорит Обтесов. — Честное слово! Я отдал бы жизнь!

— Это уж вы оставьте...— говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо.

— Какая, однако, вы кокетка! — тихо хохочет доктор, глядя на нее исподлобья, плутовски.— Глазенки так и стреляют! Пиф! паф! Поздравляю: вы победили! Мы сражены!

Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело! Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже, после долгих просьб покупателей, выпивает унца два красного вина.

— Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили,— говорит она,— а то тут ужас какая скука. Я просто умираю.

— Еще бы! — ужасается доктор.— Такой ананас... чудо природы и — в глуши! Прекрасно выразился Грибоедов: «В глушь! в Саратов!» Однако нам пора. Очень рад познакомиться... весьма! Сколько с нас следует?

Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами.

— Двенадцать рублей сорок восемь копеек! — говорит она.

Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.

— Ваш муж сладко спит... видит сны...— бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.

— Я не люблю слушать глупостей...

— Какие же это глупости? Наоборот... это вовсе не глупости... Даже Шекспир сказал: «Блажен, кто смолоду был молод!»

— Пустите руку!

Наконец покупатели, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки.

А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом останавли-

ваются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит, а отчего — она и сама не знает... Бьется сердце сильно, точно те двое, шепчась там, решают его участь.

Минут через пять доктор отделяется от Обтесова и идет дальше, а Обтесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой... То остановится около двери, то опять зашагает... Наконец осторожно звякает звонок.

— Что? Кто там? — вдруг слышит аптекарша голос мужа.— Там звонят, а ты не слышишь! — говорит аптекарь строго.— Что за беспорядки!

Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку.

— Чего... вам? — спрашивает он у Обтесова.

— Дайте... дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек.

С бесконечным сопеньем, зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку...

Спустя две минуты аптекарша видит, как Обтесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор... Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане.

— Как я несчастна! — говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать.— О, как я несчастна! — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами.— И никто, никто не знает...

— Я забыл пятнадцать копеек на прилавке,— бормочет аптекарь, укрываясь одеялом.— Спрячь, пожалуйста, в конторку...

И тотчас же засыпает.

Седьмой час июньского вечера. От полустанка Хилково к дачному поселку плетется толпа только что вышедших из поезда дачников — все больше отцы семейств, нагруженные кульками, портфелями и женскими картонками. Вид у всех утомленный, голодный и злой, точно не для них сияет солнце и зеленеет трава.

Плетется, между прочим, и Павел Матвеевич Зайкин, член окружного суда, высокий сутуловатый человек, в дешевой коломянке и с кокардой на полинялой фуражке. Он вспотел, красен и сумрачен.

— Каждый день изволите на дачу выезжать? — обращается к нему дачник в рыжих панталонах.

— Нет, не каждый,— угрюмо отвечает Зайкин.— Жена и сын живут тут постоянно, а я приезжаю раза два в неделю. Некогда каждый день ездить, да и дорого.

— Это верно, что дорого,— вздыхают рыжие панталоны.— В городе до вокзала не пойдешь пешком, извозчик нужен, потом-с билет стоит сорок две копейки... газетку дорогой купишь, рюмку водки по слабости выпьешь. Все это копеечный расход, пустяковый, а гляди — и наберется за лето рублей двести. Оно, конечно, лоно природы дороже стоит, не стану спорить-с... идиллия и прочее, но ведь при нашем чиновницком содержании, сами знаете, каждая копейка на счету. Потратишь неосторожно копеечку, а потом и не спишь

всю ночь... Да-с... Я, милостивый государь, не имею чести знать вашего имени и отчества, получаю без малого две тысячи в год-с, состою в чине статского советника, а курю табак второго сорта и не имею лишнего рубля, дабы купить себе минеральной воды Виши, прописанной мне против печеночных камней.

— Вообще мерзко,— говорит Зайкин после некоторого молчания.— Я, сударь, держусь того мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чертом в данном случае руководила злоба, а женщиной крайнее легкомыслие. Помилуйте, это не жизнь, а каторга, ад! Тут душно, жарко, дышать тяжело, а ты мыкаешься с места на место, как неприкаянный, и никак не найдешь себе приюта. Там, в городе, ни мебели, ни прислуги... все на дачу увезли... питаешься черт знает чем, не пьешь чаю, потому что самовар поставить некому, не умываешься, а приедешь сюда, в это лоно природы, изволь идти пешком по пыли, по жаре... тьфу! Вы женаты?

— Да-с... Трое деток,— вздыхают рыжие панталоны.

— Вообще мерзко... Просто удивительно, как это мы еще живы.

Наконец дачники доходят до поселка. Зайкин прощается с рыжими панталонами и идет к себе на дачу. Дома застает он мертвую тишину. Слышно только, как жужжат комары да молит о помощи муха, попавшая на обед к пауку. Окна завешаны кисейными занавесочками, сквозь которые краснеют блекнущие цветы герани. На деревянных, некрашеных стенах, около олеографий, дремлют мухи. В сенях, в кухне, в столовой — ни души. В комнате, которая в одно и то же время называется гостиной и залой, Зайкин застает своего сына, Петю, маленького шестилетнего мальчика. Петя сидит за столом и, громко сопя, вытянув нижнюю губу, вырезывает ножницами из карты бубнового валета.

— А, это ты, папа! — говорит он, не оборачиваясь.— Здравствуй!

— Здравствуй... А мать где?

— Мама? Она поехала с Ольгой Кирилловной на репетицию играть театр. Послезавтра у них будет представление. И меня возьмут... А ты пойдешь?

— Гм!.. Когда же она вернется?

— Она говорила, что вернется вечером.

— А где Наталья?

— Наталью взяла с собой мама, чтобы она помогала ей одеваться во время представления, а Акулина пошла в лес за грибами. Папа, отчего это, когда комары кусаются, то у них делаются животы красные?

— Не знаю... Оттого, что они сосут кровь. Стало быть, никого нет дома?

— Никого. Только я один дома.

Зайкин садится в кресло и минуту тупо глядит в окно.

— Кто же нам обедать подаст? — спрашивает он.

— Обедать сегодня не варили, папа! Мама думала, что ты сегодня не приедешь, и не велела варить обед. Она с Ольгой Кирилловной будет обедать на репетиции.

— Покорнейше благодарю, а ты что же ел?

— Я ел молоко. Для меня купили молока на шесть копеек. Папа, а зачем комары сосут кровь?

Зайкин вдруг чувствует, как что-то тяжелое подкатывает к его печени и начинает сосать ее. Ему становится так досадно, обидно и горько, что он тяжело дышит и дрожит; ему хочется вскочить, ударить о пол чем-нибудь тяжелым и разразиться бранью, но тут он вспоминает, что доктора строго запретили ему волноваться, встает и, насилуя себя, начинает насвистывать из «Гугенотов».

— Папа, ты умеешь представлять в театре? — слышит он голос Пети.

— Ах, не приставай ко мне с глупыми вопросами! — сердится Зайкин.— Пристал, как банный лист! Тебе уже шесть лет, а ты все так же глуп, как и три года назад... Глупый, распущенный мальчишка! К чему, например, ты эти карты портишь? Как ты смеешь их портить?

— Эти карты не твои,— говорит Петя, оборачиваясь.— Мне Наталья их дала.

— Врешь! Врешь, дрянной мальчишка! — раздражается Зайкин все более и более.— Ты всегда врешь! Высечь тебя нужно, свиненка этакого! Я тебе уши оборву!

Петя вскакивает, вытягивает шею и глядит в упор на красное, гневное лицо отца. Большие глаза его сначала мигают, потом заволакиваются влагой, и лицо мальчика кривится.

— Да ты что бранишься? — визжит Петя.— Что ты ко мне пристал, дурак? Я никого не трогаю, не шалю, слушаюсь, а ты... сердишься! Ну, за что ты меня бранишь?

Мальчик говорит убедительно и так горько плачет, что Зайкину становится совестно.

«И, правда, за что я к нему придираюсь?» — думает он.— Ну, будет... будет,— говорит он, трогая мальчика за плечо.— Виноват, Петюха... прости. Ты у меня умница, славный, я тебя люблю.

Петя утирает рукавом глаза, садится со вздохом на прежнее место и начинает вырезывать даму. Зайкин идет к себе в кабинет. Он растягивается на диване и, подложив руки под голову, задумывается. Недавние слезы мальчика смягчили его гнев, и от печени малопомалу отлегло. Чувствуются только утомление и голод.

— Папа! — слышит Зайкин за дверью.— Показать тебе мою насекомую коллекцию?

— Покажи!

Петя входит в кабинет и подает отцу длинный зеленый ящичек. Еще не поднося к уху, Зайкин слышит отчаянное жужжанье и царапанье лапок о стенки ящика. Подняв крышку, он видит множество бабочек, жуков, кузнечиков и мух, приколотых ко дну ящика булавками. Все, за исключением двух-трех бабочек, еще живы и шевелятся.

— А кузнечик все еще жив! — удивляется Петя.— Вчера утром поймали его, а он до сих пор не умер!

— Кто это тебя научил прикалывать их? — спрашивает Зайкин.

— Ольга Кирилловна.

— Самое бы Ольгу Кирилловну приколоть так! — говорит Зайкин с отвращением.— Унеси отсюда! Стыдно мучить животных!

«Боже, как он мерзко воспитывается»,— думает он по уходе Пети.

Павел Матвеевич забыл уже про утомление и голод

и думает только о судьбе своего мальчика. За окнами между тем дневной свет мало-помалу тускнеет... Слышно, как дачники компаниями возвращаются с вечернего купанья. Кто-то останавливается около открытого окна столовой и кричит: «Грибков не желаете ли?» — кричит и, не получив ответа, шлепает босыми ногами дальше... Но вот, когда сумерки сгущаются до того, что герань за кисейной занавеской теряет свои очертания и в окно начинает потягивать свежестью вечера, дверь в сенях с шумом открывается, и слышатся быстрые шаги, говор, смех...

— Мама! — взвизгивает Петя.

Зайкин выглядывает из кабинета и видит свою жену Надежду Степановну, здоровую, розовую, как всегда... С нею Ольга Кирилловна, сухая блондинка с крупными веснушками, и двое каких-то незнакомых мужчин: один молодой, длинный, с рыжей курчавой головой и с большим кадыком, другой — низенький, коренастый, с бритой актерской физиономией и сизым, кривым подбородком.

— Наталья, ставь самовар! — кричит Надежда Степановна, громко шурша платьем.— Говорят, Павел Матвеевич приехал! Павел, где ты? Здравствуй, Павел! — говорит она, вбегая в кабинет и тяжело дыша.— Ты приехал? Очень рада... Со мной приехали двое наших любителей... пойдем, я тебя представлю... Вот тот, что подлинней, это Коромыслов... прекрасно поет, а другой, этот маленький... некий Смеркалов, настоящий актер... читает великолепно. Уф, утомилась! Сейчас у нас репетиция была... Великолепно идет! Мы ставим «Жильца с тромбоном» и «Она его ждет»... Послезавтра спектакль...

— Зачем ты их привезла? — спрашивает Зайкин.

— Необходимо, попочка! После чая нам нужно роли повторить и пропеть кое-что... Я с Коромысловым дуэт буду петь... Да, как бы не забыть! Пошли, голубчик, Наталью взять сардин, водки, сыру и еще чего-нибудь. Они, вероятно, и ужинать будут... Ох, устала!

— Гм!.. У меня денег нет!

— Нельзя же, попочка! Неловко! Не заставляй меня краснеть!

Через полчаса Наталья посылается за водкой и закуской; Зайкин, напившись чаю и съевши целый французский хлеб, уходит в спальню и ложится на постель, а Надежда Степановна и ее гости, шумя и смеясь, приступают к повторению ролей. Павел Матвеевич долго слышит гнусавое чтение Коромыслова и актерские возгласы Смеркалова... За чтением следует длинный разговор, прерываемый визгливым смехом Ольги Кирилловны. Смеркалов, на правах настоящего актера, с апломбом и жаром объясняет роли...

Далее следует дуэт, а за дуэтом звяканье посуды... Зайкин сквозь сон слышит, как уговаривают Смеркалова прочесть «Грешницу» и как тот, поломавшись, начинает декламировать. Он шипит, бьет себя по груди, плачет, хохочет хриплым басом... Зайкин морщится и прячет голову под одеяло.

— Вам идти далеко и темно,— слышит он час спустя голос Надежды Степановны.— Почему вам не остаться у нас ночевать? Коромыслов ляжет здесь, в гостиной, на диване, а вы, Смеркалов, на Петиной постели... Петю можно в кабинете мужа положить... Право, оставайтесь!

Наконец, когда часы бьют два, все смолкает... Отворяется в спальной дверь, и показывается Надежда Степановна.

— Павел, ты спишь? — шепчет она.

— Нет, а что?

— Поди, голубчик, к себе в кабинет, ляг на диване, а тут, на твоей кровати, я Ольгу Кирилловну положу. Поди, милый! Я бы ее в кабинете положила, да она боится спать одной... Вставай же!

Зайкин поднимается, накидывает на себя халат и, взявши подушку, плетется в кабинет... Дойдя ощупью до своего дивана, он зажигает спичку и видит: на диване лежит Петя. Мальчик не спит и большими глазами глядит на спичку.

— Папа, отчего это комары не спят ночью?— спрашивает он.

— Оттого... оттого,— бормочет Зайкин,— оттого, что мы здесь с тобой лишние... Даже спать негде!

— Папа, а отчего это на лице у Ольги Кирилловны веснушки?

— Ах, отстань! Надоел!

Подумав немного, Зайкин одевается и выходит на улицу освежиться... Он глядит на серое утреннее небо, на неподвижные облака, слушает ленивый крик сонного коростеля и начинает мечтать о завтрашнем дне, когда он, поехав в город и вернувшись из суда, завалится спать... Вдруг из-за угла показывается человеческая фигура.

«Сторож, должно быть...» — думает Зайкин.

Но, вглядевшись и подойдя поближе, он узнает в фигуре вчерашнего дачника в рыжих панталонах.

— Вы не спите? — спрашивает он.

— Да, не спится что-то...— вздыхают рыжие панталоны.— Природой наслаждаюсь... Ко мне, знаете ли, приехала с ночным поездом дорогая гостья... мамаша моей жены. С нею прибыли мои племянницы... прекрасные девушки. Весьма рад, хотя и... очень сыро! А вы тоже изволите природой наслаждаться?

— Да,— мычит Зайкин,— и я тоже природой... Не знаете ли, нет ли тут где-нибудь поблизости какого-нибудь кабака или трактирчика?

Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются...

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ

Алексей Борисыч, только что расставшийся с послеобеденным Морфеем, сидит с женой Марфой Афанасьевной у окна и ворчит. Ему не нравится, что его дочь Лидочка пошла гулять в сад с Федором Петровичем, молодым человеком...

— Терпеть не могу,— бормочет он,— когда девицы настолько забываются, что теряют стыдливость. В этих шатаньях по саду, по темным аллейкам я, кроме безнравственности и распущенности, ничего не вижу. Ты мать, а ничего не видишь... Впрочем, по-твоему, так и надо, чтоб девушка глупостями занималась... По-твоему, ничего, если они там амуриться начнут... Ты сама бы рада на старости лет, стыд забывши, на рандеву поскакать...

— Да что ты ко мне пристал? — сердится старуха.— Ворчит, и сам не знает чего. Образина лысая!

— Что ж! Пусть по-твоему... Пусть там целуются, обнимаются... Хорошо... пусть... Не я буду перед богом отвечать, если девчонке вскружат голову... Целуйтесь, деточки! Женихайтесь!

— Погоди злорадствовать... Может быть, у них ничего и не выйдет...

— Дай бог, чтобы ничего не вышло...— вздыхает Алексей Борисыч.

— Ты всегда был враг своему родному дите... Кроме зла, ты Лидочке никогда ничего не желал... Смотри,

Алексей, как бы бог не наказал тебя за твою лютость! Боюсь я за тебя! Недолго-то ведь жить осталось!

— Как хочешь, а я этого допустить не могу... Он ей не партия, да и ей спешить нечего... Судя по нашему состоянию и ее красоте, у нее женихи еще почище будут... Впрочем, зачем это я с тобой разговариваю? Очень мне нужно с тобой разговаривать! Его прогнать, а Лидку на замок — вот и все... Так и сделаю.

Старик говорит вяло, зевая, словно резину жует; видно, что он ворчит только потому, что у него под ложечкой сосет и язык без костей, но старуха принимает близко к сердцу каждое его слово. Она всплескивает руками, огрызается и кудахчет, как курица. Тиран, изверг, махамет, идол и другие известные ей ругательные слова так и прыгают с ее языка прямо в «харю» Алексея Борисыча... Дело кончилось бы, как всегда, внушительным плевком и слезами, но тут старики вдруг видят нечто необычайное: дочь их Лидочка, с растрепанной прической, мчится по аллее к дому. Одновременно с этим далеко на повороте аллеи показывается из-за кустов соломенная шляпа Федора Петровича... На этот раз молодой человек поразительно бледен. Он нерешительно делает два шага вперед, потом машет рукой и быстро шагает назад. Засим слышно, как Лидочка вбегает в дом, пролетает сквозь все коридоры и громко запирается в своей комнате.

Старик и старуха с тупым удивлением переглядываются, потупляют взоры и слегка бледнеют. Оба молчат и не знают, что говорить. Смысл загадки для них ясен, как божий день. Оба без слов понимают и чувствуют, что сейчас, пока они тут ворчали и крысились друг на друга, была решена судьба их девочки. Достаточно иметь самое обыкновенное человеческое чутье, не говоря уж о родительском сердце, чтобы понять, какие минуты переживает теперь Лидочка, запершись в своей комнате, и какую важную, роковую роль играет в ее жизни удаляющаяся соломенная шляпа...

Алексей Борисыч с кряхтеньем поднимается и начинает шагать по комнате... Старуха следит за его движениями и с замиранием сердца ждет, когда он начнет говорить.

— Какая все эти дни странная погода стоит...— выговаривает старик.— Ночью холод, днем жара нестерпимая.

Кухарка вносит самовар. Марфа Афанасьевна моет чашки, наливает чай, но до чаю никто не дотрагивается.

— Надо бы ее... Лиду... позвать чай пить...— бормочет Алексей Борисыч,— а то потом для нее придется особенный самовар ставить... Не люблю беспорядков!

Марфа Афанасьевна хочет что-то сказать и не может... Губы ее прыгают, язык не слушается, и глаза заволокло пеленой. Еще минута и — она плачет. Алексей Борисыч страстно хочет приласкать ошалевшую старуху и сам бы не прочь расхныкаться, но мешает гордость: нужно характер выдержать.

— Все это хорошо и великолепно,— ворчит он,— только ему следовало бы сначала с нами поговорить... Да... Сначала он должен был бы, по-настоящему, у нас Лидочкиной руки попросить... Может быть, мы и не согласились бы!

Старуха машет обеими руками, громко всхлипывает и уходит к себе в комнату.

«Это серьезный шаг...— думает Алексей Борисыч.— Нельзя решать этак зря... нужно серьезно, всесторонне... Пойду расспрошу ее, как и что, поговорю и решу... Так нельзя!»

Старик запахивает полы халата и семенит к Лидочкиной двери.

— Лидочка! — говорит он, нерешительно берясь за дверную ручку.— Ты... тово? Больна, что ли?

Ответа нет. Алексей Борисыч вздыхает, для чего-то пожимает плечами и отходит от двери.

«Так нельзя! — думает он, шаркая туфлями по коридорам.— Надо всесторонне... подумать, потолковать, обсудить... Брак есть такое таинство, к которому нельзя относиться легкомысленно... Пойти со старухой поговорить...»

Старик семенит в комнату жены. Марфа Афанасьевна стоит перед раскрытым сундуком и дрожащими руками перебирает белье.

— Сорочек совсем нет...— бормочет она.— Хорошие родители, которые путевые, дают в приданое даже дет-

ское белье, а у нас ни платков, ни полотенец... Можно подумать, что она нам не родная дочь, а сирота...

— Надо о серьезном поговорить, а ты о тряпках... Даже глядеть совестно... Тут жизненный вопрос решается, а она стоит, как купчиха, перед сундуком и тряпки считает... Так нельзя!

— А как нужно?

— Нужно подумать, обсудить всесторонне... потолковать...

Старики слышат, как Лидочка отпирает свою дверь, посылает с горничной письмо к Федору Петровичу и опять запирается...

— Решительный ответ ему посылает...— шепчет Алексей Борисыч.— Экие глупые, прости господи! Нет того в уме, чтоб со старшими посоветоваться! Ну, да и народ!

— А что я вспомнила, Алеша! — всплескивает руками старуха.— Ведь нам придется в городе новую квартиру искать! Ежели Лидочка с нами не будет жить, то на что же нам восемь комнат?

— Все это пустое... чепуха... Теперь нужно о серьезном...

До самого ужина старики снуют по комнатам, как тени, и не находят себе места. Марфа Афанасьевна без всякой цели роется в белье, шепчется с кухаркой, то и дело всхлипывает, а Алексей Борисыч ворчит, хочет говорить о серьезном, и несет околесицу. К ужину является Лидочка. Лицо ее розово, и глаза слегка припухли...

— А, наше вам! — говорит старик, не глядя на нее.

Садятся есть и первые два блюда съедают молча... На лицах, в движениях, в походке прислуги — во всем сквозит какая-то застенчивая торжественность...

— Надо бы, Лидочка, тово...—начинает старик,— серьезно обсудить... всесторонне... Нда... Наливки выпить, что ли? Глафира, подай-ка сюда наливку! Оно бы шампанского не мешало, да уж коли нет, то бог с ним... Нда... так нельзя!

Подают наливку. Старик пьет рюмку за рюмкой...

— Давайте же обсудим...— говорит он.— Дело серьезное, жизненное... Так нельзя!

— Ужас, папочка, как ты любишь много говорить!— вздыхает Лидочка.

— Ну, ну...— пугается старик.— Я ведь это только так... пур се лепетан... Не сердись...

После ужина мать долго шепчется с дочерью.

«И, наверное, о пустяках говорят,— думает старик, шагая по комнатам.— Не понимают, глупые, как это серьезно... важно... Так нельзя, невозможно!»

Наступает ночь... Лидочка лежит у себя в комнате и не спит... Не спится и старикам, которые шепчутся до самого рассвета.

— Не дают мухи спать! — ворчит Алексей Борисыч.

Но виноваты не мухи, а счастье...

ХОРИСТКА

Однажды, когда она еще была моложе, красивее и голосистее, у нее на даче, в антресолях, сидел Николай Петрович Колпаков, ее обожатель. Было нестерпимо жарко и душно. Колпаков только что пообедал и выпил целую бутылку плохого портвейна, чувствовал себя не в духе и нездорово. Оба скучали и ждали, когда спадет жара, чтоб пойти гулять.

Вдруг неожиданно в передней позвонили. Колпаков, который был без сюртука и в туфлях, вскочил и вопросительно поглядел на Пашу.

— Должно быть, почтальон или, может, подруга,— сказала певица.

Колпаков не стеснялся ни подруг Паши, ни почтальонов, но на всякий случай взял в охапку свое платье и пошел в смежную комнату, а Паша побежала отворять дверь. К ее великому удивлению, на пороге стоял не почтальон и не подруга, а какая-то незнакомая женщина, молодая, красивая, благородно одетая и, по всем видимостям, из порядочных.

Незнакомка была бледна и тяжело дышала, как от ходьбы по высокой лестнице.

— Что вам угодно? — спросила Паша.

Барыня не сразу ответила. Она сделала шаг вперед, медленно оглядела комнату и села с таким видом, как будто не могла стоять от усталости или нездоровья; потом она долго шевелила бледными губами, стараясь что-то выговорить.

— Мой муж у вас? — спросила она наконец, подняв на Пашу свои большие глаза с красными заплаканными веками.

— Какой муж? — прошептала Паша и вдруг испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги.— Какой муж? — повторила она, начиная дрожать.

— Мой муж... Николай Петрович Колпаков.

— Не... нет, сударыня... Я... я никакого мужа не знаю.

Прошла минута в молчании. Незнакомка несколько раз провела платком по бледным губам и, чтобы побороть внутреннюю дрожь, задерживала дыхание, а Паша стояла перед ней неподвижно как вкопанная и глядела на нее с недоумением и страхом.

— Так его, вы говорите, нет здесь? — спросила барыня уже твердым голосом и как-то странно улыбаясь.

— Я... я не знаю, про кого вы спрашиваете.

— Гадкая вы, подлая, мерзкая...— пробормотала незнакомка, оглядывая Пашу с ненавистью и отвращением.— Да, да... вы гадкая. Очень, очень рада, что наконец могу высказать вам это!

Паша почувствовала, что на эту даму в черном, с сердитыми глазами и с белыми тонкими пальцами, она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало стыдно своих пухлых красных щек, рябин на носу и челки на лбу, которая никак не зачесывалась наверх. И ей казалось, что если бы она была худенькая, не напудренная и без челки, то можно было бы скрыть, что она непорядочная, и было бы не так страшно и стыдно стоять перед незнакомой, таинственной дамой.

— Где мой муж? — продолжала дама.— Впрочем, здесь он или нет, мне все равно, но должна я вам сказать, что обнаружена растрата и Николая Петровича ищут... Его хотят арестовать. Вот что вы наделали!

Барыня встала и в сильном волнении прошлась по комнате. Паша глядела на нее и от страха не понимала.

— Сегодня же его найдут и арестуют,— сказала барыня и всхлипнула, и в этом звуке слышались оскорбление и досада.— Я знаю, кто довел его до такого ужаса! Гадкая, мерзкая! Отвратительная, продажная

тварь! (У барыни губы покривились и поморщился нос от отвращения.) Я бессильна... слушайте вы, низкая женщина!.. я бессильна, вы сильнее меня, но есть кому вступиться за меня и моих детей! Бог все видит! Он справедлив! Он взыщет с вас за каждую мою слезу, за все бессонные ночи! Будет время, вспомните вы меня!

Опять наступило молчание. Барыня ходила по комнате и ломала руки, а Паша все еще глядела на нее тупо, с недоумением, не понимала и ждала от нее чего-то страшного.

— Я, сударыня, ничего не знаю! — проговорила она и вдруг заплакала.

— Лжете вы! — крикнула барыня и злобно сверкнула на нее глазами.— Мне все известно! Я давно уже знаю вас! Я знаю, в последний месяц он просиживал у вас каждый день!

— Да. Так что же? Что ж из этого? У меня бывает много гостей, но я никого не неволю. Вольному воля.

— Я говорю вам: обнаружена растрата! Он растратил на службе чужие деньги! Ради такой... как вы, ради вас он решился на преступление. Послушайте,— сказала барыня решительным тоном, останавливаясь перед Пашей.— У вас не может быть принципов, вы живете для того только, чтоб приносить зло, это цель ваша, но нельзя же думать, что вы так низко пали, что у вас не осталось и следа человеческого чувства! У него есть жена, дети... Если его осудят и сошлют, то я и дети умрем с голода... Поймите вы это! А между тем есть средство спасти его и нас от нищеты и позора. Если я сегодня внесу девятьсот рублей, то его оставят в покое. Только девятьсот рублей!

— Какие девятьсот рублей? — тихо спросила Паша.— Я... я не знаю... Я не брала...

— Я не прошу у вас девятисот рублей... у вас нет денег, да и не нужно мне вашего. Я прошу другого... Мужчины обыкновенно таким, как вы, дарят драгоценные вещи. Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж!

— Сударыня, они никаких вещей мне не дарили! — взвизгнула Паша, начиная понимать.

— Где же деньги? Он растратил свое, мое и чужое... Куда же все это девалось? Послушайте, я прошу вас! Я была возмущена и наговорила вам много неприятного, но я извиняюсь. Вы должны меня ненавидеть, я знаю, но если вы способны на сострадание, то войдите в мое положение! Умоляю вас, отдайте мне вещи!

— Гм...— сказала Паша и пожала плечами.— Я бы с удовольствием, но, накажи меня бог, они ничего мне не давали. Верьте совести. Впрочем, правда ваша,— смутилась певица,— они как-то привезли мне две штучки. Извольте, я отдам, ежели желаете...

Паша выдвинула один из туалетных ящичков и достала оттуда дутый золотой браслет и жидкое колечко с рубином.

— Извольте! — сказала она, подавая эти вещи гостье.

Барыня вспыхнула, и лицо ее задрожало. Она оскорбилась.

— Что же вы мне даете? — сказала она.— Я не милостыни прошу, а того, что принадлежит не вам... что́ вы, пользуясь вашим положением, выжали из моего мужа... этого слабого, несчастного человека... В четверг, когда я видела вас с мужем на пристани, на вас были дорогие броши и браслеты. Стало быть, нечего разыгрывать передо мной невинного барашка! Я в последний раз прошу: дадите вы мне вещи или нет?

— Какие вы, ей-богу, странные...— сказала Паша, начиная обижаться.— Заверяю вас, что от вашего Николая Петровича я, кроме этой браслеты и колечка, ничего не видела. Они привозили мне только сладкие пирожки.

— Сладкие пирожки...— усмехнулась незнакомка.— Дома детям есть нечего, а тут сладкие пирожки. Вы решительно отказываетесь возвратить вещи?

Не получив ответа, барыня села и, о чем-то думая, уставилась в одну точку.

— Что же теперь делать? — проговорила она.— Если я не достану девятисот рублей, то и он погиб и я с детьми погибла. Убить эту мерзавку или на колени стать перед ней, что ли?

Барыня прижала платок к лицу и зарыдала.

— Я прошу вас! — слышалось сквозь ее рыданья.— Вы же ведь разорили и погубили мужа, спасите его... Вы не имеете к нему сострадания, но дети... дети... Чем дети виноваты?

Паша вообразила маленьких детей, которые стоят на улице и плачут от голода, и сама зарыдала.

— Что же я могу сделать, сударыня? — сказала она.— Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вам, как пред истинным богом... заверяю вас, никакой пользы я от них не имею... В нашем хоре только у одной Моти богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Николай Петрович образованный и деликатный господин, ну, я и принимала. Нам нельзя не принимать.

— Я прошу вещи! Вещи мне дайте! Я плачу. . унижаюсь... Извольте, я на колени стану! Извольте!

Паша вскрикнула от испуга и замахала руками. Она чувствовала, что эта бледная красивая барыня, которая выражается благородно, как в театре, в самом деле может стать перед ней на колени, именно из гордости, из благородства, чтобы возвысить себя и унизить хористку.

— Хорошо, я отдам вам вещи! — засуетилась Паша, утирая глаза.— Извольте. Только они не Николая Петровичевы... Я их от других гостей получила. Как вам угодно-с...

Паша выдвинула верхний ящик комода, достала оттуда брошку с алмазами, коралловую нитку, несколько колец, браслет и подала все это даме.

— Возьмите, ежели желаете, только я от вашего мужа никакой пользы не имела. Берите, богатейте! — продолжала Паша, оскорбленная угрозой стать на колени.— А ежели вы благородная... законная ему супруга, то и держали бы его при себе. Стало быть! Я его не звала к себе, он сам пришел...

Барыня сквозь слезы оглядела поданные ей вещи и сказала:

— Это не всё... Тут и на пятьсот рублей не будет.

Паша порывисто вышвырнула из комода еще золотые часы, портсигар и запонки и сказала, разводя руками:

— А больше у меня ничего не осталось... Хоть обыщите!

Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, вышла.

Отворилась из соседней комнаты дверь, и вошел Колпаков. Он был бледен и нервно встряхивал головой, как будто только что принял что-то очень горькое; на глазах у него блестели слезы.

— Какие вы мне вещи приносили? — набросилась на него Паша.— Когда, позвольте вас спросить?

— Вещи... Пустое это — вещи! — проговорил Колпаков и встряхнул головой.— Боже мой! Она перед тобой плакала, унижалась...

— Я вас спрашиваю: какие вы мне вещи приносили? — крикнула Паша.

— Боже мой, она, порядочная, гордая, чистая... даже на колени хотела стать перед... перед этой девкой! И я довел ее до этого! Я допустил!

Он схватил себя за голову и простонал:

— Нет, я никогда не прощу себе этого! Не прощу! Отойди от меня прочь... дрянь! — крикнул он с отвращением, пятясь от Паши и отстраняя ее от себя дрожащими руками.— Она хотела стать на колени, и... перед кем? Перед тобой! О боже мой!

Он быстро оделся и, брезгливо сторонясь Паши, направился к двери и вышел.

Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она сгоряча отдала, и было обидно. Она вспомнила, как три года назад ее ни за что ни про что побил один купец, и еще громче заплакала.

УЧИТЕЛЬ

Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные, забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.

— Как ты слаб стал! — вздохнула жена.— Тебе бы вовсе не ходить на этот обед.

— Прошу без советов! — сердито оборвал ее учитель.

Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Лянунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя «не по-товарищески»: диктуя — выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова.

Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся... От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом.

— Федор Лукич, это вы? — удивился инспектор.— Вы... пришли?

— А что?

— Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы...

— Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти.

— Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим! Собственно, ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..

В квартире директора фабрики все уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два

стола: один большой для обеда, другой поменьше — закусочный. В окно сквозь спущенные шторы еле-еле пробивался полуденный знойный свет... Комнатные сумерки, швейцарские виды на шторах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках — глядели наивно, девически сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круглым животиком и с маслеными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и все старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака.

— Федор Лукич, кого вижу! — заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева.— Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!.. Господа, позвольте вас порадовать: Федор Лукич пришел!

Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Ляпунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал:

— Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!

— Господи, вы все о том же! — сказал Ляпунов и поморщился.— Неужели вам не надоело?

— Да, все о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю!..

— Да что вы придираетесь? — огрызнулся Ляпунов.— Какого черта вы ко мне пристаете?

— Будет, господа,— вмешался инспектор, делая плачущее лицо.— Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки... ни одной ошибки... ну не все ли это равно?

— Нет, не все равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!

— Пристает! — продолжал Ляпунов, сердито фыркая.— Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну я, батенька, не погляжу, что вы больной!

— Оставьте мою болезнь в покое! — сердито крикнул Сысоев.— Какое вам дело? Зарядили все одно: болезнь! болезнь! болезнь!.. Очень мне нужно ваше сочувствие! Да и откуда вы взяли, что я болен? Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился, только слабость осталась.

— Выздоровел, ну и слава богу,— сказал законоучитель о. Николай, молодой священник в франтоватой коричневой рясе и в брюках навыпуск.— Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.

— Вы тоже хороши,— перебил его Сысоев.— Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы все время загадки задавали. Так нельзя!

Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен.

За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.

— Считаю приятным долгом,— начал инспектор,— поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и... и... и...

— И Ивана Петровича...— подсказал Бруни.

— И Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье...

— С своей стороны,— сказал Бруни, вскочив, как ужаленный,— я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ Павла Геннадиевича Надарова.

Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сде-

лав серьезное лицо и откашлявшись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за четырнадцать лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает называть их «из боязни испортить кое-кому аппетит»; несмотря на интриги, куликинская школа заняла первое место во всей губернии «не только в нравственном, но даже и в материальном отношении».

— Везде,— сказал он,— учителя получают двести да триста, а я получаю пятьсот рублей, и к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены оклеены новыми обоями...

Далее учитель распространился о том, как щедро сравнительно с земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя и кончил свою речь не совсем складно:

— Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреича, который тут, между нами... вообще... и понятно.

Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака.

— О, благодарю вас! — сказал он, делая ударение на *о* и прижимая левую руку к сердцу.— Я очень счастлив, что вы меня понимаете! Я всей душой, я же-

лаю всего лучшего! Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич! Без вас она ничем не отличалась бы от других школ! Вы думаете: немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха! Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам пятьсот рублей в год, то, значит, вы дороги нам. Не так ли? Господа, ведь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько... Помилуйте, хорошая школа — это честь для фабрики!

— Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна,— сказал инспектор.— Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и все время удивлялся... Чудо что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние... Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле... Именно поэт!

И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забитые юноши, иначе не величавшие инспектора, как «ваше высокоблагородие». Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.

Привыкший за четырнадцать лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей.

Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел, точно похвалы относились не к учителю, а к нему.

— Браво! Браво! — кричал он.— Верно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..

Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал:

— Господа! Позвольте мне говорить! Тсс! На все ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!..

Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.

— Мы умеем ценить,— продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос.— На все ваши слова я должен сказать вам, что... семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.

Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая: почему будет обеспечена семья, а не он сам? И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени зловещее, похожее на страшную истину, что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покрившимся лицом, он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед, в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни, потом сел и заплакал.

— Полноте!.. Что с вами?..— слышал он встревоженные голоса.— Воды! Выпейте воды!

Прошло немного времени, и учитель успокоился, но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы.

Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало.

«Конечно, напрасно я там разревелся! — думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки.— Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный».

Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.

Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка...

А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шепотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.

БЕСПОКОЙНЫЙ ГОСТЬ

В низкой покривившейся избушке лесника Артема под большим темным образом сидели два человека: сам Артем, малорослый и тощий мужичонка, с старческим помятым лицом и с бородкой, растущей из шеи, и прохожий охотник, молодой рослый парень в новой кумачовой рубахе и в больших болотных сапогах. Сидели они на скамье за маленьким треногим столиком, на котором, воткнутая в бутылку, лениво горела сальная свечка.

За окном в ночных потемках шумела буря, какою обыкновенно природа разражается перед грозой. Злобно выл ветер, и болезненно стонали гнувшиеся деревья. Одно стекло в окне было заклеено бумагой, и слышно было, как срывавшиеся листья стучали по этой бумаге.

— Я тебе вот что скажу, православный...— говорил Артем сиплым, тенорковым полушепотом, глядя немигающими, словно испуганными глазами на охотника.— Не боюсь я ни волков, ни ведмедей, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься, а от злого человека нет тебе никакого спасения.

— Известно! В зверя выстрелить можно, а выстрели ты в разбойника, сам же отвечать будешь, в Сибирь пойдешь.

— Служу я, братец ты мой, тут в лесниках без малого тридцать лет, и сколько я горя от злых людей на-

терпелся, рассказать невозможно. Перебывало у меня тут их видимо-невидимо. Изба на просеке, дорога проезжая, ну и несет их, чертей. Ввалится какой ни на есть злодей и, шапки не снимавши, лба не перекрестивши, прямо на тебя лезет: «Давай, такой-сякой, хлеба!» А где я тебе хлеба возьму? По какому полному праву? Нешто я миллионщик, чтоб каждого прохожего пьяницу кормить? Он, известно, злобой глаза запорошило... креста на них, на чертях, нет... не долго думавши, трах тебя по уху: «Давай хлеба!» Ну, и даешь... Не станешь же с ними, с идолами, драться! У иного в плечах косовая сажень, кулачище, что твой сапог, а у меня сам видишь, какая комплекцыя. Меня мизинцем зашибить можно... Ну, дашь ему хлеба, а он нажрется, развалится поперек избы — и никакой тебе благодарности. А то бывают такие, что деньги спрашивают: «Отвечай, где деньги?» А какие у меня деньги? Откуда им быть?

— У лесника, да чтоб денег не было! — усмехнулся охотник.— Жалованье получаешь каждый месяц, да и, чай, лес тайком продаешь.

Артем пугливо покосился на охотника и задрыгал своей бородкой, как сорока хвостом.

— Молодой ты еще, чтоб мне такие слова говорить,— сказал он.— За эти самые слова ты перед богом ответчик. Ты сам из каких будешь? Откуда?

— Я из Вязовки. Старосты Нефеда сын.

— Ружьем балуешься... Я, когда помоложе был, тоже любил это баловство. Тэ-эк. Ох, грехи наши тяжкие!— зевнул Артем.— Беда-а! Добрых людей мало, а злодеев и душегубов не приведи бог сколько!

— Ты словно как будто и меня боишься...

— Ну, вот еще! Зачем мне тебя бояться! Я вижу... понимаю... Ты вошел, и не то чтобы как, а перекрестился, поклонился честь честью... Я понимаю... Тебе и хлебца дать можно... Человек я вдовый, печи не топлю, самовар продал... мяса или чего прочего не держу по бедности, но хлебца — сделай милость.

В это время под скамьей что-то заворчало, вслед за ворчаньем послышалось шипенье. Артем вздрогнул, поджал ноги и вопросительно поглядел на охотника.

— Это моя собака твою кошку забижает,— сказал охотник.— Вы, черти! — крикнул он под скамью.— Куш! Биты будете! Да и худая же у тебя, брат, кошка! Одни кости да шерсть.

— Стара стала, околевать время... Так ты, сказываешь, из Вязовки!

— Не кормишь ты ее, я вижу. Она хоть и кошка, а все-таки тварь... всякое дыхание. Жалеть надо!

— Не чисто у вас в Вязовке,— продолжал Артем, как бы не слушая охотника.— В один год два раза церковь грабили... Есть же такие анафемы, а? Стало быть, не только людей, но даже бога не боятся! Грабить божье добро! Да за это повесить мало! В прежнее время таких шельмов губернаторы через палачей наказывали.

— Как ни наказывай, хоть плетьми жарь, хоть засуди, а не выйдет толку. Из злого человека ничем ты зла не вышибешь.

— Спаси и помилуй, царица небесная! — прерывисто вздохнул лесник.— Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе в Воловьих Займищах один косарь другого по грудям косой хватил... До смерти убил! А из-за чего дело вышло, господи твоя воля! Выходит это один косарь из кабака... выпивши. Встречается ему другой и тоже выпивши...

Внимательно слушавший охотник вдруг вздрогнул, вытянул лицо и прислушался.

— Постой,— перебил он лесника.— Кажись, кто-то кричит...

Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли то звали на помощь, или же непогода плакала в трубе. Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик: «Караул!»

— Легки твои душегубы на помине! — сказал охотник, бледнея и поднимаясь.— Грабят кого-то!

— Господи помилуй! — прошептал лесник, тоже бледнея и поднимаясь.

Охотник бесцельно поглядел в окно и прошелся по избе.

— Ночь-то, ночь какая! — пробормотал он.— Зги не видать! Время самое такое, чтоб грабить. Слышь? Опять крикнуло!

Лесник поглядел на образ, с образа перевел глаза на охотника и опустился на скамью в изнеможении человека, испуганного внезапным известием.

— Православный! — сказал он плачущим голосом.— Ты бы пошел в сени да на засов двери запер! И огонь бы потушить надо!

— По какому случаю?

— Неровен час, заберутся сюда... Ох, грехи наши!

— Идти нужно, а ты двери на засов! Голова, посмотришь! Идем, что ль?

Охотник перекинул на плечо ружье и взялся за шапку.

— Одевайся, бери свое ружье! Эй, Флерка, иси! — крикнул он собаке.— Флерка!

Из-под скамьи вышла собака с длинными огрызенными ушами, помесь сеттера с дворняжкой. Она потянулась у ног хозяина и завиляла хвостом.

— Что ж ты сидишь? — крикнул охотник на лесника.— Нешто не пойдешь?

— Куды?

— На помощь!

— Куда мне! — махнул рукою лесник, пожимаясь всем телом.— Бог с ним совсем.

— Отчего же ты не хочешь идти?

— После страшных разговоров я теперя и шага не ступну впотьмах. Бог с ним совсем! И чего я там в лесу не видал?

— Чего боишься? Нешто у тебя ружья нет? Пойдем, сделай милость! Одному идти боязно, а вдвоем веселей! Слышь? Опять крикнуло! Вставай!

— Как ты обо мне понимаешь, парень! — простонал лесник.— Нешто я дурак, что пойду на свою погибель?

— Так ты не пойдешь?

Лесник молчал. Собака, вероятно услышавшая человеческий крик, жалобно залаяла.

— Пойдешь, я тебя спрашиваю? — крикнул охотник, злобно тараща глаза.

— Пристал, ей-богу! — поморщился лесник.— Ступай сам!

— Э... сволочь! — проворчал охотник, поворачивая к двери.— Флерка, иси!

Он вышел и оставил дверь настежь. В избу влетел ветер. Огонь на свечке беспокойно замелькал, ярко вспыхнул и потух.

Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужи на просеке, ближайшие сосны и удаляющуюся фигуру гостя осветило молнией. Вдали проворчал гром.

— Свят, свят, свят...— шепнул лесник, спеша просунуть толстый засов в большие железные петли.— Экую погоду бог послал!

Вернувшись в избу, он ощупью добрался до печки, лег и укрылся с головой. Лежа под тулупом и напряженно прислушиваясь, он уже не слышал человеческого крика, но зато удары грома становились все сильнее и раскатистее. Ему слышно было, как крупный, гонимый ветром дождь злобно застучал по стеклам и по бумаге окна.

«Понесла нелегкая! — думал он, воображая себе охотника, мокнущего на дожде и спотыкающегося о пни.— Небось со страху зубами щелкает!»

Не далее как минут через десять раздались шаги и за ними сильный стук в дверь.

— Кто там? — крикнул лесник.

— Это я,— послышался голос охотника.— Отопри!

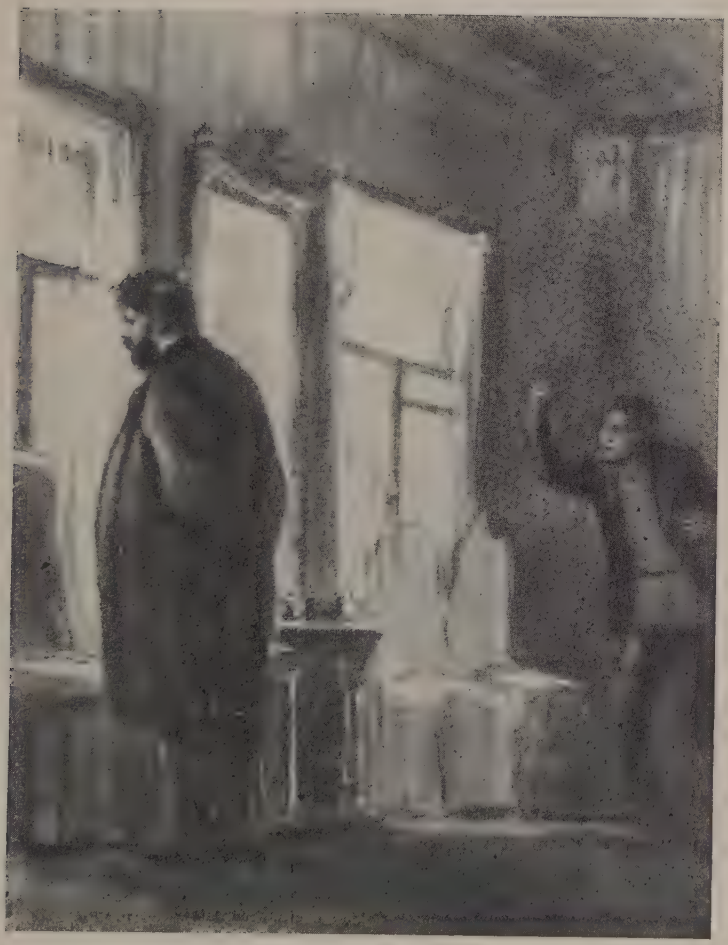
Лесник сполз с печи, нащупал свечку и, зажегши ее, пошел отворять дверь. Охотник и его собака были мокры до костей. Они попали под самый крупный и густой дождь, и теперь текло с них, как с невыжатых тряпок.

— Что там случилось? — спросил лесник.

— Баба в телеге ехала и не на ту дорогу попала...— ответил охотник, пересиливая одышку.— В чепыгу залезла.

— Ишь дура! Испугалась, значит... Что ж, ты вывел ее на дорогу?

— Не желаю я тебе, подлецу этакому, отвечать.



К рассказу «Тяжелые люди».

Художники Кукрыниксы. 1941.

Охотник бросил на скамью мокрую шапку и продолжал:

— Об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец и последний человек. Еще тоже сторож, жалованье получает! Мерзавец этакой...

Лесник виноватою походкой поплелся к печи, крякнул и лег. Охотник сел на скамью, подумал и, мокрый, разлегся вдоль всей скамьи. Немного погодя он поднялся, потушил свечку и опять лег. Во время одного особенно сильного удара грома он заворочался, сплюнул и проворчал:

— Страшно ему... Ну, а ежели б резали бабу? Чье дело вступиться за нее? А еще тоже старый человек, крещеный... Свинья, и больше ничего.

Лесник крякнул и глубоко вздохнул. Флерка где-то в потемках сильно встряхнула свое мокрое тело, отчего во все стороны посыпались брызги.

— Стало быть, тебе и горя мало, ежели бы бабу зарезали? — продолжал охотник.— Ну, побей бог, не знал я, что ты такой...

Наступило молчание. Грозная туча уже прошла, и удары грома слышались издали, но дождь все еще шел.

— А ежели б, скажем, не баба, а ты караул кричал? — прервал молчание охотник.— Хорошо бы тебе, скоту, было, ежели бы никто к тебе на выручку не побег? Встревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было!

Засим, еще после одного длинного антракта, охотник сказал:

— Стало быть, у тебя деньги есть, ежели ты боишься людей! Человек, который бедный, не станет бояться...

— За эти самые слова ты перед богом ответчик...— прохрипел с печки Артем.— Нету у меня денег!

— Ну да! У подлецов завсегда есть деньги... А зачем ты боишься людей? Стало быть, есть! Вот взять бы да и ограбить тебя назло, чтоб ты понимал!

Артем бесшумно сполз с печки, зажег свечку и сел под образом. Он был бледен и не сводил глаз с охотника.

— Возьму вот и ограблю,— продолжал охотник, поднимаясь.— А ты как думал? Вашего брата учить нужно! Сказывай, где деньги спрятаны?

Артем поджал под себя ноги и замигал глазами.

— Что жмешься? Где деньги спрятаны? Языка в тебе, шут, нету, что ли? Что молчишь?

Охотник вскочил и подошел к леснику.

— Глаза, как сыч, таращит! Ну? Давай деньги, а то из ружья выстрелю!

— Что ты ко мне пристал? — завизжал лесник, и крупные слезы брызнули из его глаз.— По какой причине? Бог все видит! За все эти самые слова ты перед богом ответчик. Никакого полного права не имеешь ты с меня деньги требовать!

Охотник поглядел на плачущее лицо Артема, поморщился и зашагал по избе, потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье.

— Э... э... глядеть на тебя противно! — процедил он сквозь зубы.— Видеть тебя не могу! Все равно мне не спать у тебя. Прощай! Эй, Флерка!

Хлопнула дверь — и беспокойный гость вышел со своей собакой... Артем запер за ним дверь, перекрестился и лег.

RARA AVIS[1]

Сочинитель уголовных романов беседует с полицейским сыщиком.

— Вы потрудитесь сводить меня в притон мошенников и бродяг.

— С удовольствием.

— Познакомьте меня с двумя-тремя типами убийц...

— И это можно.

— Необходимо мне побывать также в тайных притонах разврата.

Далее сочинитель просит познакомить его с фальшивыми монетчиками, шантажистами, шулерами, червонными дамами, альфонсами, и на все сыщик отвечает:

— И это можно... Сколько хотите!

— Еще одна просьба,— просит в конце концов сочинитель.— Так как в своем романе я должен для контраста вывести две-три светлых личности, то вы потрудитесь также указать мне двух-трех идеально честных людей...

Сыщик поднимает глаза к потолку и думает.

— Гм...— мычит он.— Хорошо, поищем!

---

[1] Редкая птица (*лат.*).

ЧУЖАЯ БЕДА

Было не более шести часов утра, когда новоиспеченный кандидат прав Ковалев сел со своей молодой женою в коляску и покатил по проселочной дороге. Он и его жена прежде никогда не вставали рано, и теперь великолепие тихого летнего утра представлялось им чем-то сказочным. Земля, одетая в зелень, обрызганная алмазной росой, казалась прекрасной и счастливой. Лучи солнца яркими пятнами ложились на лес, дрожали в сверкавшей реке, а в необыкновенно прозрачном голубом воздухе стояла такая свежесть, точно весь мир божий только что выкупался, отчего стал моложе и здоровей.

Для Ковалевых, как потом они сами сознавались, это утро было счастливейшим в их медовом месяце, а стало быть, и в жизни. Они без умолку болтали, пели, без причины хохотали и дурачились до того, что в конце концов им стало совестно кучера. Не только в настоящем, но даже впереди им улыбалось счастье: ехали они покупать имение — маленький «поэтический уголок», о котором они мечтали с первого дня свадьбы. Даль подавала обоим самые блестящие надежды. Ему мерещились впереди служба в земстве, рациональное хозяйство, труды рук своих и прочие блага, о которых он так много читал и слышал, а ее соблазняла чисто романтическая сторона дела: темные аллейки, уженье рыбы, душистые ночи...

За смехом и разговором они и не заметили, как проехали восемнадцать верст. Имение надворного советника Михайлова, которое они ехали осматривать, стояло на высоком крутом берегу речки и пряталось за березовой рощицей... Красная крыша едва виднелась из-за густой зелени, и весь глинистый берег был усажен молодыми деревцами.

— А вид не дурен! — сказал Ковалев, когда коляска переезжала на ту сторону бродом.— Дом на горе, а у подножия горы река! Черт знает как мило! Только знаешь, Верочка, лестница никуда не годится... весь вид портит своей топорностью... Если мы купим это именье, то непременно устроим чугунную лестницу...

Верочке тоже понравился вид. Громко хохоча и гримасничая всем телом, она побежала вверх по лестнице, муж за ней, и оба они, растрепанные, запыхавшиеся, вошли в рощу. Первый, кто встретил их около барского дома, был большой мужик, заспанный, волосатый и угрюмый. Он сидел у крылечка и чистил детский полусапожок.

— Господин Михайлов дома? — обратился к нему Ковалев.— Ступай доложи ему, что приехали покупатели имение осматривать.

Мужик с тупым удивлением поглядел на Ковалевых и медленно поплелся, но не в дом, а в кухню, стоявшую в стороне от дома. Тотчас же в кухонных окнах замелькали физиономии, одна другой заспаннее и удивленней.

— Покупатели приехали! — послышался шепот.— Господи, твоя воля, Михалково продают! Погляди-кось, какие молоденькие!

Залаяла где-то собака, и послышался злобный вопль, похожий на звук, какой издают кошки, когда им наступают на хвост. Беспокойство дворни скоро перешло и на кур, гусей и индеек, мирно шагавших по аллеям. Скоро из кухни выскочил малый с лакейской физиономией; он пощурил глаза на Ковалевых и, надевая на ходу пиджак, побежал в дом... Вся эта тревога казалась Ковалевым смешной, и они едва удерживались от смеха.

— Какие курьезные рожи! — говорил Ковалев, переглядываясь с женой.— Они рассматривают нас, как дикарей.

Наконец, из дома вышел маленький человечек с бритым, старческим лицом и с взъерошенной прической... Он шаркнул своими рваными, шитыми золотом туфлями, кисло улыбнулся и уставил неподвижный взгляд на непрошеных гостей...

— Господин Михайлов? — начал Ковалев, приподнимая шляпу.— Честь имею кланяться... Мы вот с женой прочли публикацию земельного банка о продаже вашего именья и теперь приехали познакомиться с ним. Быть может, купим... Будьте любезны, покажите нам его.

Михайлов еще раз кисло улыбнулся, сконфузился и замигал глазами. В замешательстве он еще больше взъерошил свою прическу, и на бритом лице его появилось такое смешное выражение стыда и ошалелости, что Ковалев и его Верочка переглянулись и не могли удержаться от улыбки.

— Очень приятно-с,— забормотал он.— К вашим услугам-с... Издалека изволили приехать-с?

— Из Конькова... Там мы живем на даче.

— На даче... Вона... Удивительное дело! Милости просим! А мы только что встали и, извините, не совсем в порядке.

Михайлов, кисло улыбаясь и потирая руки, повел гостей по другую сторону дома. Ковалев надел очки и с видом знатока-туриста, обозревающего достопримечательности, стал осматривать имение. Сначала он увидел большой каменный дом старинной тяжелой архитектуры с гербами, львами и с облупившейся штукатуркой. Крыша давно уже не была крашена, стекла отдавали радугой, из щелей между ступенями росла трава. Все было ветхо, запущено, но в общем дом понравился. Он выглядывал поэтично, скромно и добродушно, как старая девствующая тетка. Перед ним в нескольких шагах от парадного крыльца блистал пруд, по которому плавали две утки и игрушечная лодка. Вокруг пруда стояли березы, все одного роста и одной толщины.

— Ага, и пруд есть! — сказал Ковалев, щурясь от солнца.— Это красиво. В нем есть караси?

— Да-с... Были когда-то и карпии, но потом, когда перестали пруд чистить, все карпии вымерли.

— Напрасно,— сказал менторским тоном Ковалев.— Пруд нужно как можно чаще чистить, тем более что ил и водоросли служат прекрасным удобрением для полей. Знаешь что, Вера? Когда мы купим это имение, то построим на пруду на сваях беседку, а к ней мостик. Такую беседку я видел у князя Афронтова.

— В беседке чай пить...— сладко вздохнула Верочка.

— Да... А это что там за башня со шпилем?

— Это флигель для гостей,— ответил Михайлов.

— Как-то некстати он торчит. Мы его сломаем. Вообще тут многое придется сломать. Очень многое!

Вдруг ясно и отчетливо послышался женский плач. Ковалевы оглянулись на дом, но в это самое время хлопнуло одно из окон, и за радужными стеклами только на мгновение мелькнули два больших заплаканных глаза. Тот, кто плакал, видно, устыдился своего плача и, захлопнув окно, спрятался за занавеской.

— Не желаете ли сад посмотреть и постройки? — быстро заговорил Михайлов, морща свое и без того уж сморщенное лицо в кислую улыбку.— Пойдемте-с... Самое главное ведь не дом, а... а остальное...

Ковалевы отправились осматривать конюшни и сараи. Кандидат прав обходил каждый сарай, оглядывал, обнюхивал и рисовался своими познаниями по агрономической части. Он расспросил, сколько в имении десятин, сколько голов скота, побранил Россию за порубку лесов, упрекнул Михайлова в том, что у него пропадает даром много навоза, и т. д. Он говорил и то и дело взглядывал на свою Верочку, а та все время не отрывала от него любящих глаз и думала: «Какой ты у меня умный!»

Во время осмотра скотного двора опять послышался плач.

— Послушайте, кто это там плачет? — спросила Верочка.

Михайлов махнул рукой и отвернулся.

— Странно,— пробормотала Верочка, когда всхлипывания обратились в нескончаемый истерический плач.— Точно бьют кого или режут.

— Это жена, бог с ней...— проговорил Михайлов.

— Чего же она плачет?

— Слабая женщина-с! Не может видеть, как родное гнездо продают.

— Зачем же вы продаете? — спросила Верочка.

— Не мы продаем, сударыня, а банк...

— Странно, зачем же вы допускаете?

Михайлов удивленно покосился на розовое лицо Верочки и пожал плечами.

— Проценты нужно платить,— сказал он.— Две тысячи сто рублей каждый год! А где их взять? Поневоле взвоешь. Женщины, известно, слабый народ. Ей вот и родного гнезда жалко, и детей, и меня... и от прислуги совестно... Вы изволили сейчас там около пруда сказать, что то нужно сломать, то построить, а для нее это словно нож в сердце.

Проходя обратно мимо дома, Ковалева видела в окнах стриженого гимназиста и двух девочек — детей Михайлова. О чем думали дети, глядя на покупателей? Верочка, вероятно, понимала их мысли... Когда она садилась в коляску, чтобы ехать обратно домой, для нее уже потеряли всякую прелесть и свежее утро и мечты о поэтическом уголке.

— Как все это неприятно! — сказала она мужу.— Право, дать бы им две тысячи сто рублей! Пусть бы жили в своем именье.

— Какая ты умная! — засмеялся Ковалев.— Конечно, жаль их, но ведь они сами виноваты. Кто велел им закладывать именье? Зачем они его так запустили? И жалеть их даже не следует. Если с умом эксплуатировать это именье, ввести рациональное хозяйство... заняться скотоводством и прочее, то тут отлично можно прожить... А они, свиньи, ничего не делали... Он, наверное, пьянчуга и картежник,— видала его рожу? — а она модница и мотовка. Знаю я этих гусей!

— Откуда же ты их знаешь, Степа?

— Знаю! Жалуется, что нечем проценты заплатить. И как это, не понимаю, двух тысяч не найти? Если

ввести рациональное хозяйство... удобрять землю и заняться скотоводством... если вообще соображаться с климатическими и экономическими условиями, то и одной десятиной прожить можно!

До самого дома болтал Степа, а жена слушала его и верила каждому слову, но прежнее настроение не возвращалось к ней. Кислая улыбка Михайлова и два на мгновение мелькнувших заплаканных глаза не выходили из ее головы. Когда потом счастливый Степа два раза съездил на торги и на ее приданое купил Михалково, ей стало невыносимо скучно... Воображение ее не переставало рисовать, как Михайлов с семейством садится в экипаж и с плачем выезжает из насиженного гнезда. И чем мрачнее и сентиментальнее работало ее воображение, тем сильнее хорохорился Степа. С самым ожесточенным авторитетом толковал он о рациональном хозяйстве, выписывал пропасть книг и журналов, смеялся над Михайловым — и под конец его сельскохозяйственные мечты обратились в смелое, самое беззастенчивое хвастовство...

— Вот ты увидишь! — говорил он.— Я не Михайлов, я покажу, как нужно дело делать! Да!

Когда Ковалевы перебрались в опустевшее Михалково, то первое, что бросилось в глаза Верочке, были следы, оставленные прежними жильцами: расписание уроков, написанное детской рукой, кукла без головы, синица, прилетавшая за подачкой, надпись на стене: «Наташа дура», и проч. Многое нужно было окрасить, переклеить и сломать, чтобы забыть о чужой беде.

ТЫ И ВЫ

Сценка

Седьмой час утра. Кандидат на судебные должности Попиков, исправляющий должность судебного следователя в посаде N., спит сладким сном человека, получающего разъездные, квартирные и жалованье. Кровати он не успел завести себе, а потому спит на справках о судимости. Тишина. Даже за окнами нет звуков. Но вот в сенях за дверью начинает что-то скрести и шуршать, точно свинья вошла в сени и чешется боком о косяк. Немного погодя дверь с жалобным писком отворяется и опять закрывается. Минуты через три дверь вновь открывается и с таким страдальческим писком, что Попиков вздрагивает и открывает глаза.

— Кто там? — спрашивает он, встревоженно глядя на дверь.

В дверях показывается паукообразное тело — большая мохнатая голова с нависшими бровями и с густой растрепанной бородой.

— Тут господин следователев живет, что ли? — хрипит голова.

— Тут. Чего тебе нужно?

— Поди скажи ему, что Иван Филаретов пришел. Нас сюда повестками вызывали.

— Зачем же ты так рано пришел? Я тебя к одиннадцати часам вызывал!

— А теперя сколько?

— Теперь еще и семи нет.

— Гм... И семи еще нет... У нас, вашескородие, нет часов... Стало быть, ты будешь следователь?

— Да, я... Ну, ступай отсюда, погоди там... Я еще сплю...

— Спи, спи... Я погожу. Погодить можно.

Голова Филаретова скрывается. Попиков поворачивается на другой бок, закрывает глаза, но сон уж больше не возвращается к нему. Повалявшись еще с полчаса, он с чувством потягивается и выкуривает папиросу, потом медленно, чтобы растянуть время, один за другим выпивает три стакана молока...

— Разбудил, каналья! — ворчит он.— Нужно будет сказать хозяйке, чтобы запирала на ночь дверь.— Ну, что я буду делать спозаранку? Черт его подери... Допрошу его сейчас, потом не нужно будет допрашивать.

Попиков сует ноги в туфли, накидывает поверх нижнего белья крылатку и, зевая до боли в скулах, садится за стол.

— Поди сюда! — кричит он.

Дверь снова пищит, и на пороге показывается Иван Филаретов. Попиков раскрывает перед собой «Дело по обвинению запасного рядового Алексея Алексеева Дрыхунова в истязании жены своей Марфы Андреевой», берет перо и начинает быстро, судейским, разгонистым почерком, писать протокол допроса.

— Подойди поближе,— говорит он, треща по бумаге пером.— Отвечай на вопросы... Ты Иван Филаретов, крестьянин села Дунькина, Пустыревской волости, сорока двух лет?

— Точно так...

— Чем занимаешься?

— Мы пастухи... Мирской скот пасем...

— Под судом был?

— Точно так, был...

— За что и когда?

— Перед святой из нашей волости троих в присяжные заседатели вызывали...

— Это не значит быть под судом...

— А кто его знает! Почитай, пять суток продержали...

Следователь запахивается в крылатку и, понизив тон, говорит:

— Вы вызваны в качестве свидетеля по делу об истязании запасным рядовым Алексеем Дрыхуновым своей жены. Предупреждаю вас, что вы должны говорить одну только сущую правду и что все, сказанное здесь, вы должны будете подтвердить на суде присягой. Ну, что вы знаете по этому делу?

— Прогоны бы получить, вашескородие,— бормочет Филаретов,— двадцать три версты проехал, а лошадь чужая, вашескородие, заплатить нужно...

— После поговоришь о прогонах.

— Зачем после? Мне сказывали, что прогоны надо требовать в суде, а то потом не получишь.

— Некогда мне с тобой о прогонах разговаривать! — сердится следователь.— Рассказывай, как было? Как Дрыхунов истязал свою жену?

— Что ж мне тебе рассказывать? — вздыхает Филаретов, мигая нависшими бровями.— Очень просто, драка была!.. Гоню я это, стало быть, коров к водопою, а тут по реке чьи-то утки плывут... Господские оне или мужицкие, Христос их знает, только это, значит, Гришка-подпасок берет камень и давай швырять... «Зачем, спрашиваю, швыряешь? Убьешь, говорю... Попадешь в какую ни на есть утку, ну и убьешь...»

Филаретов вздыхает и поднимает глаза к потолку.

— Человека и то убить можно, а утка тварь слабая, ее и щепкой зашибить можно... Я говорю, а Гришутка не слушается... Известно, дите молодое, рассудка — ни боже мой... «Что ж ты, говорю, не слушаешься? Уши, говорю, оттреплю! Дурак!»

— Это к делу не относится,— говорит следователь.— Рассказывайте только то, что дела касается...

— Слушаю... Только что, это самое, норовил я его за ухи схватить, как откуда ни возьмись Дрыхунов... Идет по бережку с фабричными ребятами и руками размахивает. Рожа пухлая, красная, глазищи наружу лба выперло, а сам так и качается... Выпивши, чтоб его разодрало! Люди еще из обедни не вышли, а он уже набарабанился и черта потешает. Увидал он, как я мальчишку за ухи хватаю, и давай кричать: «Не

смей, говорит, христианскую душу за ухи трепать! А то, говорит, влетит!» А я ему честно и благородно... по-божески. «Проходи, говорю, мимо, пьяница этакая». Он осерчал, подходит и со всего размаху, вашескородие, трах меня по затылку!.. За что? По какому случаю? «Какой ты такой, спрашиваю, мировой судья, что имеешь полную праву меня бить?» А он и говорит: «Ну, ну, говорит, Ванюха, не обиждайся, это я тебя по дружбе, для смеху. На меня, говорит, нынче такое просветление нашло... Я, говорит, так об себе понимаю, что я самый лучший человек есть... я, говорит, двадцать рублев жалованья на фабрике получаю, и нет надо мной, акроме директора, никакого старшова... Плевать, говорит, желаю на всех прочих! И сколько, говорит, нынче много разного народу перебито, так это видимо-невидимо! Пойдем, говорит, выпьем!» — «Не желаю, говорю, с тобой пить... Люди еще из обедни не вышли, а ты — пить!» А тут, которые прочие ребята, что с ним были, обступили меня, словно собаки, и тянут: «Пойдем да пойдем!» Не было никакой моей возможности супротив всех идтить, вашескородие. Не хотел пить, а потом, чтоб их ободрало!

— Куда же вы пошли?

— У нас одно место! — вздыхает Филаретов.—Пошли мы на постоялый двор к Абраму Мойсеичу. Туда всякий раз ходим. Место такое каторжное, чтоб ему пусто! Чай, сам знаешь... Как поедешь по большой дороге в Дунькино, то вправе будет именье барина Северина Францыча, а еще правее Плахтово, а промеж них и будет постоялый двор. Чай, знаешь Северина Францыча?

— Нужно говорить *вы*... Нельзя тыкать! Если я говорю тебе... вам *вы*, то вы и подавно должны быть вежливым!

— Оно конечно, вашескородие! Нешто мы не понимаем? Но ты слушай, что дальше... Приходим это к Абрамке... «Наливай, говорит, за мои деньги!»

— Кто говорит?

— Да этот самый... Дрыхунов то есть! «Наливай, кричит, такой-сякой, а то бочке дно вышибу! На меня, говорит, просветление нашло!» Выпили мы по стакан-

чику, потом малость погодили и еще выпили, да этаким манером в час времени стаканов, дай бог память, по восьми слопали! Мне что? Я пью, мне и горя мало: не мои деньги! Хоть тыщу стаканов подноси! Я, вашескородие, нисколько не виноват! Извольте Абрама Мойсеича допросить.

— Что же потом было?

— Ничего потом не было. Пока пили, это верно, была драка, а потом все благородно и по совести.

— Кто же дрался?

— Известно кто... «На меня, кричит, просветление нашло!» Кричит и норовит кого ни на есть по шее ударить. В азарт вошел. И меня бил, и Абрамку, и ребят... Поднесет стаканчик, даст тебе выпить и вдарит что есть силы. «Пей, говорит, и знай мою силу! Плевать на всех прочих!»

— А жену свою он бил?

— Марфу-то? И Марфе досталось... В самый раз, как это мы, стало быть, стали в кураж входить, приходит в кабак Марфа. «Ступай, говорит, домой, брат Степан приехал! Будет, говорит, тебе, разбойник, водку пить!» А он, не говоря худого слова, трах поперек ейной спины!

— За что же?

— А так, здорово живешь... «Пущай, говорит, чувствует... Я, говорит, двадцать рублев получаю». А она баба слабая, тощая, так и перекрутнулась, даже глаза подкатила. Стала она нам на свое горе жалиться и бога призывать, а он опять... Учил-учил, и конца тому ученью не было!

— Отчего же вы не заступились? Обезумевший от водки человек убивает женщину, а вы не обращаете внимания!

— А какая нам надобность вступаться? Его жена, он и учит... Двое дерутся, третий не мешайся... Абрамка стал было его унимать, чтоб в кабаке не безобразил, а он Абрамку по уху. Абрамкин работник его... А он схватил его, поднял и оземь... Тогды тот сел на него верхом и давай в спину барабанить... Мы его из-под него за ноги вытащили.

— Кого его?

— Известно кого... На ком верхом сидел...

— Кто?

— Да этот самый, про кого сказываю.

— Тьфу! Говори, дурак, толком! Отвечай ты мне на вопросы, а не болтай зря!

— Я тебе, вашескородие, толком говорю... все, как есть, по совести. Дрыхунов учил бабу, это верно... Хоть под присягой.

Следователь слушает, выбирает кое-что из длинной и несвязной речи Филаретова и трещит пером... То и дело приходится зачеркивать.

— А я нисколько не виноват... — бормочет Филаретов.— Спроси, вашескородие, кого угодно. И баба того не стоит, чтоб из-за ней по судам ездить.

По прочтении протокола свидетель минуту тупо глядит на следователя и вздыхает.

— Горе с этими бабами! — хрипит он.— Прогоны, вашескородие, сам заплатишь или записочку дашь?

МУЖ

N-ский кавалерийский полк, маневрируя, остановился на ночевку в уездном городишке К. Такое событие, как ночевка господ офицеров, действует всегда на обывателей самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о сбыте лежалой заржавленной колбасы и «самых лучших» сардинок, которые лежат на полке уже десять лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи; воинский начальник, его делопроизводитель и местная гарниза надевают лучшие мундиры; полиция снует, как угорелая, а с дамами делается черт знает что!

К-ские дамы, заслышав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свое дезабилье и растрепанный вид, тяжело дыша и замирая, они стремились навстречу полку и жадно вслушивались в звуки марша. Глядя на их бледные, вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки неслись не из солдатских труб, а с неба.

— Полк! — говорили они радостно.— Полк идет!

А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдет завтра же на рассвете? Когда потом гг. офицеры стояли среди площади и, заложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и вза-

пуски критиковали полк. Им было уже бог весть откуда известно, что командир женат, но не живет с женой, что у старшего офицера родятся ежегодно мертвые дети, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство. Известно им было все. Когда под окнами мелькнул рябой солдат в красной рубахе, они отлично знали, что это денщик подпоручика Рымзова бегает по городу и ищет для своего барина в долг английской горькой. Офицеров видели они только мельком и в спины, но уже решили, что между ними нет ни одного хорошенького и интересного... Наговорившись, они вытребовали к себе воинского начальника и старшин клуба и приказали им устроить во что бы то ни стало танцевальный вечер.

Желание их было исполнено. В девятом часу вечера на улице перед клубом гремел военный оркестр, а в самом клубе гг. офицеры танцевали с к-скими дамами. Дамы чувствовали себя на крыльях. Упоенные танцами, музыкой и звоном шпор, они всей душой отдались мимолетному знакомству и совсем забыли про своих штатских. Их отцы и мужья, отошедшие на самый задний план, толпились в передней около тощего буфета. Все эти казначеи, секретари и надзиратели, испитые, геморроидальные и мешковатые, отлично сознавали свою убогость и не входили в залу, а только издали поглядывали, как их жены и дочери танцевали с ловкими и стройными поручиками.

Между мужьями находился акцизный Кирилл Петрович Шаликов, существо пьяное, узкое и злое, с большой стриженой головой и с жирными отвислыми губами. Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего. Он стоял, прислонившись к косяку, и не отрывал глаз от своей жены. Его жена, Анна Павловна, маленькая брюнетка лет тридцати, длинноносая, с острым подбородком, напудренная и затянутая, танцевала без передышки, до упаду. Танцы утомили ее, но изнемогала она телом, а не душой... Вся ее фигура выражала восторг и наслаждение. Грудь ее волновалась, на щеках играли

красные пятнышки, все движения были томны, плавны; видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она танцевала в институте и мечтала о роскошной веселой жизни и когда была уверена, что у нее будет мужем непременно барон или князь.

Акцизный глядел на нее и морщился от злости... Ревности он не чувствовал, но ему неприятно было, во-первых, что благодаря танцам негде было играть в карты; во-вторых, он терпеть не мог духовой музыки; в-третьих, ему казалось, что гг. офицеры слишком небрежно и свысока обращаются со штатскими, а самое главное, в-четвертых, его возмущало и приводило в негодование выражение блаженства на женином лице...

— Глядеть противно! — бормотал он. — Скоро уже сорок лет, ни кожи ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась, завилась, корсет надела! Кокетничает, жеманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит... Ах, скажите, как вы прекрасны!

Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа.

— Конечно, где нам, мужикам! — злорадствовал акцизный.— Теперь мы за штатом... Мы тюлени, уездные медведи! А она царица бала; она ведь настолько еще сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могут. Пожалуй, и влюбиться не прочь.

Во время мазурки лицо акцизного перекосило от злости. С Анной Павловной танцевал мазурку черный офицер с выпученными глазами и с татарскими скулами. Он работал ногами серьезно и с чувством, делая строгое лицо, и так выворачивал колени, что походил на игрушечного паяца, которого дергают за ниточку. А Анна Павловна, бледная, трепещущая, согнув томно стан и закатывая глаза, старалась делать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко — на облаках! Не одно только лицо, но уже все тело выражало блаженство... Акцизному стало невыносимо; ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она

забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении...

— Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться! — бормотал он.— Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!

Мелкие чувства зависти, досады, оскорбленного самолюбия, маленького, уездного человеконенавистничества, того самого, которое заводится в маленьких чиновниках от водки и от сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши... Дождавшись конца мазурки, он вошел в залу и направился к жене. Анна Павловна сидела в это время с кавалером и, обмахиваясь веером, кокетливо щурила глаза и рассказывала, как она когда-то танцевала в Петербурге. (Губы у нее были сложены сердечком, и произносила она так: «У нас в Пютюрбюрге».)

— Анюта, пойдем домой! — прохрипел акцизный.

Увидев перед собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, как бы вспомнив, что у нее есть муж, потом вся вспыхнула; ей стало стыдно, что у нее такой испитой, угрюмый, обыкновенный муж...

— Пойдем домой! — повторил акцизный.

— Зачем? Ведь еще рано!

— Я прошу тебя идти домой! — сказал акцизный с расстановкой, делая злое лицо.

— Зачем? Разве что случилось? — встревожилась Анна Павловна.

— Ничего не случилось, но я желаю, чтоб ты сию минуту шла домой... Желаю, вот и все, и, пожалуйста, без разговоров.

Анна Павловна не боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и насмешливо поглядывал на акцизного. Она поднялась и отошла с мужем в сторону.

— Что ты выдумал? — начала она.— Зачем мне домой? Ведь еще и одиннадцати часов нет!

— Я желаю, и баста! Изволь идти — и все тут.

— Перестань выдумывать глупости! Ступай сам, если хочешь.

— Ну, так я скандал сделаю!

Акцизный видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены, как ей было стыдно и как она страдала — и у него стало как будто легче на душе.

— Зачем я тебе сейчас понадобилась? — спросила жена.

— Ты не нужна мне, но я желаю, чтоб ты сидела дома. Желаю, вот и все.

Анна Павловна не хотела и слушать, потом начала умолять, чтобы муж позволил ей остаться еще хоть полчаса; потом, сама не зная зачем, извинялась, клялась — и все это шепотом, с улыбкой, чтобы публика не подумала, что у нее с мужем недоразумение. Она стала уверять, что останется еще недолго, только десять минут, только пять минут; но акцизный упрямо стоял на своем.

— Как хочешь, оставайся! Только я скандал сделаю.

И, разговаривая теперь с мужем, Анна Павловна осунулась, похудела и постарела. Бледная, кусая губы и чуть не плача, она пошла в переднюю и стала одеваться...

— Куда же вы? — удивлялись к-ские дамы. — Анна Павловна, куда же вы это, милочка?

— Голова заболела,— говорил за жену акцизный.

Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную фигурку, припоминал блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, когда вот идешь в потемках по улице и слышишь, как всхлипывает под ногами грязь, и когда знаешь, что проснешься завтра утром,— и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно!

А Анна Павловна едва шла... Она была все еще под впечатлением танцев, музыки, разговоров, блеска, шума;

она шла и спрашивала себя: за что ее покарал так господь бог? Было ей горько, обидно и душно от ненависти, с которой она прислушивалась к тяжелым шагам мужа. Она молчала и старалась придумать какое-нибудь самое бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы пустить его мужу, и в то же время сознавала, что ее акцизного не проймешь никакими словами. Что ему слова? Беспомощнее состояния не мог бы придумать и злейший враг.

А музыка между тем гремела, и потемки были полны самых плясовых, зажигательных звуков.

Софья Петровна, жена нотариуса Лубянцева, красивая молодая женщина лет двадцати пяти, тихо шла по лесной просеке со своим соседом по даче, присяжным поверенным Ильиным. Был пятый час вечера. Над просекой сгустились белые пушистые облака; из-под них кое-где проглядывали ярко-голубые клочки неба. Облака стояли неподвижно, точно зацепились за верхушки высоких старых сосен. Было тихо и душно.

Вдали просека перерезывалась невысокой железнодорожной насыпью, по которой на этот раз шагал для чего-то часовой с ружьем. Тотчас же за насыпью белела большая шестиглавая церковь с поржавленной крышей...

— Я не ожидала встретиться здесь с вами,— говорила Софья Петровна, глядя в землю и трогая концом зонта прошлогодние листья,— и теперь рада, что встретилась. Мне нужно говорить с вами серьезно и окончательно. Прошу вас, Иван Михайлович, если вы действительно любите меня и уважаете, то прекратите вы ваши преследования! Вы ходите за мной, как тень, вечно смотрите на меня нехорошими глазами, объясняетесь в любви, пишете странные письма, и... и я не знаю, когда все это кончится! Ну, к чему все это поведет, господи боже мой?

Ильин молчал. Софья Петровна прошла несколько шагов и продолжала:

— И эта резкая перемена произошла в вас в какие-нибудь две-три недели, после пятилетнего знакомства. Не узнаю вас, Иван Михайлович!

Софья Петровна искоса взглянула на своего спутника. Он внимательно, щуря глаза, глядел на пушистые облака. Выражение лица его было злое, капризное и рассеянное, как у человека, который страдает и в то же время обязан слушать вздор.

— Удивительно, как это вы сами не можете понять! — продолжала Лубянцева, пожав плечами.— Поймите, что вы затеваете не совсем красивую игру. Я замужем, люблю и уважаю своего мужа... у меня есть дочь... Неужели вы это ни во что не ставите? Кроме того, вам, как моему старинному приятелю, известен мой взгляд на семью... на семейные основы вообще...

Ильин досадливо крякнул и вздохнул.

— Семейные основы...— пробормотал он.— О господи!

— Да, да... Я люблю мужа, уважаю и, во всяком случае, дорожу покоем семьи. Скорей я позволю убить себя, чем быть причиной несчастья Андрея и его дочери... И я прошу вас, Иван Михайлович, ради бога, оставьте меня в покое. Будемте по-прежнему добрыми и хорошими друзьями, а эти вздохи да ахи, которые вам не к лицу, бросьте. Решено и кончено! Больше ни слова об этом. Давайте говорить о чем-нибудь другом.

Софья Петровна опять покосилась на лицо Ильина. Ильин глядел вверх, был бледен и сердито кусал дрожавшие губы. Лубянцевой было непонятно, на что он злился и чем возмущался, но его бледность тронула ее.

— Не сердитесь же, будемте друзьями...— сказала она ласково.— Согласны? Вот вам моя рука.

Ильин взял ее маленькую пухлую руку в свои обе, помял ее и медленно поднес к губам.

— Я не гимназист,— пробормотал он.— Меня нимало не соблазняет дружба с любимой женщиной.

— Довольно, довольно! Решено и кончено. Мы дошли до скамьи, давайте сядемте...

Душу Софьи Петровны наполнило сладкое чувство отдыха: самое трудное и щекотливое было уже сказано, мучительный вопрос решен и кончен. Теперь уж она могла легко вздохнуть и глядеть Ильину прямо в лицо. Она глядела на него, и эгоистическое чувство превосходства любимой женщины над влюбленным при-

ятно ласкало ее. Ей нравилось, как этот сильный, громадный мужчина, с мужественным, злым лицом и с большой черной бородой, умный, образованный и, как говорят, талантливый, послушно сел рядом с ней и понурил голову. Минуты две-три сидели они молча.

— Ничего еще не решено и не кончено...— начал Ильин.— Вы мне словно из прописи читаете: «Люблю и уважаю мужа... семейные основы...» Все это я и без вас знаю и могу сказать вам больше. Искренно и честно говорю вам, что это мое поведение я считаю преступным и безнравственным. Чего, кажется, больше? Но к чему говорить то, что уже всем известно? Вместо того чтобы кормить соловья жалкими словами, вы бы лучше научили меня: что мне делать?

— Я уже говорила вам: уезжайте!

— Я уже — вы это отлично знаете — уезжал пять раз и всякий раз возвращался с полдороги! Я могу показать вам билеты прямого сообщения — все они у меня целы. Нет воли бежать от вас! Я борюсь, страшно борюсь, но куда к черту я годен, если во мне нет закала, если я слаб, малодушен! Не могу я с природой бороться! Понимаете? Не могу! Я бегу отсюда, а она меня за фалды держит. Пошлое, гнусное бессилие!

Ильин покраснел, встал и заходил около скамьи.

— Как собака злюсь! — проворчал он, сжимая кулаки.— Ненавижу себя и презираю! Боже мой, как развратный мальчишка волочусь за чужой женой, пишу идиотские письма, унижаюсь... эхх!

Ильин схватил себя за голову, крякнул и сел.

— А тут еще ваша неискренность! — продолжал он с горечью.— Если вы против моей некрасивой игры, то зачем же вы сюда пришли? Что тянуло вас сюда? В своих письмах я прошу у вас только категорического, прямого ответа — да или нет, а вы вместо прямого ответа норовите каждый день «нечаянно» встретиться со мной и угощаете меня цитатами из прописей!

Лубянцева испугалась и вспыхнула. Она вдруг почувствовала неловкость, какую порядочным женщинам приходится испытывать, когда их нечаянно застают неодетыми.

— Вы словно подозреваете с моей стороны игру...— забормотала она.— Я всегда давала вам прямой ответ и... и сегодня просила вас!

— Ах, да разве в таких делах просят? Если бы вы сразу сказали «подите прочь!» — меня давно бы здесь не было, но вы не сказали мне этого. Ни разу вы не ответили мне прямо. Странная нерешительность! Ей-богу, вы или играете мной, или же...

Ильин не договорил и подпер голову кулаками. Софья Петровна стала припоминать свое поведение от начала до конца. Она помнила, что все дни она не только на деле, но даже в своих сокровенных мыслях была против ухаживаний Ильина, но в то же время чувствовала, что в словах адвоката есть доля правды. И не зная, какова эта правда, она, как ни думала, не нашлась, что сказать Ильину в ответ на его жалобу. Неловко было молчать, и она сказала, пожав плечами:

— Я же еще и виновата.

— Не ставлю я вам в вину вашу неискренность,— вздохнул Ильин.— Это я так, к слову пришлось... Ваша неискренность и естественна и в порядке вещей. Если бы все люди сговорились и стали вдруг искренни, то все бы у них пошло к черту прахом.

Софье Петровне было не до философии, но она обрадовалась случаю переменить разговор и спросила:

— То есть почему же?

— А потому, что искренни одни только дикари да животные. Раз цивилизация внесла в жизнь потребность в таком комфорте, как, например, женская добродетель, то уж тут искренность неуместна...

Ильин сердито ковырнул тростью по песку. Лубянцева слушала его, многого не понимала, но разговор его нравился ей. Ей прежде всего нравилось, что с нею, с обыкновенной женщиной, талантливый человек говорит «об умном»; затем ей доставляло большое удовольствие глядеть, как двигалось бледное, живое и все еще сердитое молодое лицо. Многого она не понимала, но для нее ясна была эта красивая смелость современного человека, с какою он, не задумываясь и ничтоже сумняся, решает большие вопросы и строит окончательные выводы.

Она вдруг спохватилась, что любуется им, и испугалась.

— Простите, но я не понимаю,— поторопилась она сказать,— зачем вы заговорили о неискренности? Повторяю еще раз мою просьбу: будьте хорошим, добрым другом, оставьте меня в покое! Искренно прошу!

— Хорошо, буду еще бороться! — вздохнул Ильин.— Рад стараться... Только едва ли выйдет что-нибудь из моей борьбы. Или пулю пущу себе в лоб, или же... запью самым дурацким образом. Несдобровать мне! Все имеет свою меру, борьба с природой тоже. Скажите, как можно бороться с сумасшествием? Если вы выпьете вина, то как вы превозможете возбуждение? Что я могу поделать, если ваш образ прирос к моей душе и неотвязчиво, день и ночь, стоит перед моими глазами, как сейчас вот эта сосна? Ну, научите же, какой подвиг я должен совершить, чтобы избавиться от этого мерзкого, несчастного состояния, когда все мои мысли, желания, сны принадлежат не мне, а какому-то демону, который засел в меня? Я люблю вас, люблю до того, что выбился из колеи, бросил дело и близких людей, забыл своего бога! Никогда в жизни я не любил так!

Софья Петровна, не ожидавшая такого перехода, подалась корпусом от Ильина и с испугом поглядела на его лицо. У него на глазах выступили слезы, губы дрожали, и по всему лицу было разлито какое-то голодное, умоляющее выражение.

— Я люблю вас! — бормотал он, приближая свои глаза к ее большим испуганным глазам.— Вы так прекрасны! Страдаю я сейчас, но, клянусь, всю жизнь я просидел бы так, страдая и глядя в ваши глаза. Но... молчите, умоляю вас!

Софья Петровна, словно застигнутая врасплох, стала быстро-быстро придумывать слова, какими бы она могла остановить Ильина. «Уйду!» — решила она, но не успела она сделать движения, чтобы подняться, как Ильин стоял уже на коленях у ее ног... Он обнимал ее колени, глядел ей в лицо и говорил страстно, горячо, красиво. В страхе и чаду она не слыхала его слов; почему-то теперь, в этот опасный момент, когда колени ее приятно пожимались, как в теплой ванне, она с ка-

ким-то злым ехидством искала в своих ощущениях смысла. Злилась она, что всю ее, вместо протестующей добродетели, наполняли бессилие, лень и пустота, как у пьяного, которому море по колено; лишь в глубине души какой-то отдаленный кусочек злорадно поддразнивал: «Отчего же не уходишь? Значит, это так и должно быть? Да?»

Ища в себе смысла, она не понимала, как это она не отдернула руки, к которой пиявкой присосался Ильин, и чего ради она поторопилась взглянуть в одно время с Ильиным направо и налево, не глядит ли кто-нибудь? Сосны и облака стояли неподвижно и глядели сурово, на манер старых дядек, видящих шалость, но обязавшихся за деньги не доносить начальству. Часовой столбом стоял на насыпи и, кажется, глядел на скамью.

«Пусть глядит!» — подумала Софья Петровна.

— Но... но послушайте! — проговорила она наконец с отчаянием в голосе. — К чему же это поведет? Что потом будет?

— Не знаю, не знаю...— зашептал он, отмахиваясь рукой от неприятных вопросов.

Послышался сиплый, дребезжащий свист локомотива. Этот посторонний холодный звук обыденной прозы заставил Лубянцеву встрепенуться.

— Мне некогда... пора! — сказала она, быстро поднимаясь.— Поезд идет... Андрей едет! Ему нужно обедать.

Софья Петровна обратилась пылающим лицом к насыпи. Сначала медленно прополз локомотив, за ним показались вагоны. Это был не дачный поезд, как думала Лубянцева, а товарный. Длинной вереницей один за другим, как дни человеческой жизни, потянулись по белому фону церкви вагоны, и, казалось, конца им не было!

Но вот наконец поезд кончился и последний вагон с фонарями и кондуктором исчез за зеленью. Софья Петровна резко повернулась и, не глядя на Ильина, быстро пошла назад по просеке. Она уже владела собой. Красная от стыда, оскорбленная не Ильиным, нет, а своим собственным малодушием, своим бесстыдством, с каким она, нравственная и чистоплотная, позволила чужому обнимать ее колена, она теперь об одном только

и думала, как бы скорее дойти до своей дачи, до семьи. Адвокат едва поспевал за ней. Поворачивая с просеки на узкую тропинку, она оглянулась на него так быстро, что увидела только песок на его коленях, и махнула ему рукой, чтобы он оставил ее.

Прибежав домой, Софья Петровна минут пять стояла неподвижно в своей комнате и глядела то на окно, то на свой письменный стол...

— Мерзавка! — бранила она себя.— Мерзавка!

Назло себе, она во всех подробностях, ничего не утаивая, припомнила, что все эти дни она была против ухаживаний Ильина, но что ее *тянуло* идти объясниться с ним; мало того, когда он валялся у ее ног, то она чувствовала необыкновенное наслаждение. Припомнила она все, не жалея себя, и теперь, задыхаясь от стыда, была бы рада надавать себе пощечин.

«Бедный Андрей, — думала она, стараясь при воспоминании о муже придать своему лицу возможно нежное выражение.— Варя, бедная моя девочка, не знает, какая у нее мать! Простите меня, милые! Я вас люблю очень... очень!»

И, желая доказать самой себе, что она еще хорошая жена и мать, что порча еще не коснулась тех ее «основ», о которых она говорила Ильину, Софья Петровна побежала в кухню и раскричалась там на кухарку за то, что та не собирала еще на стол для Андрея Ильича. Она постаралась представить себе утомленный и голодный вид мужа, вслух пожалела его и собственноручно собрала для него на стол, чего раньше никогда не делала. Потом она нашла свою дочку Варю, подняла ее на руки и горячо обняла; девочка показалась ей тяжелой и холодной, но она не хотела сознаться себе в этом и принялась объяснять ей, как хорош, честен и добр ее папа.

Зато, когда вскоре приехал Андрей Ильич, она едва поздоровалась с ним. Наплыв напускных чувств уже прошел, ничего ей не доказав, а только раздражив и озлив ее своею ложью. Она сидела у окна, страдала и злилась. Только в беде люди могут понять, как не легко быть хозяином своих чувств и мыслей. Софья Петровна потом рассказывала, что в ней происходила «путаница, в которой так же было трудно разобраться,

как сосчитать быстро летящих воробьев». Из того, например, что она не обрадовалась приходу мужа, что ей не понравилось, как он держал себя за обедом, она вдруг заключила, что в ней начинается ненависть к мужу.

Андрей Ильич, томный от голода и утомления, в ожидании, пока ему подадут суп, набросился на колбасу и ел ее с жадностью, громко жуя и двигая висками.

«Боже мой,— думала Софья Петровна,— я люблю его и уважаю, но... зачем он так противно жует?»

В мыслях происходил беспорядок не меньший, чем в чувствах. Лубянцева, как и все неопытные в борьбе с неприятными мыслями, из всех сил старалась не думать о своей беде, и чем усерднее она старалась, тем рельефнее выступал в ее воображении Ильин, песок на его коленях, пушистые облака, поезд...

«И зачем я, глупая, пошла сегодня? — мучилась она.— И неужели я такая, что мне нельзя ручаться за себя?»

У страха глаза велики. Когда Андрей Ильич доедал последнее блюдо, она уже была полна решимости: рассказать все мужу и бежать от опасности!

— Мне, Андрей, нужно поговорить с тобой серьезно,— начала она после обеда, когда ее муж снимал сюртук и сапоги, чтобы лечь отдохнуть.

— Ну?

— Уедем отсюда!

— Гм... куда? В город еще рано.

— Нет, путешествовать или что-нибудь вроде...

— Путешествовать... — пробормотал нотариус, потягиваясь.— Я и сам об этом мечтаю, да где взять денег и на кого я контору оставлю?

И, подумав немного, он прибавил:

— Действительно, тебе скучно. Поезжай сама, если хочешь!

Софья Петровна согласилась, но тотчас же сообразила, что Ильин обрадуется случаю и поедет с ней в одном поезде, в одном вагоне... Она думала и глядела на своего мужа, сытого, но все еще томного. Почему-то взгляд ее остановился на его ногах, миниатюрных, почти женских, обутых в полосатые носки; на кончиках обоих носков торчали ниточки...

За спущенной шторой бился о стекло и жужжал шмель. Софья Петровна глядела на ниточки, слушала шмеля и представляла себе, как она едет... Vis-à-vis [1] день и ночь сидит Ильин, не сводящий с нее глаз, злой на свое бессилие и бледный от душевной боли. Он величает себя развратным мальчишкой, бранит ее, рвет у себя волосы на голове, но, дождавшись темноты и улучив время, когда пассажиры засыпают или выходят на станцию, падает перед ней на колени и сжимает ей ноги, как тогда у скамьи...

Она спохватилась, что мечтает...

— Послушай, одна я не поеду! — сказала она.— Ты должен со мной ехать!

— Фантазия, Софочка! — вздохнул Лубянцев.— Надо быть серьезной и желать только возможного.

«Поедешь, когда узнаешь!» — подумала Софья Петровна.

Решив уехать во что бы то ни стало, она почувствовала себя вне опасности; мысли ее мало-помалу пришли в порядок, она повеселела и даже позволила себе обо всем думать; как ни думай, ни мечтай, а все равно ехать! Пока спал муж, мало-помалу наступал вечер... Она сидела в гостиной и играла на пианино. Вечернее оживление за окнами, звуки музыки, но, главное— мысль, что она умница, справилась с бедой, окончательно развеселили ее. Другие женщины,— говорила ей покойная совесть,— в ее положении наверное бы не устояли и закружились вихрем, а она едва не сгорела со стыда, страдала и теперь бежит от опасности, которой, быть может, и нет! Так ее умиляли ее добродетель и решимость, что она даже раза три на себя в зеркало взглянула.

Когда стемнело, пришли гости. Мужчины сели в столовой играть в карты, дамы заняли гостиную и террасу. Позднее всех явился Ильин. Он был печален, угрюм и как будто болен. Как сел в угол дивана, так не поднимался во весь вечер. Обыкновенно веселый и разговорчивый, на этот раз он все время молчал, хмурился и почесывал около глаз. Когда приходилось отве-

[1] Напротив (*франц.*).

чать на чей-нибудь вопрос, он через силу улыбался одной только верхней губой и отвечал отрывисто, со злобой. Раз пять он сострил, но остроты его вышли жестки и дерзки. Софье Петровне казалось, что он близок к истерике. Только теперь, сидя за пианино, она впервые ясно сознавала, что этому несчастному человеку не до шуток, что он болен душой и не находит себе места. Ради нее он губит лучшие дни своей карьеры и молодости, тратит последние деньги на дачу, бросил на произвол судьбы мать и сестер, но главное — изнемогает в мученической борьбе с самим собою. Из простого обиходного человеколюбия следовало бы отнестись к нему серьезно...

Она сознала все это ясно, до боли в сердце, и если бы в это время она подошла к Ильину и сказала ему «нет!», то в голосе ее была бы сила, которой трудно было бы ослушаться. Но она не подошла и не сказала, да и не подумала об этом... Мелочность и эгоизм молодой натуры никогда, кажется, не сказались в ней так сильно, как в этот вечер. Она сознавала, что Ильин несчастлив и сидит на диване, как на угольях, ей было больно за него, но в то же время присутствие человека, который любит ее до страдания, наполняло ее душу торжеством, ощущением своей силы. Она чувствовала свою молодость, красоту, неприступность и — благо решила уехать! — дала себе в этот вечер волю. Она кокетничала, без умолку хохотала, пела с особенным чувством и вдохновенно. Все ее веселило, и все ей было смешно. Смешило ее воспоминание о случае у скамьи, о глядевшем часовом. Смешны ей были гости, дерзкие остроты Ильина, булавка на его галстуке, которой она раньше никогда не видала. Булавка изображала красную змейку с алмазными глазками; так смешна казалась ей эта змейка, что она готова была бы расцеловать ее.

Пела Софья Петровна романсы нервно, с каким-то полупьяным задором и, словно поддразнивая чужое горе, выбирала грустные, меланхолические, где толковалось об утраченных надеждах, о прошлом, о старости... «А старость подходит все ближе и ближе...» — пела она. А какое ей было дело до старости?

«Кажется, во мне происходит что-то неладное...» — изредка думала она сквозь смех и пение.

Гости разошлись в двенадцать часов. Последним ушел Ильин. У Софьи Петровны хватило еще задора проводить его до нижней ступени террасы. Ей захотелось объявить ему, что она уезжает с мужем, и поглядеть, какой эффект произведет на него это известие.

Луна пряталась за облаками, но было настолько светло, что Софья Петровна видела, как ветер играл полами его пальто и драпировкой террасы. Видно было также, как был бледен Ильин и как он, силясь улыбнуться, кривил верхнюю губу...

— Соня, Сонечка... дорогая моя женщина! — забормотал он, мешая ей говорить.— Милая моя, хорошая!

В припадке нежности, со слезами в голосе он сыпал ей ласкательные слова, одно другого нежнее, и уже пускал ей «ты», как жене или любовнице. Неожиданно для нее он вдруг одной рукой обнял ее за талию, а другой взял за локоть.

— Дорогая, прелесть моя...— зашептал он, целуя ее, в шею около затылка,— будь искренна, приходи сейчас ко мне!

Она выскользнула из его объятий и подняла голову, чтобы разразиться негодованием и возмутиться, но негодование не вышло, и всей ее хваленой добродетели и чистоты хватило только на то, чтобы сказать фразу, какую говорят при подобных обстоятельствах все обыкновенные женщины:

— Вы с ума сошли!

— Право, пойдем! — продолжал Ильин.— Сейчас, и там, около скамьи, я убедился, что вы, Соня, так же бессильны, как и я... Несдобровать и вам! Вы меня любите и теперь бесплодно торгуетесь со своею совестью...

Видя, что она уходит от него, он схватил ее за кружевной рукавчик и быстро договорил:

— Не сегодня, так завтра, а уступить придется! К чему же эта проволочка во времени? Моя дорогая, милая Соня, приговор прочтен, к чему же откладывать его исполнение? Зачем себя обманывать?

Софья Петровна вырвалась от него и юркнула в дверь. Вернувшись в гостиную, она машинально закрыла пианино, долго глядела на нотную виньетку и села. Не могла она ни стоять, ни думать... От возбуждения и задора осталась в ней одна только страшная слабость с ленью и скукой. Совесть шептала ей, что вела она себя в истекший вечер дурно, глупо, как угорелая девчонка, что сейчас она обнималась на террасе и даже теперь чувствует в талии и около локтя какую-то неловкость. В гостиной не было ни души, горела одна только свеча. Лубянцева сидела на круглом табурете перед пианино, не шевелясь, чего-то выжидая. И словно пользуясь ее крайним изнеможением и темнотой, ею начало овладевать тяжелое, непреодолимое желание. Как удав, сковывало оно ее члены и душу, росло с каждой секундой и уж не грозило, как раньше, а стояло перед ней ясное, во всей своей наготе.

Полчаса сидела она, не шевелясь и не мешая себе думать об Ильине, потом лениво встала, поплелась в спальню. Андрей Ильич уж был в постели. Она села у открытого окна и отдалась желанию. «Путаницы» в голове уже не было у нее, все чувства и мысли дружно теснились около одной ясной цели. Попробовала она было бороться, но тотчас же махнула рукой... Ей теперь понятно было, как силен и неумолим враг. Чтобы бороться с ним, нужна сила и крепость, а рождение, воспитание и жизнь не дали ей ничего, на что бы она могла опереться.

«Безнравственная! Мерзкая! — грызла она себя за свое бессилие.— Так вот ты какая?»

До того возмущалась этим бессилием ее оскорбленная порядочность, что она обозвала себя всеми ругательными словами, какие только знала, и наговорила себе много обидных, унижающих истин. Так, она сказала себе, что она никогда не была нравственной, не падала раньше только потому, что предлога не было, что целодневная борьба ее была забавой и комедией...

«Допустим, что и боролась,— думала она,— но что это за борьба! И продажные борются, прежде чем продаться, а все-таки продаются. Хороша борьба: как молоко, в один день свернулась! В один день!»

Уличила себя она в том, что не чувство тянет ее из дому, не личность Ильина, а ощущения, которые ждут ее впереди... Дачная, гулящая барыня, каких много!

— «Как ма-ать убили у ма-алого птенца»,— пропел кто-то за окном сиплым тенором.

«Если идти, так пора уж»,— подумала Софья Петровна. Сердце ее вдруг забилось с страшной силой.

— Андрей! — почти крикнула она.— Послушай, мы... мы поедем? Да?

— Да... Я уже сказал тебе: поезжай сама!

— Но послушай...— выговорила она,— если ты со мной не поедешь, то рискуешь потерять меня! Я, кажется, уж... влюблена!

— В кого? — спросил Андрей Ильич.

— Для тебя должно быть все равно в кого! — крикнула Софья Петровна.

Андрей Ильич поднялся, свесил ноги и с удивлением поглядел на темную фигуру жены.

— Фантазия! — зевнул он.

Ему не верилось, но он все-таки испугался. Подумав и задав жене несколько неважных вопросов, он высказал свой взгляд на семью, на измену... поговорил вяло минут десять и лег. Сентенция его не имела успеха. Много на этом свете взглядов, и добрая половина их принадлежит людям, не бывавшим в беде!

Несмотря на позднее время, за окнами еще двигались дачники. Софья Петровна набросила на себя легкую тальму, постояла, подумала... У нее хватило еще решимости сказать сонному мужу:

— Ты спишь? Я иду пройтись... Хочешь со мной?

Эта была последняя ее надежда. Не получив ответа, она вышла. Было ветрено и свежо. Она не чувствовала ни ветра, ни темноты, а шла и шла... Непреодолимая сила гнала ее, и, казалось, остановись она, ее толкнуло бы в спину.

— Безнравственная! — бормотала она машинально.— Мерзкая!

Она задыхалась, сгорала со стыда, не ощущала под собой ног, но то, что толкало ее вперед, было сильнее и стыда ее, и разума, и страха...

РОЗОВЫЙ ЧУЛОК

Пасмурный, дождливый день. Небо надолго заволокло тучами, и дождю конца не предвидится. На дворе слякоть, лужи, мокрые галки, а в комнатах сумерки и такой холод, что хоть печи топи.

Иван Петрович Сомов шагает по своему кабинету из угла в угол и ворчит на погоду. Дождевые слезы на окнах и комнатные сумерки нагоняют на него тоску. Ему невыносимо скучно, а убить время нечем... Газет еще не привозили, на охоту идти нет возможности, обедать еще не скоро...

В кабинете Сомов не один. За его письменным столом сидит m-me Сомова, маленькая, хорошенькая дамочка в легкой блузе и в розовых чулочках. Она усердно строчит письмо. Проходя мимо нее, шагающий Иван Петрович всякий раз засматривает через ее плечо на писанье. Он видит крупные, хромающие буквы, узкие и тощие, с невозможными хвостами и закорючками. Клякс, помарок и следов от пальцев многое множество. Переносов m-me Сомова не любит, и каждая строка ее, дойдя до края листка, со страшными корчами, водопадом падает вниз...

— Лидочка, кому это ты так много пишешь? — спрашивает Сомов, видя, как его жена начинает строчить по шестому листку.

— К сестре Варе...

— Гм... длинно! Дай-ка скуки ради почитать!

— Возьми читай, только тут ничего нет интересного...

Сомов берет написанные листки и, продолжая шагать, принимается за чтение. Лидочка облокачивается о спинку кресла и следит за выражением его лица. После первой же странички лицо его вытягивается и выражает что-то похожее на оторопь... На третьей страничке Сомов морщится и медленно чешет затылок. На четвертой он останавливается, пугливо взглядывает на жену и задумывается. Немного подумав, он со вздохом опять принимается за чтение... Лицо его выражает недоумение и даже испуг...

— Нет, это невозможно! — бормочет он, кончив чтение и швыряя листки на стол.— Решительно невозможно!

— Что такое? — пугается Лидочка.

— Что такое! Исписала шесть страничек, потратила на писанье битых два часа и... и хоть бы тебе что! Хоть бы одна мыслишка! Читаешь-читаешь, и какое-то затмение находит, словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь! Уф!

— Да, это правда, Ваня...— говорит Лидочка краснея.— Я небрежно писала...

— Кой черт небрежно? В небрежном письме смысл и лад есть, есть содержание, а у тебя... извини, даже названия подобрать не могу! Сплошная белиберда! Слова и фразы, а содержания ни малейшего. Все твое письмо похоже точь-в-точь на разговор двух мальчишек: «А у нас блины none! — А к нам солдат пришел!» Мочалу жуешь! Тянешь, повторяешься... Мысленки прыгают, как черти в решете: не разберешь, где что начинается, где что кончается... Ну, можно ли так?

— Если б я со вниманием писала,— оправдывается Лидочка,— тогда бы не было ошибок...

— Ах, об ошибках я уж и не говорю! Кричит бедная грамматика! Что ни строчка, то личное для нее оскорбление! Ни запятых, ни точек, а *ять*... бррр! Земля пишется не через *ять*, а через *е*. А почерк? Это не почерк, а отчаяние! Не шутя говорю, Лида... Меня и изумило и поразило это твое письмо... Ты не сердись, голубчик, но я, ей-богу, не думал, что в грамматике ты такая сапожница... А между тем ты по своему положению принадлежишь к образованному, интеллигентному кругу, ты

жена университетского человека, дочь генерала! Послушай, ты училась где-нибудь?

— А как же? Я в пансионе фон Мебке кончила...

Сомов пожимает плечами и, вздохнув, продолжает шагать. Лидочка, сознавая свое невежество и стыдясь, тоже вздыхает и потупляет глазки... Минут десять проходит в молчании...

— Послушай, Лидочка, ведь это, в сущности, ужасно! — говорит Сомов, вдруг останавливаясь перед женой и с ужасом глядя на ее лицо.— Ведь ты мать... понимаешь? мать! Как же ты будешь детей учить, если сама ничего не знаешь? Мозг у тебя хороший, но что толку в нем, если он не усвоил себе даже элементарных знаний? Ну, плевать на знания... знания дети и в школе получат, но ведь ты и по части морали хромаешь! Ты ведь иногда такое ляпнешь, что уши вянут!

Сомов опять пожимает плечами, запахивается в полы халата и продолжает шагать... Ему и досадно, и обидно, и в то же время жаль Лидочку, которая не протестует, а только глазами моргает... Обоим тяжело и горько... Оба и не замечают за горем, как бежит время и приближается час обеда...

Садясь обедать, Сомов, любящий поесть вкусно и покойно, выпивает большую рюмку водки и начинает разговор на другую тему. Лидочка слушает его, поддакивает, но вдруг во время супа глаза ее наливаются слезами, и она начинает хныкать.

— Это мать виновата! — говорит она, вытирая слезы салфеткой.— Все советовали ей отдать меня в гимназию, а из гимназии я наверное бы пошла на курсы!

— На курсы... в гимназию...— бормочет Сомов.— Это уж крайности, матушка! Что хорошего быть синим чулком? Синий чулок... черт знает что! Не женщина и не мужчина, а так, середка на половине, ни то ни се... Ненавижу синих чулков! Никогда бы не женился на ученой...

— Тебя не разберешь...— говорит Лидочка.— Сердишься, что я не ученая, и в то же время ненавидишь ученых; обижаешься, что у меня мыслей нет в письме, а сам против того, чтоб я училась.

— Ты к фразе придираешься, милочка,— зевает Сомов, наливая себе от скуки вторую рюмку...

Под влиянием выпитой водки и сытного обеда Сомов становится веселей, добрей и мягче... Он глядит, как его хорошенькая жена с озабоченным лицом приготовляет салат, и на него набегает порыв женолюбия, снисходительности, всепрощения...

«Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня...— думает он.— Зачем я наговорил ей столько жалких слов? Она, правда, глупенькая у меня, нецивилизованная, узенькая, но... ведь медаль имеет две стороны и audiatur et altera pars...[1] Быть может, тысячу раз правы те, которые говорят, что женское недомыслие зиждется на призвании женском... Призвана она, положим, мужа любить, детей родить и салат резать, так на кой черт ей знания? Конечно!»

Вспоминается ему при этом, как умные женщины вообще тяжелы, как они требовательны, строги и неуступчивы и как, напротив, легко жить с глупенькой Лидочкой, которая ни во что не суется, многого не понимает и не лезет с критикой. С Лидочкой и покойно и не рискуешь нарваться на контроль...

«Бог с ними, с этими умными и учеными женщинами! С простенькими лучше и спокойнее живется»,—думает он, принимая от Лидочки тарелку с цыпленком...

Вспоминает он, что у цивилизованного мужчины является иногда желание поболтать и поделиться мыслями с умной и ученой женщиной...

«Что ж? — думает Сомов.— Захочется поболтать об умном, пойду к Наталье Андреевне... или к Марье Францевне... Очень просто!»

---

[1] Да будет выслушана и другая сторона... (*лат.*)

СТРАДАЛЬЦЫ

Лизочка Кудринская, молоденькая дамочка, имеющая много поклонников, вдруг заболела, да так серьезно, что муж ее не пошел на службу и ее мамаше в Тверь была послана телеграмма. Историю своей болезни она рассказывает таким образом:

— Поехала я в Лесное к тете. Пожила я там неделю и потом со всеми отправилась к кузине Варе. Варин муж, вы знаете, бука и деспот (я застрелила бы такого мужа), но время мы провели там весело. Во-первых, я там участвовала в любительском спектакле. Шел «Скандал в благородном семействе». Хрусталев играл изумительно! Во время антракта я выпила холодной, ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку... Лимонная вода с коньяком очень похожа на шампанское... Выпила и ничего не почувствовала. На другой день после спектакля ездила я верхом с этим Адольфом Иванычем. Было немножко сыро, и меня продуло. Вероятно, я тогда же простудилась. Дня через три я поехала к себе домой посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася, и, кстати, взять шелковое платье, то самое, что цветочками. Васи, конечно, не застала дома. Пошла я в кухню сказать Прасковье, чтобы она поставила самовар, гляжу, а у ней на столе хорошенькие молоденькие репочки и морковочки, точно игрушечки. Я съела одну морковочку, ну, и репку. Очень немного съела, но, представьте, вдруг у меня начинается резь... Спазмы, спазмы, спазмы... Ах, умираю!

Прибегает со службы Вася. Натурально, хватает себя за волосы и бледнеет. Бегут за доктором... Понимаете? Умираю и умираю!

Спазмы начались в полдень, в третьем часу приезжал доктор, а в шесть Лизочка уснула и спала крепким сном до двух часов ночи.

Бьет два часа... Свет маленькой ночной лампы скудно пробивается сквозь голубой абажур. Лизочка лежит в постели. Ее белый кружевной чепчик резко вырисовывается на темном фоне красной подушки. На ее бледном лице и круглых, сдобных плечах лежат узорчатые тени от абажура. У ног сидит Василий Степанович, ее муж. Бедняга счастлив, что его жена наконец дома, и в то же время страшно напуган ее болезнью.

— Ну, как ты себя чувствуешь, Лизочка? — спрашивает он шепотом, заметив, что она проснулась.

— Мне лучше...— стонет Лизочка.— Спазмов уже не чувствую, но не спится... Не могу уснуть!

— Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компресс?

Лизочка приподнимается медленно, со страдальческим выражением и грациозно склоняет голову набок. Василий Степанович священнодейственно, едва касаясь пальцами горячего тела, переменяет компресс. Лизочка пожимается, смеется от холодной воды, которая щекочет ее, и опять ложится.

— Ты, бедный, не спишь! — стонет она.

— Могу ли я спать!

— Это у меня нервное, Вася. Я очень нервная женщина. Доктор прописал мне против желудка, но я чувствую, что он не понял моей болезни. Тут нервы, а не желудок, клянусь тебе, что это нервы. Одного только я боюсь, как бы моя болезнь не приняла дурного оборота.

— Нет, Лизочка, нет! Завтра же ты будешь здорова!

— Едва ли! За себя я не боюсь... мне все равно, даже я рада умереть, но мне тебя жаль! Вдруг ты овдовеешь и останешься один.

Васечка редко пользуется обществом жены и давно уже привык к одиночеству, но слова Лизочки его тревожат.

— Бог знает, что ты говоришь, мамочка! К чему эти мрачные мысли?

— Что ж? Поплачешь, погорюешь, а потом и привыкнешь. Даже женишься.

Муж хватает себя за голову.

— Ну, ну, не буду,— успокаивает его Лизочка.— Только ты должен быть ко всему готов.

«А вдруг я в самом деле умру!» — думает она, закрывая глаза.

И Лизочка рисует себе картину собственной смерти, как вокруг ее смертного одра теснятся мать, муж, кузина Варя с мужем, родня, поклонники ее «таланта», как она шепчет последнее «прости». Все плачут. Потом, когда она уже мертва, ее, интересно бледную, черноволосую, одевают в розовое платье (оно ей к лицу) и кладут в очень дорогой гроб на золотых ножках, полный цветов. Пахнет ладаном, трещат свечи. Муж не отходит от гроба, а поклонники таланта не отрывают от нее глаз: «Как живая! Она в гробу прекрасна!» Весь город говорит о безвременно угасшей жизни. Но вот ее несут в церковь. Несут: Иван Петрович, Адольф Иваныч, Варин муж, Николай Семеныч и тот черноглазый студент, который научил ее пить лимонную воду с коньяком. Жаль только, что не играет музыка. После панихиды — прощание. Церковь полна рыданиями. Приносят крышку с кистями и... Лизочка навеки расстается с дневным светом. Слышно, как прибивают гвозди. Стук, стук, стук!

Лизочка вздрагивает и открывает глаза.

— Вася, ты здесь? — спрашивает она.— У меня такие мрачные мысли. Боже, неужели я так несчастна, что не усну? Вася, пожалей меня, расскажи мне что-нибудь!

— Что же тебе рассказать?

— Что-нибудь... любовное,— говорит томно Лизочка.— Или расскажи что-нибудь из еврейского быта...

Василий Степанович, готовый на все, лишь бы только его жена была весела и не говорила о смерти, зачесывает над ушами пейсы, делает смешную физиономию и подходит к Лизочке.

— А вже не надо ли вам цасы поцинять? — спрашивает он.

— Надо, надо! — хохочет Лизочка и подает ему со столика свои золотые часы.— Починяй!

Вася берет часы, долго рассматривает механизм и, весь скорчившись, говорит:

— Нельжя их поцинять... Тут з одним колесом два жубцы нету.

В этом и заключается все представление. Лизочка хохочет и хлопает в ладоши.

— Отлично! — восклицает она.— Удивительно! Знаешь, Вася? Ты ужасно глупо делаешь, что не участвуешь в любительских спектаклях! У тебя замечательный талант! Ты гораздо лучше Сысунова. У нас участвовал в «Я именинник» любитель, некий Сысунов. Первоклассный комический талант! Представь: нос толстый, как брюква, глаза зеленые, а ходит, как журавль... Мы все хохотали. Постой, я покажу тебе, как он ходит.

Лизочка прыгает с кровати и начинает шагать по полу уже без чепчика, босая.

— Мое почтение! — говорит она басом, подражая мужскому голосу.— Что хорошенького? Что нового под луной? Ха-ха-ха! — хохочет она.

— Ха-ха-ха! — вторит Вася.

И оба супруга, хохоча, забыв про болезнь, гоняются друг за другом по спальне. Беготня кончается тем, что Вася ловит жену за сорочку и жадно осыпает ее поцелуями. После одного особенно страстного объятия Лизочка вдруг вспоминает, что она серьезно больна...

— Какие глупости! — говорит она, делая серьезное лицо и укрываясь одеялом.— Вероятно, ты забыл, что я больна! Умно, нечего сказать!

— Извини...— конфузится муж.

— Болезнь примет дурной оборот, вот ты и будешь виноват. Недобрый! Нехороший!

Лизочка закрывает глаза и молчит. Прежние томность и страдальческое выражение возвращаются к ней, опять слышатся легкие стоны. Вася переменяет компресс и, довольный, что его жена дома, а не в бегах у тети, смиренно сидит у ее ног. Не спит он до самого утра. В десять часов приходит доктор.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает он, щупая пульс.— Спали?

— Плохо,— отвечает за Лизочку муж.— Очень плохо!

Доктор отходит к окну и засматривается на прохожего трубочиста.

— Доктор, мне можно сегодня выпить кофе? — спрашивает Лизочка.

— Можно.

— А мне можно сегодня встать?

— Оно, пожалуй, можно, но... лучше полежите еще денек.

— Настроена она дурно...— шепчет Вася ему на ухо.— Мысли мрачные... мировоззрение какое-то. Я страшно за нее беспокоюсь!

Доктор садится за столик и, потерев ладонью лоб, прописывает Лизочке бромистого натрия, потом раскланивается и, пообещав побывать еще вечером, уезжает. Вася не идет на службу, а все сидит у ног жены... В полдень съезжаются поклонники таланта. Они встревожены, испуганы, привезли много цветов, французских книжек. Лизочка, одетая в белоснежный чепчик и легкую блузку, лежит в постели и смотрит загадочно, будто не верит в свое выздоровление. Поклонники таланта видят мужа, но охотно прощают ему его присутствие: их и его соединило у этого ложа одно несчастье!

В шесть часов вечера Лизочка засыпает и опять спит до двух часов ночи. Вася по-прежнему сидит у ее ног, борется с дремотой, переменяет компресс, изображает из еврейского быта, а утром, после второй страдальческой ночи, Лиза уже вертится перед зеркалом и надевает шляпку.

— Куда же ты, мой друг? — спрашивает Вася, глядя на нее умоляюще.

— Как? — удивляется Лизочка, делая испуганное лицо.— Разве ты не знаешь, что сегодня у Марьи Львовны репетиция?

Проводив ее, Вася от нечего делать, от скуки, берет свой портфель и едет на службу. От бессонных ночей у него болит голова, так болит, что левый глаз не слушается и закрывается сам собою...

— Что это с вами, батюшка мой? — спрашивает его начальник.— Что такое?

Вася машет рукой и садится.

— И не спрашивайте, ваше сиятельство,— говорит он со вздохом.— Столько я выстрадал за эти два дня... столько выстрадал! Лиза больна!

— Господи! — пугается начальник.— Лизавета Павловна? Что с ней?

Василий Степаныч только разводит руками и поднимает глаза к потолку, как бы желая сказать: «На то воля провидения!»

— Ах, мой друг, я могу сочувствовать вам всей душой! — вздыхает начальник, закатывая глаза.— Я, душа моя, потерял жену... понимаю. Это такая потеря... такая потеря! Это ужясно... Это ужясно! Надеюсь, теперь Лизавета Павловна здорова? Какой доктор лечит?

— Фон Штерк.

— Фон Штерк? Но вы бы лучше к Магнусу обратились или к Семандрицкому. На вас, однако, очень бледное лицо! Вы сами больной человек! Это ужясно!

— Да, ваше сиятельство... не спал... столько выстрадал... пережил!

— А приходил! Зачем же вы приходили, не понимаю? Разве можно себя заставлять? Разве так можно делать себе больно? Ходите домой и сидите там, пока не выздоровеете! Ходите, я приказываю вам! Усердие хорошее особенность молодого чиновника, но не надо забывать, как говорили римляне, mens sana in corpore sano [1], то есть здоровая голова в здоровом корпусе!

Вася соглашается, кладет бумаги обратно в портфель и, простившись с начальником, едет домой спать.

---

[1] здоровый дух в здоровом теле *(лат.)*.

ПАССАЖИР 1-го КЛАССА

Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше пяти минут, он поглядел маслеными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказал:

— Блаженныя памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, с тою, однако, разницею, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешаете поболтать с вами?

— Сделайте одолжение,— согласился vis-à-vis.

— После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски крупные мысли. Например-с, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. «Поздравляю, вы, говорит, уже известность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопические газетчики. Но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос, что̀, собственно, нужно разуметь под словом *слава* или *известность?* Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище, все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно, но никто еще не дал ясного, логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение!

— На что оно вам так понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что́ такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения,— сказал пассажир первого класса, подумав.— Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых-с, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка два великолепных мостов, соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии... Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии; занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею не замаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ, скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать, а известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.

— Почему знать? Может быть, вы и известны.

— Гм!.. А вот мы сейчас попробуем... Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова!

Vis-à-vis поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся.

— Нет, не слыхал...— сказал он.

— Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня — доказательство убедительное! Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.

— Какие же это настоящие способы?

— А черт их знает! Вы скажете: талант? гениальность? недюжинность? Вовсе нет, сударь мой... Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в тысячу раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались, а поглядите на них! Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах! Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К. мост. Надо вам сказать, скучища в этом паршивом К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну-с, дело прошлое, сошелся я там скуки ради с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички, по-моему же,— как вам сказать? — это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная, притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до пяти часов вечера — и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой,— это была ее профессия,— когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы черт знает как возмущала меня! Назваться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно, вся же прелесть ее «искусства» заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом — тьфу! Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня

великолепный! Не мост, а картина, один восторг! И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. «Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, беспокоился — увы! На меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны, на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела нет. И, черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась: шу-шу-шу... Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели»,— подумал я. Как же, держи карман! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя певичка, вслед за нею ватага шалопаев; в тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот: «Это такая-то... Прелестна! Обворожительна!» Тут и меня заметили... Двое каких-то молокососов,— должно быть, местные любители сценического искусства,— поглядели на меня, переглянулись и зашептали: «Это ее любовник!» Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре, с давно не бритой рожей, долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то... Голос у нее ниже всякой критики-с, но владеет она им в совершенстве!..

— Не можете ли вы сказать мне,— спросил я плюгавую фигуру,— кто строил этот мост?

— Право, не знаю! — отвечала фигура.— Инженер какой-то!

— А кто,— спрашиваю,— в вашем К. собор строил?

— И этого не могу вам сказать.

Далее я спросил, кто в К. считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор, и на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием.

— А скажите, пожалуйста,— спросил я в заключение,— с кем живет эта певица?

— С каким-то инженером Крикуновым.

Ну, сударь мой, как вам это понравится? Но далее...

Миннезингеров и баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освящения моста с жадностью хватаю местный «Вестник» и ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам и наконец— вот оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей, происходило освящение вновь построенного моста и т. д.». В конце же: «На освящении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица к—ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумеется, что появление ее произвело сенсацию. Звезда была одета, и т. д.». Обо мне же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Как это ни мелко, но, верите ли, я даже заплакал тогда от злости!

Успокоил я себя на том, что провинция-де глупа, с нее и требовать нечего, а что за известностью нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса.

Простился я с К. и поехал в Питер. От К. до Питера дорога длинная, и вот, чтоб скучно не было, я взял отдельное купе, ну... конечно, и певичку. Ехали мы и всю дорогу ели, шампанское пили и — тру-ла-ла! Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу: моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский и покупаю на семь гривен разных газет. Спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину — ничего! Пробегаю другую — ни боже мой! Наконец, в четвертой наскакиваю на такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку; ее прекрасная сценическая наружность...» — и не помню, что дальше! Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано: «Вчера на та-

ком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то». Только! И, вдобавок, еще мою фамилию переврали: вместо Крикунова написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все... Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты наперерыв толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству...

Несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более ста лет. Между делом я прочел там в одном из музеев пять публичных лекций с благотворительною целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов — про все есть, а о моем деле, проекте, о лекциях — ни гу-гу. А милая московская публика! Еду я на конке... Вагон битком набит: тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки — всякой твари по паре.

— Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу! — говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал.— Вы не знаете, как фамилия этого инженера?

Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком, и во всех взглядах я прочел «не знаю».

— Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее! — пристаю я к публике, желая завязать разговор.— Говорят, интересно!

Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело?

— Глядите, глядите! — затолкал меня сосед.— Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!

И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.

Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева — популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты!

Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.

— Да-с,— продолжал он свирепо,— и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!

Скрипнула дверь, пахнул сквозняк, и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это? — послышался робкий шепот из далекого угла вагона.— Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.

— Вот вам! — засмеялся пассажир первого класса.— Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает... Свинство!

Прошло минуты три в молчании.

— Позвольте вас спросить в свою очередь,— робко закашлял vis-à-vis,— вам известна фамилия Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова... Нет, не знаю!

— Это моя фамилия...— проговорил vis-à-vis конфузясь.— Стало быть, не знаете? А я уже тридцать пять лет состою профессором одного из русских университетов... член Академии наук-с... неоднократно печатался...

Пассажир первого класса и vis-à-vis переглянулись и принялись хохотать.

ТАЛАНТ

Художник Егор Саввич, живущий на даче у оберофицерской вдовы, сидит у себя на кровати и предается утренней меланхолии. На дворе скоро осень. Тяжелые, неуклюжие облака пластами облекли небо; дует холодный, пронзительный ветер, и деревья с жалобным плачем гнутся все в одну сторону. Видно, как кружатся в воздухе и по земле желтые листья. Прощай, лето! Эта тоска природы, если взглянуть на нее оком художника, в своем роде прекрасна и поэтична, но Егору Саввичу не до красот. Его съедает скука, и утешает его только одна мысль, что завтра он уже не будет на этой даче. Кровать, стулья, столы, пол — все завалено подушками, скомканными одеялами, корзинами. В комнатах не подметено, с окон содраны ситцевые занавески. Завтра переезжать в город!

Вдовы-хозяйки нет дома. Она поехала куда-то нанимать подводы, чтобы завтра перевозиться. Дочь ее Катя, девушка лет двадцати, пользуясь отсутствием строгой мамаши, давно уже сидит в комнате молодого человека. Завтра художник уезжает, а ей много нужно сказать ему. Она говорит, говорит и чувствует, что не сказала еще и десятой доли того, что следовало бы сказать. Глазами, полными слез, она глядит на его косматую голову, глядит и с грустью и с восторгом. А косматый Егор Саввич до безобразия, до звероподобия. Волосы до лопаток, борода растет из шеи, из ноздрей, из

ушей, глаза спрятались за густыми нависшими прядями бровей. Так густо, так перепуталось, что попадись в волоса муха или таракан, то не выбраться им из этого дремучего леса во веки веков. Егор Саввич слушает Катю, зевает. Он устал. Когда Катя начинает всхлипывать, он угрюмо взглядывает на нее сквозь нависшие брови, хмурится и говорит густым, тяжелым басом:

— Я не могу жениться.

— Почему же? — тихо спрашивает Катя.

— Потому что художнику и вообще человеку, живущему искусством, нельзя жениться. Художник должен быть свободен.

— Чем же я помешала бы вам, Егор Саввич?

— Я не про себя говорю, а вообще... Знаменитые писатели и художники никогда не женятся.

— И вы будете знаменитостью, я это отлично понимаю, но войдите же и в мое положение. Я боюсь мамаши... Она строгая и раздражительная. Как узнает, что вы на мне не женитесь, а так только... то и начнет меня изводить. О горе мое! А тут вы еще ей за квартиру не заплатили!

— Черт с ней, заплачу...

Егор Саввич поднимается и начинает ходить.

— За границу бы! — говорит он.

И художник рассказывает, что нет ничего легче, как съездить за границу. Для этого стоит только написать картину и продать.

— Конечно! — соглашается Катя.— Отчего же вы летом не писали?

— Да разве я могу в этом сарае работать? — говорит с досадой художник.— И где я здесь взял бы натурщиков?

Где-то внизу под полом ожесточенно хлопает дверь. Катя, с минуты на минуту ожидающая прихода матери, встает и убегает. Художник остается один. Долго он ходит из угла в угол, лавируя между стульями и грудами домашней рухляди. Слышно ему, как вернувшаяся вдова стучит посудой и громко бранит каких-то мужиков, запросивших с нее по два рубля с воза. С огорчения Егор Саввич останавливается перед шкафчиком и долго хмурится на графин с водкой.

— А, чтоб тебя подстрелило! — слышит он, как вдова набрасывается на Катю.— Погибели на тебя нету!

Художник выпивает рюмку, и мрачная туча на его душе мало-помалу проясняется, и он испытывает такое ощущение, точно у него в животе улыбаются все внутренности. Он начинает мечтать... Воображение его рисует, как он становится знаменитостью. Будущих произведений своих он представить себе не может, но ему ясно видно, как про него говорят газеты, как в магазинах продают его карточки, с какою завистью глядят ему вслед приятели. Он силится вообразить себя в богатой гостиной, окруженным хорошенькими поклонницами, но воображение рисует ему что-то туманное, неясное, так как он ни разу в жизни не видал гостиной; хорошенькие поклонницы также не выходят, потому что он, кроме Кати, отродясь не видал ни одной поклонницы, ни одной порядочной девушки. Люди, не знающие жизни, обыкновенно рисуют себе жизнь по книгам, но Егор Саввич не знал и книг; собирался было почитать Гоголя, но на второй же странице уснул...

— Не разгорается, чтоб он треснул! — орет где-то внизу вдова, ставя самовар.— Катька, подай угли!

Мечтающий художник чувствует потребность поделиться с кем-нибудь своими надеждами и мечтами. Он спускается вниз в кухню, где в самоварном чаду, около темной печи, копошатся толстая вдова и Катя. Здесь он садится на скамью около большого горшка и начинает:

— Хорошо быть художником! Куда хочу, туда иду; что хочу, то делаю. На службу не ходить, земли не пахать... Ни начальства у меня, ни старших... Сам я себе старший. И при всем том пользу приношу человечеству!

А после обеда он заваливается «отдохнуть». Обыкновенно спит он до вечерних потемок; но на сей раз вскоре после обеда чувствует он, что кто-то тянет его за ногу, кто-то, смеясь, выкрикивает его имя. Он открывает глаза и видит своего товарища Уклейкина, пейзажиста, ездившего на все лето в Костромскую губернию.

— Ба! — радуется он.— Кого вижу!

Начинаются рукопожатия, расспросы.

— Ну, привез что-нибудь? Чай, сотню этюдов накатал? — говорит Егор Саввич, глядя, как Уклейкин выкладывает из чемодана свои пожитки.

— Н-да... Кое-что сделал... А ты как? Написал что-нибудь?

Егор Саввич лезет за кровать и, весь побагровев, достает оттуда запыленный и подернутый паутиной холст, натянутый на подрамник.

— Вот... «Девушка у окна после разлуки со своим женихом»...— говорит он.— В три сеанса. Далеко еще не кончено.

Картина изображает едва подмалеванную Катю, сидящую у открытого окна; за окном палисадник и лиловая даль. Уклейкину картина не нравится.

— Гм... Воздуху много и... и экспрессия есть,— говорит он.— Даль чувствуется, но... этот куст кричит... Страшно кричит!

На сцену появляется графинчик.

К вечеру заходит к Егору Саввичу его товарищ и сосед по даче, исторический художник Костылев, малый лет тридцати пяти, тоже начинающий и подающий надежды. Он длинноволос, носит блузу и воротники à la Шекспир, держит себя с достоинством. Увидев водку, он морщится, жалуется на больную грудь, но, уступая просьбам товарищей, выпивает рюмку.

— Придумал я, братцы, тему...— говорит он хмелея.— Хочется мне изобразить какого-нибудь этакого Нерона... Ирода, или Клепентьяна, или какого-нибудь, понимаете ли, подлеца в этаком роде... и противопоставить ему идею христианства. С одной стороны Рим, с другой, понимаете ли, христианство... Мне хочется изобразить дух... понимаете? дух!

А вдова внизу то и дело кричит:

— Катя, подай огурцов! Кобыла, сходи к Сидорову, возьми квасу!

Коллеги, все трое, как волки в клетке, шагают по комнате из угла в угол. Они без умолку говорят, говорят искренно, горячо; все трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать их, то в их руках будущее, известность, деньги. И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится

к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано; что они все трое жертва того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое, трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек... Они веселы, счастливы и смело глядят в глаза будущему!

Во втором часу ночи Костылев прощается и, поправляя свои шекспировские воротники, уходит домой. Пейзажист остается ночевать у жанриста. Перед тем как ложиться спать, Егор Саввич берет свечу и пробирается в кухню напиться воды. В узеньком темном коридорчике, на сундуке, сидит Катя и, сложив на коленях руки, глядит вверх. По ее бледному замученному лицу плавает блаженная улыбка, глаза блестят...

— Это ты? О чем ты думаешь? — спрашивает у нее Егор Саввич.

— Я думаю о том, как вы будете знаменитостью...— говорит она полушепотом.— Мне все представляется, какой из вас выйдет великий человек... Сейчас я все ваши разговоры слышала... Я мечтаю... мечтаю...

Катя закатывается счастливым смехом, плачет и благоговейно кладет руки на плечи своего божка.

НАХЛЕБНИКИ

Мещанин Михаил Петров Зотов, старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным,— стало быть, был пятый час, не больше.

Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке, он долго стоял перед образом и молился. Прочел «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость.

Поставленный самоварчик медленно разгорался и вдруг неожиданно загудел дрожащим басом.

— Ну, загудел! — проворчал Зотов.— Гуди на свою голову!

Тут же кстати старик вспомнил, что в истекшую ночь ему снилась печь, а видеть во сне печь означает печаль.

Сны и приметы составляли единственное, что еще могло возбуждать его к размышлениям. И на этот раз

он с особенною любовью погрузился в решение вопросов: к чему гудит самовар, какую печаль пророчит печь? Сон на первых же порах оказался в руку: когда Зотов выполоскал чайник и захотел заварить чай, то у него в коробочке не нашлось ни одной чаинки.

— Жизнь каторжная! — ворчал он, перекатывая языком во рту крохи черного хлеба.— Экая доля собачья! Чаю нету! Добро бы, простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец. Срамота!

Ворча и разговаривая с самим собой, Зотов надел свое похожее на кринолин пальто, сунул ноги в громадные неуклюжие калоши (сшитые сапожником Прохорычем в 1867 году) и вышел на двор. Воздух был сер, холоден и угрюмо-покоен. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморосью. Ни ветра, ни звуков. Старик сел на ступени своего покосившегося крылечка, и тотчас же произошло то, что происходит аккуратно каждое утро: к нему подошла его собака Лыска, большой дворовый пес, белый с черными пятнами, облезлый, полудохлый, с закрытым правым глазом. Подходила Лыска робко, трусливо изгибаясь, точно ее лапы касались не земли, а раскаленной плиты, и все ее дряхлое тело выражало крайнюю забитость. Зотов сделал вид, что не обращает на нее внимания; но когда она, слабо шевеля хвостом и по-прежнему изгибаясь, лизнула ему калошу, то он сердито топнул ногой.

— Пшла, чтоб ты издохла! — крикнул он.— Проклята-я!

Лыска отошла в сторону, села и уставилась своим единственным глазом на хозяина.

— Черти! — продолжал Зотов.— Вас еще недоставало, иродов, на мою голову!

И он с ненавистью поглядел на свой сарай с кривой поросшей крышей; там из двери сарайчика глядела на него большая лошадиная голова. Вероятно, польщенная вниманием хозяина, голова задвигалась, подалась вперед, и из сарая показалась целая лошадь, такая же дряхлая, как Лыска, такая же робкая и забитая, тонконогая, седая, с втянутым животом и костистой спиною.

Она вышла из сарая и в нерешительности остановилась, точно сконфузилась.

— Провала на вас нет...— продолжал Зотов.— Не сгинули вы еще с глаз моих, фараоны каторжные... Небось кушать желаете! — усмехнулся он, кривя свое злое лицо презрительной улыбкой.— Извольте, сию минуту! Для такого стóящего рысака овса самолучшего сколько угодно! Кушайте! Сию минуту! И великолепную дорогую собаку есть чем покормить! Ежели такая дорогая собака, как вы, хлеба не желаете, то говядинки можно.

Зотов ворчал с полчаса, раздражаясь все больше и больше; под конец он, не вынося накипевшей в нем злобы, вскочил, затопал калошами и забрюзжал на весь двор:

— Не обязан я кормить вас, дармоеды! Я не миллионщик какой, чтоб вы меня объедали и опивали! Мне самому есть нечего, одры поганые, чтоб вас холера забрала! Ни радости мне от вас, ни корысти, а одно только горе и разоренье! Почему вы не околеваете? Что вы за такие персоны, что вас даже и смерть не берет? Живите, черт с вами, но не желаю вас кормить! Довольно с меня! Не желаю!

Зотов возмущался, негодовал, а лошадь и собака слушали. Понимали ли эти два нахлебника, что их попрекают куском хлеба,— не знаю, но животы их еще более втянулись и фигуры съежились, потускнели и стали забитее... Их смиренный вид еще более раздражил Зотова.

— Вон! — закричал он, охваченный каким-то вдохновением.— Вон из моего дома! Чтоб и глаза мои вас не видели! Не обязан я у себя на дворе всякую дрянь держать! Вон!

Старик засеменил к воротам, отворил их и, подняв с земли палку, стал выгонять со двора своих нахлебников. Лошадь мотнула головой, задвигала лопатками и захромала в ворота; собака за ней. Обе вышли на улицу и, пройдя шагов двадцать, остановились у забора.

— Я вас! — пригрозил им Зотов.

Выгнав нахлебников, он успокоился и начал мести двор. Изредка он выглядывал на улицу: лошадь и

собака как вкопанные стояли у забора и уныло глядели на ворота.

— Поживите-ка без меня! — ворчал старик, чувствуя, как у него от сердца отлегает злоба.— Пущай-ка кто другой поглядит теперь за вами! Я и скупой и злой... со мной скверно жить, так поживите с другим... Да...

Насладившись угнетенным видом нахлебников и досыта наворчавшись, Зотов вышел за ворота и, придав своему лицу свирепое выражение, крикнул:

— Ну, чего стоите? Кого ждете? Стали поперек дороги и мешают публике ходить! Пошли во двор!

Лошадь и собака понурили головы и с видом виноватых направились к воротам. Лыска, вероятно, чувствуя, что она не заслуживает прощения, жалобно завизжала.

— Жить живите, а уж насчет корма — накося, выкуси! — сказал Зотов, впуская их.— Хоть околевайте.

Между тем сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце; его косые лучи заскользили по осенней измороси. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Иванычу, торговавшему в бакалейной лавочке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и заговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих — и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время, а когда мальчишка-лавочник притащил большой чайник с кипятком и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел.

— А у меня к тебе просьба, Марк Иваныч,— начал он после шестого стакана, стуча пальцами по прилавку.— Уж ты того... будь милостив, дай и сегодня мне осьмушку овса.

Из-за большого чайного ящика, за которым сидел Марк Иваныч, послышался глубокий вздох.

— Дай, сделай милость,— продолжал Зотов.— Чаю, уж так и быть, не давай нынче, а овса дай... Кон-

фузно просить, одолел уж я тебя своей бедностью, но... лошадь голодная.

— Дать-то можно,— вздохнул кум.— Отчего не дать? Но на кой леший, скажи на милость, ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то — тьфу! глядеть совестно... А собака — чистый шкилет! На кой черт ты их кормишь?

— Куда же мне их девать?

— Известно куда. Сведи их к Игнату на живодерню — вот и вся музыка. Давно пора им там быть. Настоящее место.

— Так-то оно так!.. Оно пожалуй...

— Живешь Христа ради, а скотов держишь,— продолжал кум.— Мне овса не жалко... Бог с тобою, но уж больше, брат, того... начетисто каждый день давать. Конца-края нет твоей бедности! Даешь, даешь и не знаешь, когда всему этому конец придет.

Кум вздохнул и погладил себя по красному лицу.

— Помирал бы ты, что ли! — сказал он.— Живешь и сам не знаешь, для чего... Да ей-богу! А то, коли господь смерти не дает, шел бы ты куда ни на есть в богадельню или странноприютный дом.

— Зачем? У меня родня есть... У меня внучка...

И Зотов начал длинно рассказывать о том, что где-то на хуторе живет внучка Глаша, дочь племянницы Катерины.

— Она обязана меня кормить! — сказал он.— Ей мой дом останется, пущай же и кормит! Возьму и пойду к ней. Это, стало быть, понимаешь, Глаша... Катина дочка, а Катя, понимаешь, брата моего Пантелея падчерица... понял? Ей дом достанется... Пущай меня кормит!

— А что ж? Чем так, Христа ради жить, давно бы пошел к ней.

— И пойду! Накажи меня бог, пойду. Обязана!

Когда час спустя кумовья выпили по рюмочке, Зотов стоял посреди лавки и говорил с воодушевлением:

— Я давно к ней собираюсь! Сегодня же пойду!

— Оно конечно! Чем так шалтай-балтай ходить и с голоду околевать, давно бы на хутора пошел.

— Сейчас пойду! Приду и скажу: бери себе мой дом, а меня корми и почитай. Обязана! Коли не желаешь, так нет тебе ни дома, ни моего благословения! Прощай, Иваныч!

Зотов выпил еще рюмку и, вдохновленный новой мыслью, поспешил к себе домой... От водки его развезло, голова кружилась, но он не лег, а собрал в узел всю свою одежду, помолился, взял палку и пошел со двора. Без оглядки, бормоча и стуча о камни палкой, он прошел всю улицу и очутился в поле. До хутора было верст десять — двенадцать. Он шел по сухой дороге, глядел на городское стадо, лениво жевавшее желтую траву, и думал о резком перевороте в своей жизни, который он только что так решительно совершил. Думал он и о своих нахлебниках. Уходя из дома, он ворот не запер и таким образом дал им волю идти куда угодно.

Не прошел он по полю и версты, как позади послышались шаги. Он оглянулся и сердито всплеснул руками: за ним, понурив головы и поджав хвосты, тихо шли лошадь и Лыска.

— Пошли назад! — махнул он им.

Те остановились, переглянулись, поглядели на него. Он пошел дальше, они за ним. Тогда он остановился и стал размышлять. К полузнакомой внучке Глаше идти с этими тварями было невозможно, ворочаться назад и запереть их не хотелось, да и нельзя запереть, потому что ворота никуда не годятся.

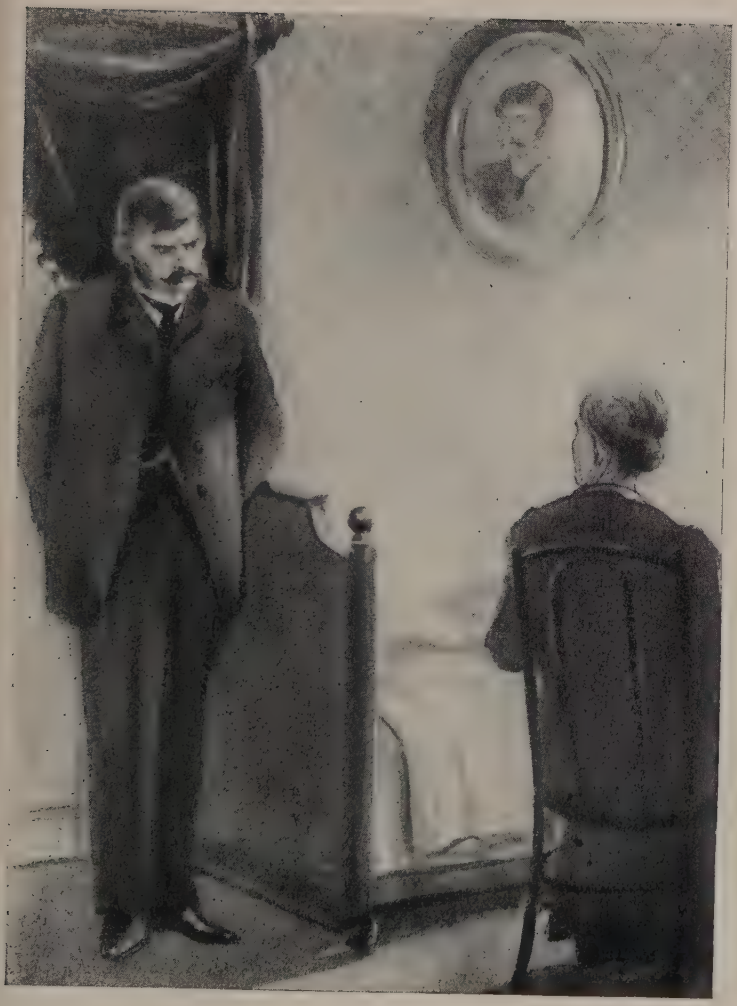
«В сарае издохнут,— думал Зотов.— Нешто и впрямь к Игнату?»

Изба Игната стояла на выгоне, в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах...

Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный пар от щей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его прождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой

о сулеме; помнится, что лошадь была поставлена в ста
нок, после чего послышались два глухих удара: оди
по черепу, другой от падения большого тела. Когд
Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилас
на Игната, то послышался еще третий удар, резко обо
рвавший визг. Далее Зотов помнит, что он, сдуру
спьяна, увидев два трупа, подошел к станку и подстави
свой собственный лоб...

Потом до самого вечера его глаза заволакивало мут
ной пеленой, и он не мог разглядеть даже своих паль
цев.



К рассказу «Необыкновенный».

Художники Кукрыниксы. 1954.

ПЕРВЫЙ ЛЮБОВНИК

Евгений Алексеевич Поджаров, jeune premier, стройный, изящный, с овальным лицом и с мешочками под глазами, приехав на сезон в один из южных городов, первым делом постарался познакомиться с несколькими почтенными семействами.

— Да-с, сеньор! — часто говорил он, грациозно болтая ногой и показывая свои красные чулки.— Артист должен действовать на массы посредственно и непосредственно; первое достигается служением на сцене, второе — знакомством с обывателями. Честное слово, parole d'honneur [1], не понимаю, отчего это наш брат актер избегает знакомств с семейными домами? Отчего? Не говоря уж об обедах, именинах, пирогах, суарэфиксах [2], не говоря уж о развлечениях, какое нравственное влияние он может иметь на общество! Разве не приятно сознание, что ты заронил искру в какую-нибудь толстокожую башку? А типы! А женщины! Mon Dieu [3], что за женщины! Голова кружится! Заберешься в какой-нибудь купеческий домище, в заветные терема, выберешь апельсинчик посвежее и румянее и — блаженство. Parole d'honneur!

В южном городе он познакомился, между прочим, с почтенной семьей фабриканта Зыбаева. При воспоминании об этом знакомстве он теперь всякий раз презри-

---

[1] честное слово (*франц.*).
[2] званых вечерах (от *франц.* soirée fixe).
[3] Боже мой (*франц.*).

тельно морщится, щурит глаза и нервно теребит цепочку.

Однажды — это было на именинах у Зыбаева — артист сидел в гостиной своих новых знакомых и по обыкновению разглагольствовал. Вокруг него в креслах и на диване сидели «типы» и благодушно слушали; из соседней комнаты доносились женский смех и звуки вечернего чаепития... Положив ногу на ногу, запивая каждую фразу чаем с ромом и стараясь придать своему лицу небрежно-скучающее выражение, он рассказывал о своих успехах на сцене.

— Я актер по преимуществу провинциальный,— говорил он, снисходительно улыбаясь,— но случалось играть и в столицах... Кстати расскажу один случай, достаточно характеризующий современное умственное настроение. В Москве в мой бенефис мне молодежь поднесла такую массу лавровых венков, что я, клянусь всем, что только есть у меня святого, не знал, куда девать их! Parole d'honneur! Впоследствии, в минуты безденежья, я снес лавровый лист в лавочку и... угадайте, сколько в нем было весу? Два пуда и восемь фунтов! Ха-ха! Деньги пригодились как нельзя кстати. Вообще артисты часто бывают бедны. Сегодня у меня сотни, тысячи, завтра ничего... Сегодня нет куска хлеба, а завтра устрицы и анчоусы, черт возьми.

Обыватели чинно хлебали из своих стаканов и слушали. Довольный хозяин, не зная, чем угодить образованному и занимательному гостю, представил ему приезжего гостя, своего дальнего родственника, Павла Игнатьевича Климова, мясистого человека лет сорока, в длинном сюртуке и в широчайших панталонах.

— Рекомендую! — сказал Зыбаев, представляя Климова.— Любит театры и сам когда-то игрывал. Тульский помещик!

Поджаров и Климов разговорились. К великому удовольствию обоих, оказалось, что тульский помещик живал в том самом городе, где jeune premier два сезона подряд играл на сцене. Начались расспросы о городе, об общих знакомых, о театре...

— Знаете, мне этот город ужасно нравится! — говорил jeune premier, показывая свои красные чулки.—

Какие мостовые, какой миленький сад... а какое общество! Прекрасное общество!

— Да, прекрасное общество,— согласился помещик.

— Город торговый, но весьма интеллигентный!.. Например, э-э-э... директор гимназии, прокурор... офицерство... Недурен также исправник... Человек, как говорят французы, аншантэ [1]. А женщины! Аллах, что за женщины!

— Да, женщины... действительно...

— Быть может, я пристрастен! Дело в том, что в вашем городе мне, не знаю почему, чертовски везло по амурной части! Я мог бы написать десять романов. Например, взять бы хоть этот роман... Жил я на Егорьевской улице, в том самом доме, где помещается казначейство...

— Это красный, нештукатуренный?

— Да, да... нештукатуренный. По соседству со мной, как теперь помню, в доме Кощеева жила местная красавица Варенька...

— Не Варвара ли Николаевна? — спросил Климов и просиял от удовольствия.— Действительно, красавица... Первая в городе!

— Первая в городе! Классический профиль... большущие черные глаза и коса по пояс! Увидала она меня в Гамлете... Пишет письмо à la пушкинская Татьяна... Я, понятно, отвечаю...

Поджаров огляделся и, убедившись, что в гостиной нет дам, закатил глаза, грустно улыбнулся и вздохнул.

— Прихожу однажды после спектакля домой,— зашептал он,— а она сидит у меня на диване. Начинаются слезы, объяснения в любви... поцелуи... О, то была чудная, то была дивная ночь! Наш роман потом продолжался месяца два, но эта ночь уж не повторялась. Что за ночь, parole d'honneur!

— Позвольте, как же это? — забормотал Климов, багровея и тараща глаза на актера.— Я Варвару Николаевну отлично знаю... Она моя племянница!

Поджаров смутился и тоже вытаращил глаза.

---

[1] здесь — душа общества (от *франц.* enchanté).

— Как же это-с? — продолжал Климов, разводя руками.— Я эту девушку знаю, и... и... меня удивляет...

— Очень жаль, что так пришлось...— забормотал актер, поднимаясь и чистя мизинцем левый глаз.— Хотя, впрочем... конечно, вы как дядя. .

Гости, доселе с удовольствием слушавшие и награждавшие актера улыбками, смутились и потупили глаза.

— Нет, уж вы будьте так любезны, возьмите ваши слова назад...— сказал Климов в сильном смущении.— Прошу вас!

— Если вас... э-э-э... это оскорбляет, то извольте-с! — ответил актер, делая рукою неопределенный жест.

— И сознайтесь, что вы сказали неправду.

— Я? Нет... э-э-э... я не лгал, но... очень жалею, что я проговорился... И вообще... не понимаю этого вашего тона!

Климов заходил из угла в угол молча, как бы в раздумье или нерешимости. Мясистое лицо его становилось все багровее, и на шее надулись жилы. Походив минуты две, он подошел к актеру и сказал плачущим голосом:

— Нет, уж вы будьте добры, сознайтесь, что солгали насчет Вареньки! Сделайте милость!

— Странно! — пожал плечами актер, насильно улыбаясь и болтая ногой.— Это... это даже оскорбительно!

— Стало быть, вы не желаете сознаться?

— Н-не понимаю!

— Не желаете? В таком случае извините... Я должен буду прибегнуть к неприятным мерам... Или я вас тут сейчас же оскорблю, милостивый государь, или же... если вы благородный человек-с, то извольте принять мой вызов на дуэль-с... Будем стреляться!

— Извольте! — отчеканил jeune premier, делая презрительный жест.— Извольте!

Смущенные до крайности гости и хозяин, не зная, что им делать, отвели в сторону Климова и стали просить его, чтобы он не затевал скандала. В дверях показались удивленные женские физиономии... Jeune premier повертелся, поболтал и с таким выражением, будто он не может более оставаться в доме, где его оскорбляют, взял шапку и, не прощаясь, удалился.

Идя домой, jeune premier всю дорогу презрительно улыбался и пожимал плечами, но у себя в номере, растянувшись на диване, почувствовал сильнейшее беспокойство.

«Черт его возьми! — думал он.— Дуэль не беда, он меня не убьет, но беда в том, что узнают товарищи, а им отлично известно, что я соврал. Мерзко! Осрамлюсь на всю Россию...»

Поджаров подумал, покурил и, чтобы успокоиться, вышел на улицу.

«Поговорить бы с этим бурбоном,— думал он,— вбить бы ему в глупую башку, что он болван, дурак... что я его вовсе не боюсь...»

Jeune premier остановился перед домом Зыбаева и поглядел на окна. За кисейными занавесками еще горели огни и двигались фигуры.

— Подожду! — решил актер.

Было темно и холодно. Как сквозь сито, моросил противный осенний дождик... Поджаров облокотился о фонарный столб и весь отдался чувству беспокойства.

Он промок и измучился.

В два часа ночи из дома Зыбаева начали выходить гости... После всех в дверях показался тульский помещик. Он вздохнул на всю улицу и заскреб по тротуару своими тяжелыми калошами.

— Позвольте-с! — начал jeune premier, догоняя его.— На минутку!

Климов остановился. Актер улыбнулся, помялся и заговорил заикаясь:

— Я... я сознаю... Я солгал...

— Нет-с, вы извольте публично сознаться! — сказал Климов и опять побагровел.— Я этого дела не могу так оставить-с...

— Но ведь я извиняюсь! Я прошу вас... понимаете? Прошу, потому что, согласитесь сами, дуэль вызовет толки, а я служу... у меня товарищи... Могут бог знает что подумать...

Jeune premier старался казаться равнодушным, улыбаться, держаться прямо, но натура не слушалась, голос его дрожал, глаза виновато мигали и голову тянуло

вниз. Долго он бормотал еще что-то. Климов выслушал его, подумал и вздохнул.

— Ну, так и быть! — сказал он.— Бог простит. Только в другой раз не лгите, молодой человек. Ничто так не унижает человека, как ложь... Да-с! Вы молоды, получили образование...

Тульский помещик благодушно, родительским тоном читал наставление, а jeune premier слушал и кротко улыбался... Когда тот кончил, он оскалил зубы, поклонился и виноватой походкой, ежась всем телом, направился к своей гостинице.

Ложась спать полчаса спустя, он уже чувствовал себя вне опасности и в отличном настроении. Покойный, довольный, что недоразумение так благополучно кончилось, он укрылся одеялом и скоро уснул, и спал крепко до десяти часов утра.

В ПОТЕМКАХ

Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора, надворного советника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть может, она попала туда по легкомыслию, или благодаря потемкам, но только нос не вынес присутствия инородного тела и подал сигнал к чиханию. Гагин чихнул, чихнул с чувством, с пронзительным присвистом и так громко, что кровать вздрогнула и издала звук потревоженной пружины. Супруга Гагина, Марья Михайловна, крупная, полная блондинка, тоже вздрогнула и проснулась. Она поглядела в потемки, вздохнула и повернулась на другой бок. Минут через пять она еще раз повернулась, закрыла плотнее глаза, но сон уже не возвращался к ней. Повздыхав и поворочавшись с боку на бок, она приподнялась, перелезла через мужа и, надев туфли, пошла к окну.

На дворе было темно. Видны были одни только силуэты деревьев да темные крыши сараев. Восток чуть-чуть побледнел, но и эту бледность собирались заволокнуть тучи. В воздухе, уснувшем и окутанном во мглу, стояла тишина. Молчал даже дачный сторож, получающий деньги за нарушение стуком ночной тишины, молчал и коростель — единственный дикий пернатый, не чуждающийся соседства со столичными дачниками.

Тишину нарушила сама Марья Михайловна. Стоя у окна и глядя во двор, она вдруг вскрикнула. Ей показалось, что от цветника с тощим стриженым тополем

пробиралась к дому какая-то темная фигура. Сначала она думала, что это корова или лошадь, потом же, протерев глаза, она стала ясно различать человеческие контуры.

Засим ей показалось, что темная фигура подошла к окну, выходившему из кухни, и, постояв немного, очевидно в нерешимости, стала одной ногой на карниз и... исчезла во мраке окна.

«Вор!» — мелькнуло у нее в голове, и мертвенная бледность залила ее лицо.

И в один миг ее воображение нарисовало картину, которой так боятся дачницы: вор лезет в кухню, из кухни в столовую... серебро в шкапу... далее спальня... топор... разбойничье лицо... золотые вещи... Колена ее подогнулись, и по спине побежали мурашки.

— Вася! — затеребила она мужа.— Базиль! Василий Прокофьич! Ах, боже мой, словно мертвый! Проснись, Базиль, умоляю тебя!

— Н-ну? — промычал товарищ прокурора, потянув в себя воздух и издавая жевательные звуки.

— Проснись, ради создателя! К нам в кухню забрался вор! Стою я у окна, гляжу, а кто-то в окно лезет. Из кухни проберется в столовую... ложки в шкапу! Базиль! У Мавры Егоровны в прошлом году так же вот забрались.

— Ко... кого тебе?

— Боже, он не слышит! Да пойми же ты, истукан, что я сейчас видела, как к нам в кухню полез какой-то человек! Пелагея испугается и... и серебро в шкапу!

— Чепуха!

— Базиль, это несносно! Я говорю тебе об опасности, а ты спишь и мычишь! Что же ты хочешь? Хочешь, чтоб нас обокрали и перерезали?

Товарищ прокурора медленно поднялся и сел на кровати, оглашая воздух зевками.

— Черт вас знает, что вы за народ! — пробормотал он.— Неужели даже ночью нет покоя? Будят из-за пустяков!

— Но клянусь тебе, Базиль, я видела, как человек полез в окно!

— Ну так что же? И пусть лезет... Это, по всей вероятности, к Пелагее ее пожарный пришел.

— Что-о-о? Что ты сказал?

— Я сказал, что это к Пелагее пожарный пришел.

— Тем хуже! — вскрикнула Марья Михайловна.— Это хуже вора! Я не потерплю в своем доме цинизма!

— Экая добродетель, посмотришь... Не потерплю цинизма... Да нешто это цинизм? К чему без толку заграничными словами выпаливать? Это, матушка моя, испокон веку так ведется, традицией освящено. На то он и пожарный, чтоб к кухаркам ходить.

— Нет, Базиль! Значит, ты не знаешь меня! Я не могу допустить мысли, чтоб в моем доме и такое... этакое... Изволь отправиться сию минуту в кухню и приказать ему убираться! Сию же минуту! А завтра я скажу Пелагее, чтобы она не смела позволять себе подобные поступки! Когда я умру, можете допускать в своем доме циничности, а теперь вы не смеете. Извольте идти!

— Черт...— проворчал Гагин с досадой.— Ну, рассуди своим бабьим, микроскопическим мозгом, зачем я туда пойду?

— Базиль, я падаю в обморок!

Гагин плюнул, надел туфли, еще раз плюнул и отправился в кухню. Было темно, как в закупоренной бочке, и товарищу прокурора пришлось пробираться ощупью. По дороге он нащупал дверь в детскую и разбудил няньку.

— Василиса,— сказал он,— ты брала вечером мой халат чистить. Где он?

— Я его, барин, Пелагее отдала чистить.

— Что за беспорядки? Брать берете, а на место не кладете... Изволь теперь путешествовать без халата!

Войдя в кухню, он направился к тому месту, где на сундуке, под полкой с кастрюлями, спала кухарка.

— Пелагея! — начал он, нащупывая плечо и толкая.— Ты! Пелагея! Ну, что представляешься? Не спишь ведь! Кто это сейчас лез к тебе в окно?

— Гм!.. здрасте! В окно лез! Кому это лезть?

— Да ты того... нечего тень наводить! Скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы он подобру-поздорову убирался вон. Слышишь? Нечего ему тут делать!

— Да вы в уме, барин? Здрасте... Дуру какую нашли... День-деньской мучаешься, бегаючи, покоя не знаешь, а ночью с такими словами. За четыре рубля в месяц живешь... при своем чае и сахаре, а кроме этих слов, другой чести ни от кого не видишь... Я у купцов жила, да такого срама не видывала.

— Ну, ну... нечего Лазаря петь! Сию же минуту чтобы твоего солдафона здесь не было! Слышишь?

— Грех вам, барин! — сказала Пелагея, и в голосе ее послышались слезы.— Господа образованные... благородные, а нет того понятия, что, может, при горе-то нашем... при нашей несчастной жизни...— Она заплакала.— Обидеть нас можно. Заступиться некому.

— Ну, ну... мне ведь все равно! Меня барыня сюда послала. По мне, хоть домового впусти в окно, так мне все равно.

Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос, и возвратиться к супруге.

— Послушай, Пелагея,— сказал он,— ты брала чистить мой халат. Где он?

— Ах, барин, извините, забыла вам положить его на стул. Он висит около печки на гвоздике...

Гагин нащупал около печки халат, надел его и тихо поплелся в спальню.

Марья Михайловна по уходе мужа легла в постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затем ее начало помучивать беспокойство.

«Как долго он ходит, однако! — думала она.— Хорошо, если там тот... циник, ну, а если вор?»

И воображение ее опять нарисовало картину: муж входит в темную кухню... удар обухом... умирает, не издав ни одного звука... лужа крови...

Прошло пять минут, пять с половиной, наконец, шесть... На лбу у нее выступил холодный пот.

— Базиль! — взвизгнула она.— Базиль!

— Ну, что кричишь? Я здесь...— услышала она голос и шаги мужа.— Режут тебя, что ли?

Товарищ прокурора подошел к кровати и сел на край.

— Никого там нет,— сказал он.— Тебе примерещи-

лось, чудачка... Ты можешь успокоиться, твоя дурища, Пелагея, так же добродетельна, как и ее хозяйка.Экая ты трусиха! Экая ты...

И товарищ прокурора начал дразнить свою жену. Он разгулялся, и ему уже не хотелось спать.

— Экая трусиха! — смеялся он.— Завтра же ступай к доктору от галлюцинаций лечиться. Ты психопатка!

— Дегтем запахло...— сказала жена.— Дегтем или... чем-то таким, луком... щами.

— М-да...Что-то такое в воздухе... Спать не хочется! Вот что, зажгу-ка я свечку... Где у нас спички? И кстати покажу тебе фотографию прокурора судебной палаты. Вчера прощался с нами и дал всем по карточке. С автографом.

Гагин чиркнул о стену спичкой и зажег свечу. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, сзади него раздался пронзительный, душу раздирающий крик. Оглянувшись назад, он увидел два больших жениных глаза, обращенных на него и полных удивления, ужаса, гнева...

— Ты снимал в кухне свой халат? — спросила она бледнея.

— А что?

— Погляди на себя!

Товарищ прокурора поглядел на себя и ахнул. На его плечах вместо халата болталась шинель пожарного. Как она попала на его плечи? Пока он решал этот вопрос, жена его рисовала в своем воображении новую картину, ужасную, невозможную: мрак, тишина, шепот и проч. и проч. ...

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Был солнечный августовский полдень, когда я с одним русским захудалым князьком подъехал к громадному, так называемому Шабельскому бору, где мы намеревались поискать рябчиков. Мой князек, ввиду роли, которую он играет в этом рассказе, заслуживал бы подробного описания. Это высокий стройный брюнет, еще не старый, но уже достаточно помятый жизнью, с длинными полицеймейстерскими усами, с черными глазами навыкате и с замашками отставного военного. Человек он недалекий, восточного пошиба, но честный и прямой, не бреттер, не фат и не кутила — достоинства, дающие в глазах публики диплом на бесцветность и мизерность. Публике он не нравился (в уезде иначе не называли его, как «снятельным балбесом»), мне же лично князек был до крайности симпатичен своими несчастьями и неудачами, из которых без перерыва состояла вся его жизнь. Прежде всего он был беден. В карты он не играл, не кутил, делом не занимался, никуда не совал своего носа и вечно молчал, но сумел каким-то образом растранжирить тридцать — сорок тысяч, оставшиеся ему после отца. Один бог знает, куда девались эти деньги; мне известно только, что много, за отсутствием досмотра, было расхищено управляющими, приказчиками и даже лакеями, много прошло на займы, подачки и поручительства. В уезде редкий помещик не состоял ему должным. Всем просящим он давал и не столько из доброты или доверия к людям, сколько из напускного джентльменства: возьми,

мол, и чувствуй мою комильфотность![1] Я познакомился с ним, когда уж он сам залез в долги, узнал вкус во вторых закладных и запутался до невозможности выпутаться. Бывали дни, когда он не обедал и ходил с пустым портсигаром, но всегда его видели чистеньким, одетым по моде, и всегда от него шел густой запах иланг-иланга[2].

Вторым несчастьем князя было его круглое одиночество. Женат он не был, родных и друзей не имел. Молчаливый, скрытный характер и комильфотность, которая тем резче выступала на первый план, чем сильнее хотелось скрыть бедность, мешали ему сближаться с людьми. Для романов он был тяжел, вял и холоден, а потому редко сходился с женщинами...

Подъехав к лесу, я и этот князек вылезли из брички и пошли по узкой лесной тропинке, прятавшейся в тени громадных листьев папоротника. Но не прошли мы и ста шагов, как из-за молодого, аршинного ельника, точно из земли выросши, поднялась высокая жидкая фигура с длинным овальным лицом, в потертом пиджаке, в соломенной шляпе и в лакированных ботфортах. В одной руке незнакомца была корзинка с грибами, другою он игриво теребил дешевенькую цепочку на жилетке. Увидав нас, он сконфузился, поправил жилетку, вежливо кашлянул и приятно улыбнулся, точно рад был видеть таких хороших людей, как мы. Потом, совершенно неожиданно для нас, он, шаркая по траве длинными ногами, изгибаясь всем телом и не переставая приятно улыбаться, подошел к нам, приподнял шляпу и произнес слащавым голосом, в котором слышалась интонация воющей собаки:

— Э-э-э... господа, как мне ни тяжело, но я должен предупредить вас, что в этом лесу охота воспрещается. Извините, что, не будучи знаком, осмеливаюсь беспокоить вас, но... позвольте представиться: я —Гронтовский, главный конторщик при экономии госпожи Кандуриной!

— Очень приятно, но почему же нельзя охотиться?

— Такова воля владетельницы этого леса!

---

[1] аристократизм (от *франц.* comme il faut).

[2] духи, душистое масло, добываемое из тропических растений.

Я и князь переглянулись. Минута прошла в молчании. Князь стоял и задумчиво глядел себе под ноги на большой мухомор, сбитый палкой. Гронтовский продолжал приятно улыбаться. Все лицо его моргало, медоточило, и, казалось, даже цепочка на жилетке улыбалась и старалась поразить нас своею деликатностью. В воздухе на манер тихого ангела пролетел конфуз; всем троим было неловко.

— Пустое! — сказал я.— Не дальше как на прошлой неделе я тут охотился!

— Очень может быть! — захихикал сквозь зубы Гронтовский.— Фактически здесь все охотятся, не глядя на запрещение, но, раз я с вами встретился, моя обязанность... священный долг предупредить вас. Я человек зависимый. Если бы лес был мой, то, честное слово Гронтовского, я не противился бы вашему приятному удовольствию. Но кто виноват, что Гронтовский зависим?

Долговязый субъект вздохнул и пожал плечами. Я начал спорить, кипятиться и доказывать, но чем громче и убедительнее я говорил, тем медовее и приторнее становилось лицо Гронтовского. Очевидно, сознание некоторой власти над нами доставляло ему величайшее наслаждение. Он наслаждался своим снисходительным тоном, любезностью, манерами и с особенным чувством произносил свою звучную фамилию, которую он, вероятно, очень любил. Стоя перед нами, он чувствовал себя больше чем в своей тарелке. Только судя по косым, конфузливым взглядам, которые он изредка бросал на свою корзинку, одно лишь портило его настроение —это грибы, бабья, мужицкая проза, оскорблявшая его величие.

— Не ворочаться же нам назад! — сказал я.— Мы пятнадцать верст проехали!

— Что делать! — вздохнул Гронтовский.—Если бы вы изволили проехать не пятнадцать, а сто тысяч верст, если бы даже король приехал сюда из Америки или из другой какой-нибудь далекой страны, то и тогда бы я счел за долг... священную, так сказать, обязанность...

— Этот лес принадлежит Надежде Львовне? — спросил князь.

— Да-с, Надежде Львовне...

— Она теперь дома?

— Да-с... Вот что, вы съездите к ней — полверсты отсюда, не больше,— если она даст вам записочку, то я... понятно! Ха-ха... хи-хи-с!..

— Пожалуй,— согласился я.— Съездить к ней гораздо ближе, чем ворочаться... Съездите к ней, Сергей Иваныч,— обратился я к князю.— Вы с ней знакомы.

Князь, глядевший все время на сбитый мухомор, поднял на меня глаза, подумал и сказал:

— Я когда-то был с ней знаком, но... мне не совсем ловко к ней идти. И к тому же я плохо одет... Съездите вы, вы с ней незнакомы... Вам удобнее.

Я согласился. Мы сели в шарабан и, провожаемые улыбками Гронтовского, покатили по краю леса к барской усадьбе. С Надеждой Львовной Кандуриной, урожденной Шабельской, знаком я не был, никогда раньше вблизи не видал ее и знал ее только понаслышке. Я знал, что она была невылазно богата, как никто в губернии... После смерти отца, помещика Шабельского, у которого она была единственной дочерью, осталось ей несколько имений, конский завод и много денег. Слышал я, что она, несмотря на свои двадцать пять — двадцать шесть лет, некрасива, бесцветна, ничтожна, как все, и выделяется из ряда обыкновенных уездных барынь только своим громадным состоянием.

Мне всегда казалось, что богатство ощущается и что у богачей должно быть свое особенное чувство, неизвестное беднякам. Часто, проезжая мимо большого фруктового сада Надежды Львовны, из которого высился громадный тяжелый дом с всегда занавешенными окнами, я думал: «Что чувствует она в данную минуту? Есть ли там за шторами счастье?» и т. д. Раз я видел издалека, как она ехала откуда-то на хорошеньком легком кабриолете и правила красивой белой лошадью, и — грешный человек — я не только позавидовал ей, но даже нашел, что в ее посадке, в ее движениях есть что-то особенное, чего нет у людей небогатых, подобно тому как люди, по натуре раболепные, в обыкновенной наружности людей познатнее себя умудряются с первого взгляда находить породу. Внутренняя жизнь Надежды

Львовны была известна мне только по сплетням. В уезде говорили, что лет пять-шесть тому назад, еще до своего замужества, при жизни отца, она была страстно влюблена в князя Сергея Ивановича, который ехал теперь рядом со мной в шарабане. Князь любил ездить к старику и, бывало, целые дни проводил у него в бильярдной, где неутомимо, до боли в руках и ногах, играл в пирамидку, за полгода же до смерти старика он вдруг перестал бывать у Шабельских. Такую резкую перемену в отношениях уездная сплетня, не имея положительных данных, объясняет всячески. Одни рассказывают, что князь, заметив будто бы чувство некрасивой Наденьки и не будучи в состоянии отвечать взаимностью, почел долгом порядочного человека прекратить свои посещения; другие утверждают, что старик Шабельский, узнав, отчего чахнет его дочь, предложил небогатому князю жениться на ней, князь же, вообразив по своей недалекости, что его хотят купить вместе с титулом, возмутился, наговорил глупостей и рассорился. Что в этом вздоре правда и что неправда,— трудно сказать, а что доля правды есть, видно из того, что князь всегда избегал разговоров о Надежде Львовне.

Мне известно, что вскоре после смерти отца Надежда Львовна вышла замуж за некоего Кандурина, заезжего кандидата прав, человека небогатого, но ловкого. Вышла она не по любви, а тронутая любовью кандидата прав, который, как говорят, прекрасно разыгрывал влюбленного. В описываемое мною время муж ее, Кандурин, жил для чего-то в Каире и писал оттуда своему приятелю, уездному предводителю, «путевые записки», а она, окруженная тунеядицами-приживалками, томилась за спущенными шторами и коротала свои скучные дни мелкой филантропией.

На пути к усадьбе князь разговорился.

— Уж три дня, как я не был у себя дома,— сказал он полушепотом, косясь на возницу.— Кажется, вот и велик вырос, не баба и без предрассудков, а не переваривая судебных приставов. Когда я вижу у себя в доме судебного пристава, то бледнею, дрожу и даже судороги в икрах делаются. Знаете, Рогожин протестовал мой вексель!

Князь вообще не любил жаловаться на плохие обстоятельства; где касалось бедности, там он был скрытен, до крайности самолюбив и щепетилен, а потому это его заявление меня удивило. Он долго глядел на желтую сечу, согреваемую солнцем, проводил глазами длинную вереницу журавлей, плывших в лазуревом поднебесье, и повернулся лицом ко мне.

— А к шестому сентября нужно готовить деньги в банк... проценты за именье! — сказал он вслух, уже не стесняясь присутствием кучера.— А где их взять? Вообще, батенька, круто приходится! Ух, как круто!

Князь оглядел курки своего ружья, для чего-то подул на них и стал искать глазами потерянных из виду журавлей.

— Сергей Иваныч,— спросил я после минутного молчания,— если, представьте, продадут вашу Шатиловку, то что вы будете делать?

— Я? Не знаю! Шатиловке не уцелеть, это как дважды два, но не могу я представить себе такой беды. Я не могу представить себя без готового куска хлеба. Что я буду делать? Образования у меня почти никакого, работать я еще не пробовал, служить — начинать поздно... Да и где служить? Где бы я мог сгодиться? Допустим, не велика хитрость служить, хоть у нас бы, например, в земстве, но у меня... черт его знает, малодушие какое-то, ни на грош смелости. Поступлю я на службу, и все мне будет казаться, что я не в свои сани сел. Я не идеалист, не утопист, не принципист какой-нибудь особенный, а просто, должно быть, глуп и из-за угла мешком прибит. Психопат и трус. Вообще не похож на людей. Все люди, как люди, один только я изображаю из себя что-то такое... этакое... Встретил я в среду Нарягина. Вы его знаете, пьян, неряшлив... долгов не платит, глуповат (князь поморщился и мотнул головой)... личность ужасная! Качается и говорит мне: «Я в мировые баллотируюсь!» Его, конечно, не выберут, но ведь он верит, что годится в мировые, считает это дело по плечу себе. И смелость есть и самоуверенность. Также заезжаю я к нашему судебному следователю. Человек получает двести пятьдесят в месяц, но дела почти никакого, только и знает, что целые дни в одном нижнем

белье шагает из угла в угол, но спросите его, он уверен, что дело делает, честно исполняет долг. Я бы не мог так! Мне бы совестно было в глаза казначею глядеть.

В это время мимо нас на рыжей лошадке с шиком проскакал Гронтовский. В левой руке его на локте болталась корзинка, в которой прыгали белые грибы. Поравнявшись с нами, он оскалил зубы и сделал ручкой, как давнишним знакомым.

— Болван! — процедил князь сквозь зубы, глядя ему вслед.— Удивительно, как противно иногда бывает видеть довольные физиономии. Глупое, животное чувство и, должно быть, с голодухи... На чем я остановился? Ах, да, о службе... Жалованье получать мне было бы стыдно, а в сущности говоря, это глупо. Если взглянуть пошире, серьезно, то ведь и теперь я ем не свое. Не так ли? Но тут почему-то не стыдно... Привычка тут, что ли... или неуменье вдумываться в свое настоящее положение... А положение это, вероятно, ужасно!

Я посмотрел: не рисуется ли князь? Но лицо его было кротко, и глаза с грустью следили за движениями убегавшей рыжей лошадки, точно вместе с нею убегало его счастье.

По-видимому, он находился в том состоянии раздражения и грусти, когда женщины тихо и беспричинно плачут, а у мужчин является потребность жаловаться на жизнь, на себя, на бога...

У ворот усадьбы, когда я вылезал из шарабана, князь говорил:

— Раз один человек, желая уязвить меня, сказал, что у меня шулерская физиономия. Я и сам заметил, что шулера чаще всего брюнеты. Мне кажется, послушайте, что если бы я в самом деле родился шулером, то до смерти бы остался порядочным человеком, так как у меня не хватило бы смелости делать зло. Скажу вам откровенно, я имел в жизни случай разбогатеть. Солги я раз в жизни, солги только перед самим собой и одной... и одним человеком, который, я знаю, простил бы мне мою ложь, я положил бы к себе в карман чистоганом миллион. Но не смог! Духу не хватило!

От ворот к дому нужно было идти рощей по длинной, ровной, как линейка, дороге, усаженной по обе

стороны густой стриженой сиренью. Дом представлял из себя нечто тяжелое, безвкусное, похожее фасадом на театр. Он неуклюже высился из массы зелени и резал глаза, как большой булыжник, брошенный на бархатную траву. У парадного входа встретил меня тучный старик лакей в зеленом фраке и больших серебряных очках; без всякого доклада, а только брезгливо оглядев мою запыленную фигуру, он проводил меня в покои. Когда я шел вверх по мягкой лестнице, то почему-то сильно пахло каучуком, наверху же в передней меня охватила атмосфера, присущая только архивам, барским хоромам и старинным купеческим домам: кажется, что пахнет чем-то давно прошедшим, что когда-то жило и умерло, оставив в комнатах свою душу. От передней до гостиной я прошел комнаты три-четыре. Помнятся мне ярко-желтые блестящие полы, люстры, окутанные в марлю, узкие полосатые ковры, которые тянулись не прямо от двери до двери, как обыкновенно, а вдоль стен, так что мне, не рискнувшему касаться своими грубыми болотными сапогами яркого пола, в каждой комнате приходилось описывать четырехугольник. В гостиной, где оставил меня лакей, стояла окутанная сумерками старинная дедовская мебель в белых чехлах. Глядела она сурово, по-стариковски, и, словно из уважения к ее покою, не слышно было ни одного звука.

Даже часы молчали.. Княжна Тараканова, казалось, уснула в золотой раме, а вода и крысы замерли по воле волшебства. Дневной свет, боясь нарушить общий покой, едва пробивался сквозь спущенные шторы и бледными, дремлющими полосами ложился на мягкие ковры.

Прошло три минуты, и в гостиную бесшумно вошла большая старуха в черном и с повязанной щекой. Она поклонилась мне и подняла шторы. Тотчас же, охваченные ярким светом, ожили на картине крысы и вода, проснулась Тараканова, зажмурились мрачные старики кресла.

— Они сию минуту-с...— вздохнула старуха, тоже жмурясь.

Еще несколько минут ожидания, и я увидел Надежду Львовну. Что прежде всего мне бросилось в глаза,

так это то, что она действительно была некрасива: мала ростом, тоща, сутуловата. Волосы ее, густые, каштановые, были роскошны, лицо, чистое и интеллигентное, дышало молодостью, глаза глядели умно и ясно, но вся прелесть головы пропадала благодаря большим жирным губам и слишком острому лицевому углу.

Я назвал себя и сообщил о цели своего прихода.

— Право, не знаю, как мне быть! — сказала она в раздумье, опуская глаза и улыбаясь.— Не хотелось бы отказывать и в то же время...

— Пожалуйста! — попросил я.

Надежда Львовна поглядела на меня и засмеялась. Я тоже засмеялся. Ее забавляло, вероятно, то, чем наслаждался Гронтовский, то есть право разрешать и запрещать; мне же мой визит стал вдруг казаться курьезным и странным.

— Не хотелось бы мне нарушать давно заведенный порядок,— сказала Кандурина.— Уже шесть лет, как на нашей земле запрещена охота. Нет! — решительно мотнула она головой.— Извините, я должна отказать вам. Если разрешить вам, то придется разрешать и другим. Я не люблю несправедливости. Или всем, или никому.

— Жаль! — вздохнул я.— Грустно тем более, что мы проехали пятнадцать верст. Я не один здесь,— прибавил я.— Со мной князь Сергей Иваныч.

Имя князя произнес я без всякой задней мысли, не побуждаемый никакими особенными соображениями и целями, а сболтнул его, не рассуждая, по простоте. Услыхав знакомое имя, Кандурина вздрогнула и остановила на мне долгий взгляд. Я заметил, как у нее побледнел нос.

— Это все равно...— сказала она, опуская глаза.

Разговаривая с нею, я стоял у окна, выходившего в рощу. Мне видна была вся роща с аллеями, с прудами и дорогою, по которой я только что шел. В конце дороги за воротами чернел задок нашего шарабана. Около ворот, спиною к дому и расставив ноги, стоял князь и беседовал с долговязым Гронтовским.

Кандурина все время находилась у другого окна. Она изредка поглядывала на рощу, а когда я произнес имя князя, она уже не отворачивалась от окна.

— Извините меня,— сказала она, щуря глаза на дорогу и на ворота,— но было бы несправедливо разрешить охоту только вам... И к тому же что за удовольствие убивать птиц? За что? Разве они вам мешают?

Жизнь одинокая, замуравленная в четырех стенах, с ее комнатными сумерками и тяжелым запахом гниющей мебели, располагает к сентиментальности. Мысль, оброненная Кандуриной, была почтенна, но я не удержался, чтобы не сказать:

— Если так рассуждать, то следует ходить босиком. Сапоги шьются из кожи убитых животных.

— Нужно отличать необходимость от прихоти,— глухо ответила Кандурина.

Она уже узнала князя и не отрывала глаз от его фигуры. Трудно описать восторг и страдание, какими светилось ее некрасивое лицо! Ее глаза улыбались и блестели, губы дрожали и смеялись, а лицо тянулось ближе к стеклам. Держась обеими руками за цветочный горшок, немного приподняв одну ногу и притаив дыхание, она напоминала собаку, которая делает стойку и с страстным нетерпением ожидает «пиль!».

Я поглядел на нее, на князя, не сумевшего солгать раз в жизни, и мне стало досадно, горько на правду и ложь, играющих такую стихийную роль в личном счастье людей.

Князь вдруг встрепенулся, прицелился и выстрелил. Ястреб, летевший над ним, взмахнул крыльями и стрелой понесся далеко в сторону.

— Высоко взял! — сказал я.— Итак, Надежда Львовна,— вздохнул я, отходя от окна,— вы не разрешаете...

Кандурина молчала.

— Честь имею кланяться,— сказал я,— прошу извинить за беспокойство...

Кандурина хотела было повернуться ко мне лицом и уже сделала четверть оборота, но тотчас же спрятала лицо за драпировку, как будто почувствовала на глазах слезы, которые хотела скрыть...

— Прощайте... Извините...— тихо сказала она.

Я поклонился ее спине и, уже не разбирая ковров, зашагал по ярко-желтым полам. Мне приятно было уходить из этого маленького царства позолоченной скуки и скорби, и я спешил, точно желая встрепенуться от тяжелого фантастического сна с его сумерками, Тараканової, люстрами...

У выхода догнала меня горничная и вручила мне записку. «Подателям сего охота дозволяется. Н. К.»— прочел я...

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Рассказ «идеалиста»

Против моих окон, заслоняя для меня солнце, высится громадный рыжий домище с грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная, безобразная скорлупа содержит в себе, однако, чудный, драгоценный орешек!

Каждое утро в одном из крайних окон я вижу женскую головку, и эта головка, я должен сознаться, заменяет для меня солнце! Я люблю ее не за красоту... В узеньких серых глазках, в крупных веснушках и в вечных папильотках из газетной бумаги нет ничего красивого. Люблю я ее за некоторые индивидуальные особенности ее возвышенного интеллекта.

Каждое утро я вижу, как молодая женщина в белой кофточке и в папильотках подходит к окну и с жадностью хватает газеты, лежащие на подоконнике. Я вижу, господа, как она развертывает газеты и с блеском в глазах спешит пробежать их скучные страницы... В это время покорнейше прошу наблюдать выражение ее лица. Это выражение бывает различно, смотря по обстоятельствам... То лицо ее озаряется блаженной улыбкой, и она, сияющая, с блестящими глазами, начинает весело прыгать по комнате; то страшное, невыразимое отчаяние искажает черты ее лица, и она, схватив себя за голову, как безумная, шагает из угла в угол... Никогда я не вижу ее равнодушной... Дни идут за днями, и счастье чередуется с отчаянием... Сегодня она безумно счастлива, завтра она хватает себя за папильотки. И нет конца ее радостям и мукам!..

Я отчасти психолог и знаток человеческого сердца. Психические явления, наблюдаемые мною в окне, доступны моему пониманию, как таблица умножения. Когда по лицу молодой женщины плавает блаженная улыбка, в моей голове теснятся такие мысли:

«Гм... Очевидно, известия, сообщаемые сегодняшними газетами, благоприятны... Очень рад... Вероятно, мою незнакомку радует поведение Цанкова и последняя речь Гладстона. Быть может, ее приятно волнует и многообещающее свидание Бисмарка с Кальноки... Очень может также статься, что в сегодняшних номерах она узрела нарождение нового русского таланта... Во всяком случае, я очень рад... Редким женщинам доступны радости такого высшего качества!»

И я в восторге начинаю шагать из угла в угол и восклицать:

— Чудное, редкое создание! Последнее слово женской эмансипации! О, побольше бы таких женщин! Такие именно женщины и нужны нам!

Когда же лицо незнакомки искажается отчаянием, я думаю:

«Ну, газет, стало быть, хоть и в руки не бери! Дрянь дело! Вероятно, мою vis-à-vis возмутил Каравелов или Муткуров... Думаю также, что двусмысленная игра утрирующей Австрии и поведение Милана оскорбили ее честную натуру... Она страдает, но какую честь делает ей это страдание!»

Я шагаю, волнуюсь и восклицаю:

— Вот она, настоящая женщина! Ей доступна гражданская скорбь! Она может страдать за человечество!..

И я без ума от этой редкой женщины... Едва только наступает утро, я уже стою у своего окна и жду, когда в окнах vis-à-vis покажется незнакомка. Ночью я мечтаю и жду утра, днем шагаю из угла в угол... Да, господа, это необыкновенная женщина!

. . . . . .

Летом, когда мои и ее окна были открыты, я не раз слышал истерический плач и счастливый смех... Однажды даже я слышал, как она, схватив себя за голову, в отчаянии и гневе прокричала:

— Негодяй! Мучитель!

И разорвала в клочки газету...

Жалею, что в моей квартире не живет Ауэрбах, Шпильгаген или иной романист, ищущий «новых людей»... Они воспользовались бы моей незнакомкой...

. . . . . .

Я чувствую, что благоговение мое мало-помалу обращается в страстную любовь. Да, я люблю ее! Боже, какая пропасть разделяет меня от нее! Душа ее полна гражданской скорби, я же давно уже утерял свои идеалы и, затертый средою, живу пошлыми интересами толпы...

Но тем не менее я, не будучи в силах преодолеть себя, иду к рыжему дому и звоню к дворнику. Два двугривенных развязывают дворницкий язык, и он на все мои расспросы рассказывает мне, что незнакомка живет в квартире № 5, имеет мужа и неисправно платит за квартиру. Муж ее каждое утро убегает куда-то и возвращается поздно вечером, пронося под мышкой четверть водки и кулек с провизией... Муж значится в паспорте сыном губернского секретаря, а незнакомка его женою...

. . . . . .

После третьей бессонной ночи посылаю *ей* визитную карточку. Видел сегодня, как она, прочитав газету, ударила кулаком по подоконнику. О вы, Каравеловы, Муткуровы, Салюсбери, кондуктора конножелезки, сахарозаводчики! Отчего я не в силах отплатить вам за все страдания, которые вы ей причиняете?

. . . . . .

Сегодня (10 сентября) муж *ее* спустил меня вниз по лестнице. Я счастлив. Ради нее я готов на все жертвы!.. Настоящее объяснение я откладываю на завтра.

. . . . . .

11-е сентября. Придя сегодня к ней, я застаю ее за газетами. Пробежав наскоро две-три газеты, она вдруг падает на стул и издает стон...

— Дорогая моя,— говорю я ей, целуя ее руку,— что волнует вас? Поделитесь со мной вашими скорбями, и, верьте, я сумею оценить ваше доверие! Ну, скажите, отчего вы сейчас плачете?

— Как же мне не плакать? — говорит моя незнакомка.— Вы посудите: сегодня нам нужно платить за

квартиру, а мой балбес-муженек дал в газеты только шестьдесят строчек! Ну, разве мы можем так жить? Вчера он написал ровно на одиннадцать рублей сорок копеек, а сегодня я едва насчитала три рубля! Ну, не несчастна ли я? Нет, и злой татарке не пожелаю быть женой репортера! Он негодяй! Мерзавец! Вместо того чтобы работать, у Саврасенкова сидит! Постой же, придешь ты!..

. . . . . .

«О женщины, женщины!» — сказал Шекспир, и для меня теперь понятно состояние его души...

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК

Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и, неугомонно треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал и изредка задавал вопросы...

— Но, говорят, жизнь там необычайно дорога? — спросил он между прочим.

— Как тебе сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не так страшен черт, как его рисуют. Я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за двадцать рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от уменья жить. Конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы... например, на Ай-Петри... возьмешь лошадь, проводника,— ну, тогда, конечно, дорого. Ужас, как дорого! Но, Васечка, какие там го-оры! Представь ты себе высокие-высокие горы, на тысячу раз выше, чем церковь... Наверху туман, туман, туман... Внизу громаднейшие камни, камни, камни... И пинии... Ах, вспомнить не могу!

— Кстати... без тебя тут я в каком-то журнале читал про тамошних проводников-татар... Такие мерзости! Что, это в самом деле какие-нибудь особенные люди?

Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску и мотнула головой.

— Обыкновенные татары, ничего особенного...— сказала она.— Впрочем, я видела их издалека, мельком... Указывали мне на них, но я не обратила внима-

ния. Всегда, папочка, я чувствовала предубеждение ко всем этим черкесам, грекам... маврам!..

— Говорят, донжуаны страшные.

— Может быть! Бывают мерзавки, которые...

Наталья Михайловна вдруг вскочила, точно вспомнила что-то страшное, полминуты глядела на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово:

— Васечка, я тебе скажу, какие есть без-нрав-ственны-е! Ах, какие безнравственные! Не то чтобы, знаешь, простые или среднего круга, а аристократки, эти надутые бонтонши! [1] Просто ужас, глазам своим я не верила! Умру и не забуду! Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы... ах, Васечка, я даже и говорить не хочу! Взять хотя бы мою спутницу Юлию Петровну... Такой хороший муж, двое детей... принадлежит к порядочному кругу, корчит всегда из себя святую и — вдруг, можешь себе представить... Только, папочка, это, конечно, entre nous...[2] Даешь честное слово, что никому не скажешь?

— Ну, вот еще выдумала! Разумеется, не скажу.

— Честное слово? Смотри же! Я тебе верю...

Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала:

— Представь ты себе такую вещь... Поехала эта Юлия Петровна в горы... Была отличная погода! Впереди едет она со своим проводником, немножко позади — я. Отъехали мы версты три-четыре, вдруг, понимаешь ты, Васечка, Юлия вскрикивает и хватает себя за грудь. Ее татарин хватает ее за талию, иначе бы она с седла свалилась... Я со своим проводником подъезжаю к ней... Что такое? В чем дело? «Ох, кричит, умираю! Дурно! Не могу дальше ехать!» Представь мой испуг! Так поедемте, говорю, назад! «Нет, говорит, Natalie, не могу я ехать назад! Если я сделаю еще хоть один шаг, то умру от боли! У меня спазмы!» И просит, умоляет ради бога меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город и привезли ей бестужевских капель, которые ей помогают.

---

[1] женщины хорошего тона (от *франц.* bon ton).

[2] между нами... (*франц.*)

— Постой... Я тебя не совсем понимаю...— пробормотал муж, почесывая лоб.— Раньше ты говорила, что видела этих татар только издалека, а теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь.

— Ну, ты опять придираешься к слову! — поморщилась дамочка, нимало не смущаясь.— Терпеть не могу подозрительности! Терпеть не могу! Глупо и глупо!

— Я не придираюсь, но... зачем говорить неправду? Каталась с татарами, ну, так тому и быть, бог с тобой, но... зачем вилять?

— Гм!.. вот странный! — возмутилась дамочка.— Ревнует к Сулейману! Воображаю, как это ты поехал бы в горы без проводника! Воображаю! Если не знаешь тамошней жизни, не понимаешь, то лучше молчи. Молчи и молчи! Без проводника там шагу нельзя сделать.

— Еще бы!

— Пожалуйста, без этих глупых улыбок! Я тебе не Юлия какая-нибудь... Я ее и не оправдываю, но я... пссс! Я хоть и не корчу из себя святой, но еще не настолько забылась. У меня Сулейман не выходил из границ... Не-ет! Маметкул, бывало, у Юлии все время сидит, а у меня, как только бьет одиннадцать часов, сейчас: «Сулейман, марш! Уходите!» И мой глупый татарка уходит. Он у меня, папочка, в ежовых был... Как только разворчится насчет денег или чего-нибудь, я сейчас: «Ка-ак? Что-о? Что-о-о?» Так у него вся душа в пятки... Ха-ха-ха... Глаза, понимаешь, Васечка, черные-пречерные, как у-уголь, морденка татарская, глупая такая, смешная... Я его вот как держала! Вот!

— Воображаю...— промычал супруг, катая шарики из хлеба.

— Глупо, Васечка! Я ведь знаю, какие у тебя мысли! Я знаю, что ты думаешь... Но, я тебя уверяю, он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Например, едем ли в горы, или к водопаду Учан-Су, я ему всегда говорю: «Сулейман, ехать сзади! Ну!» И всегда он ехал сзади, бедняжка... Даже во время... в самых патетических местах я ему говорила: «А все-таки ты не должен забывать, что ты только татарин, а я жена статского советника!» Ха-ха...

Дамочка захохотала, потом быстро оглянулась и, сделав испуганное лицо, зашептала:

— Но Юлия! Ах, эта Юлия! Я понимаю, Васечка, отчего не пошалить, отчего не отдохнуть от пустоты светской жизни! Все это можно... шали, сделай милость, никто тебя не осудит, но глядеть на это серьезно, делать сцены... нет, как хочешь, я этого не понимаю! Вообрази, она ревновала! Ну, не глупо ли? Однажды приходит к ней Маметкул, ее пассия... Дома ее не было... Ну, я зазвала его к себе... начались разговоры, то да се... они, знаешь, препотешные! Незаметно этак провели вечер... Вдруг влетает Юлия... Набрасывается на меня, на Маметкула... делает нам сцену... фи! Я этого не понимаю, Васечка...

Васечка крякнул, нахмурился и заходил по комнате.

— Весело вам там жилось, нечего сказать! — проворчал он, брезгливо улыбаясь.

— Ну, как это глу-упо! — обиделась Наталья Михайловна.— Я знаю, о чем ты думаешь! Всегда у тебя такие гадкие мысли! Не стану же я тебе ничего рассказывать. Не стану!

Дамочка надула губки и умолкла.

ЖИТЕЙСКАЯ МЕЛОЧЬ

Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет тридцати двух, упитанный, розовый, как-то под вечер зашел к госпоже Ирниной, Ольге Ивановне, с которою он жил, или, по его выражению, тянул скучный и длинный роман. И в самом деле первые страницы этого романа, интересные и вдохновенные, давно уже были прочтены; теперь страницы тянулись и всё тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного.

Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся ждать.

— Добрый вечер, Николай Ильич! — услышал он детский голос.— Мама сейчас придет. Она пошла с Соней к портнихе.

В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны, Алеша, мальчик лет восьми, стройный, выхоленный, одетый по картинке в бархатную курточку и длинные черные чулки. Он лежал на атласной подушке и, очевидно, подражая акробату, которого недавно видел в цирке, задирал вверх то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящные ноги, он пускал в ход руки или же порывисто вскакивал и становился на четвереньки, пытаясь стать вверх ногами. Все это проделывал он с самым серьезным лицом, мученически пыхтя, точно и сам не рад был, что бог дал ему такое беспокойное тело.

— А, здравствуй, мой друг! — сказал Беляев.— Это ты? А я тебя и не заметил. Мама здорова?

Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева.

— Как вам сказать? — сказал он и пожал плечами.— Ведь мама, в сущности, никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин, Николай Ильич, всегда что-нибудь болит.

Беляев от нечего делать стал рассматривать лицо Алеши. Раньше он во все время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования: торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль играет — и думать об этом как-то не хочется.

В вечерних сумерках лицо Алеши с его бледным лбом и черными немигающими глазами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какою она была на первых страницах романа. И ему захотелось приласкать мальчика.

— Поди-ка сюда, клоп! — сказал он.— Дай-ка я на тебя поближе погляжу.

Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву.

— Ну? — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо.— Что? Живешь?

— Как вам сказать? Прежде жилось гораздо лучше.

— Почему?

— Очень просто! Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают. А вы недавно стриглись!

— Да, недавно.

— То-то я замечаю. У вас бородка стала короче. Позвольте мне за нее потрогать... Не больно?

— Нет, не больно.

— Отчего это, когда за один волосок тянешь, то больно, а когда тянешь за много волос, то ни капельки не больно? Ха, ха! А знаете, вы напрасно бакенов не носите. Тут вот пробрить, а с боков... вот тут вот оставить волосы...

Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой.

— Когда я поступлю в гимназию,— говорил он,—

мама мне купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила... Ка-кой ме-даль-он! У папы точно такой же медальон, только у вас тут полосочки, а у него буквы... В середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка, не кольцами, а лентой...

— Откуда ты знаешь? Разве ты видаешь папу?

— Я? Мм... нет! Я...

Алеша покраснел и в сильном смущении, уличенный во лжи, стал усердно царапать ногтем медальон. Беляев пристально поглядел ему в лицо и спросил:

— Видаешь папу?

— Н... нет!..

— Нет, ты откровенно, по совести... По лицу ведь вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, так нечего уж тут вилять. Говори, видаешь? Ну, по-дружески!

Алеша задумался.

— А вы не скажете маме? — спросил он.

— Ну вот еще!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Побожитесь!

— Ах, несносный какой! За кого ты меня принимаешь!

Алеша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал:

— Только ради бога не говорите маме... Вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай бог, узнает мама, то достанется и мне, и Соне, и Пелагее... Ну, слушайте. С папой я и Соня видимся каждый вторник и пятницу. Когда Пелагея водит нас перед обедом гулять, то мы заходим в кондитерскую Апфеля, а там уж нас ждет папа... Он всегда в отдельной комнатке сидит, где, знаете, этакий мраморный стол и пепельница в виде гуся без спины...

— Что же вы там делаете?

— Ничего! Сначала здороваемся, потом все садимся за столик и папа начинает угощать нас кофеем и пирожками. Соня, знаете, ест пирожки с мясом, а я терпеть не могу с мясом! Я люблю с капустой и с яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, мы стараемся есть как можно больше.

— О чем же вы там говорите?

— С папой? Обо всем. Он нас целует, обнимает, рассказывает разные смешные остроты. Знаете, он говорит, что когда мы вырастем, то он возьмет нас к себе жить. Соня не хочет, а я согласен. Конечно, без мамы будет скучно, но я ведь буду ей письма писать! Странное дело, можно будет даже по праздникам к ней с визитом приходить — не правда ли? Еще папа говорит, что он мне лошадь купит. Добрейший человек! Я не знаю, зачем это мама не позовет его к себе жить и запрещает нам видаться с ним. Ведь он очень любит маму. Всегда он нас спрашивает, как ее здоровье, что она делает. Когда она была больна, то он схватил себя за голову вот этак и... и все бегает, бегает. Все просит нас, чтоб мы слушались ее и почитали. Послушайте, правда, что мы несчастные?

— Гм... Почему же?

— Это папа говорит. Вы, говорит, несчастные дети. Даже слушать его странно. Вы, говорит, несчастные, я несчастный и мама несчастная. Молитесь, говорит, богу и за себя и за нее.

Алеша остановил свой взгляд на чучеле птицы и задумался.

— Так-с...— промычал Беляев.— Так вот вы, значит, как. В кондитерских конгрессы сочиняете. И мама не знает?

— Не-ет... Откуда же ей знать? Пелагея ведь ни за что не скажет. А позавчера папа нас грушами угощал. Сладкие, как варенье! Я две съел.

— Гм... Ну, а того... послушай, про меня папа ничего не говорит?

— Про вас? Как вам сказать?

Алеша пытливо поглядел в лицо Беляева и пожал плечами.

— Особенного ничего не говорит.

— Примерно, что говорит?

— А вы не обидитесь?

— Ну, вот еще! Разве он меня бранит?

— Он не бранит, но, знаете ли... сердится на вас. Он говорит, что через вас мама несчастна и что вы... погубили маму. Ведь он какой-то странный! Я ему растол-

ковываю, что вы добрый, никогда не кричите на маму, а он только головой качает.

— Так-таки и говорит, что я ее погубил?

— Да. Вы не обижайтесь, Николай Ильич!

Беляев поднялся, постоял и заходил по гостиной.

— Это и странно и... смешно! — забормотал он, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь.— Сам кругом виноват, и я же погубил, а? Скажите, какой невинный барашек. Так-таки он тебе и говорил, что я погубил твою мать?

— Да, но... ведь вы же сказали, что не будете обижаться!

— Я не обижаюсь и... и не твое дело! Нет, это... это даже смешно! Я попал как кур во щи, и я же оказываюсь виноватым!

Послышался звонок. Мальчик рванулся с места и выбежал вон. Через минуту в гостиную вошла дама с маленькой девочкой — это была Ольга Ивановна, мать Алеши. За нею вприпрыжку, громко напевая и болтая руками, следовал Алеша. Беляев кивнул головой и продолжал ходить.

— Конечно, кого же теперь обвинять, как не меня? — бормотал он фыркая.— Он прав! Он оскорбленный муж!

— О чем ты это? — спросила Ольга Ивановна.

— О чем?.. А вот послушай-ка, какие штуки проповедует твой благоверный! Оказывается, что я подлец и злодей, я погубил и тебя и детей. Все вы несчастные, и один только я ужасно счастлив! Ужасно, ужасно счастлив!

— Я не понимаю, Николай! Что такое?

— А вот послушай сего юного сеньора! — сказал Беляев и указал на Алешу.

Алеша покраснел, потом вдруг побледнел, и все лицо его перекосило от испуга.

— Николай Ильич! — громко прошептал он.— Тссс!

Ольга Ивановна удивленно поглядела на Алешу, на Беляева, потом опять на Алешу.

— Спроси-ка! — продолжал Беляев.— Твоя Пелагея, этакая дура набитая, водит их по кондитерским и устраивает там свидания с папашенькой. Но не в этом

дело, дело в том, что папашенька страдалец, а я злодей, я негодяй, разбивший вам обоим жизнь...

— Николай Ильич! — простонал Алеша.— Ведь вы дали честное слово!

— Э, отстань! — махнул рукой Беляев.— Тут поважнее всяких честных слов. Меня лицемерие возмущает, ложь!

— Не понимаю! — проговорила Ольга Ивановна, и слезы заблестели у нее на глазах.— Послушай, Лелька,— обратилась она к сыну,— ты видаешься с отцом?

Алеша не слышал ее и с ужасом глядел на Беляева.

— Не может быть! — сказала мать.— Пойду допрошу Пелагею.

Ольга Ивановна вышла.

— Послушайте, ведь вы честное слово дали! —проговорил Алеша, дрожа всем телом.

Беляев махнул на него рукой и продолжал ходить. Он был погружен в свою обиду и уже по-прежнему не замечал присутствия мальчика. Ему, большому и серьезному человеку, было совсем не до мальчиков. А Алеша уселся в угол и с ужасом рассказывал Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще и многое другое, чему нет названия на детском языке.

ТЯЖЕЛЫЕ ЛЮДИ

Ширяев, Евграф Иванович, мелкий землевладелец из поповичей (его покойный родитель о. Иоанн получил в дар от генеральши Кувшинниковой сто две десятины земли), стоял в углу перед медным рукомойником и мыл руки. По обыкновению вид у него был озабоченный и хмурый, борода не чесана.

— Ну, да и погода! — говорил он.— Это не погода, а наказанье господне. Опять дождь пошел!

Он ворчал, а семья его сидела за столом и ждала, когда он кончит мыть руки, чтобы начать обедать. Его жена Федосья Семеновна, сын Петр — студент, старшая дочь Варвара и трое маленьких ребят давно уже сидели за столом и ждали. Ребята — Колька, Ванька и Архипка, курносые, запачканные, с мясистыми лицами и с давно не стриженными жесткими головами, нетерпеливо двигали стульями, а взрослые сидели не шевелясь, и, по-видимому, для них было все равно — есть или ждать...

Как бы испытывая их терпение, Ширяев медленно вытер руки, медленно помолился и не спеша сел за стол. Тотчас же подали щи. Со двора доносился стук плотницких топоров (у Ширяева строился новый сарай) и смех работника Фомки, дразнившего индюка. В окно стучал редкий, но крупный дождь.

Студент Петр, в очках и сутуловатый, ел и переглядывался с матерью. Несколько раз он клал ложку и кашлял, желая начать говорить, но, взглянувши при-

стально на отца, опять принимался за еду. Наконец, когда подали кашу, он решительно кашлянул и сказал:

— Мне бы сегодня ехать с вечерним поездом. Давно пора, а то я уж и так две недели пропустил. Лекции начинаются первого сентября!

— И поезжай,— согласился Ширяев.— Чего тебе тут ждать? Возьми и поезжай с богом.

Прошла минута в молчании.

— Ему, Евграф Иваныч, денег на дорогу надо...— тихо проговорила мать.

— Денег? Что ж! Без денег не уедешь. Коли нужно, хоть сейчас бери. Давно бы взял!

Студент легко вздохнул и весело переглянулся с матерью. Ширяев не спеша вынул из бокового кармана бумажник и надел очки.

— Сколько тебе? — спросил он.

— Собственно дорога до Москвы стоит одиннадцать рублей сорок две...

— Эх, деньги, деньги! — вздохнул отец (он всегда вздыхал, когда видел деньги, даже получая их).— Вот тебе двенадцать. Тут, брат, будет сдача, так это тебе в дороге сгодится.

— Благодарю вас.

Немного погодя студент сказал:

— В прошлом году я не сразу попал на урок. Не знаю, что будет в этом году; вероятно, не скоро найду себе заработок. Я просил бы вас дать мне рублей пятнадцать на квартиру и обед.

Ширяев подумал и вздохнул.

— Будет с тебя и десяти,— сказал он.— На, возьми!

Студент поблагодарил. Следовало бы попросить еще на одежду, на плату за слушание лекций, на книги, но, поглядев пристально на отца, он решил уже больше не приставать к нему. Мать же, неполитичная и нерассудительная, как все матери, не выдержала и сказала:

— Ты бы, Евграф Иваныч, дал ему еще рублей шесть на сапоги. Ну, как ему, погляди, ехать в Москву в такой рвани?

— Пусть мои старые возьмет. Они еще совсем новые.

— Хоть бы на брюки дал. На него глядеть срам...

И после этого тотчас же показался буревестник, перед которым трепетала вся семья: короткая, упитанная шея Ширяева стала вдруг красной, как кумач. Краска медленно поползла к ушам, от ушей к вискам и малопомалу залила все лицо. Евграф Иваныч задвигался на стуле и расстегнул воротник сорочки, чтобы не было душно. Видимо, он боролся с чувством, которое овладевало им. Наступила мертвая тишина. Дети притаили дыхание, Федосья же Семеновна, словно не понимая, что делается с ее мужем, продолжала:

— Ведь он уж не маленький. Ему совестно ходить раздетым.

Ширяев вдруг вскочил и изо всей силы швырнул на середину стола свой толстый бумажник, так что сшиб с тарелки ломоть хлеба. На лице его вспыхнуло отвратительное выражение гнева, обиды, жадности — всего этого вместе.

— Берите всё! — крикнул он не своим голосом.— Грабьте! Берите всё! Душите!

Он выскочил из-за стола, схватил себя за голову и, спотыкаясь, забегал по комнате.

— Обирайте всё до нитки! — кричал он визгливым голосом.— Выжимайте последнее! Грабьте! Душите за горло!

Студент покраснел и опустил глаза. Он не мог уже есть. Федосья Семеновна, не привыкшая за двадцать пять лет к тяжелому характеру мужа, вся съежилась и залепетала что-то в свое оправдание. На ее истощенном птичьем лице, всегда тупом и испуганном, появилось выражение изумления и тупого страха. Ребята и старшая дочь Варвара, девушка-подросток с бледным некрасивым лицом, положили свои ложки и замерли

Ширяев, свирепея все более, произнося слова одно другого ужаснее, подскочил к столу и стал вытряхивать из бумажника деньги.

— Берите! — бормотал он, дрожа всем телом.— Объели, опили, так нате вам и деньги! Ничего мне не нужно! Шейте себе новые сапоги и мундиры!

Студент побледнел и поднялся.

— Послушайте, папаша,— начал он задыхаясь.— Я... я прошу вас прекратить, потому что...

— Молчи! — крикнул на него отец и так громко, что очки у него свалились с носа.— Молчи!

— Прежде я... я мог сносить подобные сцены, но... теперь я отвык. Понимаете! Я отвык!

— Молчи! — крикнул отец и затопал ногами.— Ты должен слушать, что я говорю! Что хочу, то и говорю, а ты — молчать! В твои годы я деньги зарабатывал, а ты, подлец, знаешь, сколько мне стоишь? Я тебя выгоню! Дармоед!

— Евграф Иваныч,— пробормотала Федосья Семеновна, нервно шевеля пальцами.— Ведь он... ведь Петя...

— Молчи! — крикнул на нее Ширяев, и даже слезы выступили у него на глазах от гнева.— Это ты их избаловала! Ты! Ты всему виновата! Он нас не почитает, богу не молится, денег не зарабатывает! Вас десятеро, а я один. Из дому я вас выгоню!

Дочь Варвара долго глядела на мать разинув рот, потом перевела тупой взгляд на окно, побледнела и, громко вскрикнув, откинулась на спинку стула. Отец махнул рукой, плюнул и выбежал на двор.

Этим обыкновенно заканчивались у Ширяевых их семейные сцены. Но тут, к несчастью, студентом Петром овладела вдруг непреодолимая злоба. Он был так же вспыльчив и тяжел, как его отец и его дед протопоп, бивший прихожан палкой по головам. Бледный, с сжатыми кулаками подошел он к матери и прокричал самой высокой теноровой нотой, какую только он мог взять:

— Мне гадки, отвратительны эти попреки! Ничего мне от вас не нужно! Ничего! Скорей с голоду умру, чем съем у вас еще хоть одну крошку! Нате вам назад ваши подлые деньги! Возьмите!

Мать прижалась к стене и замахала руками, точно перед нею стоял не сын, а привидение.

— Чем же я виновата? — заплакала она.— Чем?

Сын так же, как и отец, махнул рукой и выбежал на двор. Дом Ширяева стоял одиночкой у балки, которая бороздой проходила по степи верст на пять. Края ее поросли молодым дубом и ольхой, а на дне бежал ручей. Дом одною стороною глядел на балку, другою выходил в поле. Заборов и плетней не было. Их заменяли всякого рода стройки, тесно жавшиеся друг к другу и замыкав-

шие перед домом небольшое пространство, которое считалось двором и где ходили куры, утки и свиньи.

Выйдя наружу, студент пошел по грязной дороге в поле. В воздухе стояла осенняя пронизывающая сырость. Дорога была грязна, блестели там и сям лужицы, а в желтом поле из травы глядела сама осень; унылая, гнилая, темная. По правую сторону дороги был огород, весь изрытый, мрачный, кое-где возвышались на нем подсолнечники с опущенными, уже черными головами.

Петр думал, что недурно бы пойти в Москву пешком, пойти, как есть, без шапки, в рваных сапогах и без копейки денег. На сотой версте его догонит встрепанный и испуганный отец, начнет просить его вернуться или принять деньги, но он даже не взглянет на него, а все будет идти, идти... Голые леса будут сменяться унылыми полями, поля — лесами; скоро земля забелеет первым снегом и речки подернутся льдом... Где-нибудь под Курском или под Серпуховом он, обессиленный и умирающий от голода, свалится и умрет. Его труп найдут, и во всех газетах появится известие, что там-то студент такой-то умер от голода...

Белая собака с грязным хвостом, бродившая по огороду и чего-то искавшая, поглядела на него и побрела за ним...

Он шел по дороге и думал о смерти, о горе близких, о нравственных мучениях отца, и тут же рисовал себе всевозможные дорожные приключения, одно другого причудливее, живописные места, страшные ночи, нечаянные встречи. Вообразил он вереницу богомолок, избушку в лесу с одним окошком, которое ярко светится в потемках; он стоит перед окошком, просится на ночлег... его пускают и — вдруг он видит разбойников. А то еще лучше, попадает он в большой помещичий дом, где, узнав, кто он, поят и кормят его, играют ему на рояли, слушают его жалобы, и в него влюбляется хозяйская дочь-красавица.

Занятый своим горем и подобными мыслями, молодой Ширяев все шел и шел... Впереди далеко-далеко на сером облачном фоне темнел постоялый двор; еще дальше двора, на самом горизонте, виден был маленький бугорок; это станция железной дороги. Этот бугорок напомнил

ему связь, существующую между местом, где он теперь стоял, и Москвой, в которой горят фонари, стучат экипажи, читаются лекции. И он едва не заплакал от тоски и нетерпения. Эта торжественная природа со своим порядком и красотой, эта мертвая тишина кругом опротивели ему до отчаяния, до ненависти!

— Берегись! — услышал он сзади себя громкий голос.

Мимо студента в легком изящном ландо прокатила знакомая старушка помещица. Он поклонился ей и улыбнулся во все лицо. И тотчас же он поймал себя на этой улыбке, которая совсем не шла к его мрачному настроению. Откуда она, если вся его душа полна досады и тоски?

И он подумал, что, вероятно, сама природа дала человеку эту способность лгать, чтобы он даже в тяжелые минуты душевного напряжения мог хранить тайны своего гнезда, как хранит их лисица или дикая утка. В каждой семье есть свои радости и свои ужасы, но как они ни велики, трудно увидать их постороннему глазу; они тайна. У этой помещицы, например, которая только что проехала мимо, родной отец за какую-то неправду полжизни нес гнев царя Николая, муж ее был картежником, из четырех сыновей ни из одного не вышло толку. Можно же представить себе, сколько в ее семье происходило ужасных сцен, сколько пролито слез. А между тем старуха казалась счастливою, довольной и на его улыбку ответила тоже улыбкой. Вспомнил студент своих товарищей, которые неохотно говорят о семьях, вспомнил свою мать, которая почти всегда лжет, когда ей приходится говорить о муже и детях...

До самых сумерек Петр ходил далеко от дома по дорогам и предавался невеселым мыслям. Когда заморосил дождь, он направился к дому. Возвращаясь, он решил во что бы то ни стало поговорить с отцом, втолковать ему, раз и навсегда, что с ним тяжело и страшно жить.

Дома застал он тишину. Сестра Варвара лежала за перегородкой и слегка стонала от головной боли. Мать с удивленным, виноватым лицом сидела около нее на сундуке и починяла брюки Архипки. Евграф Иваныч ходил от окна к окну и хмурился на погоду. По его по-

ходке, по кашлю и даже по затылку видно было, что он чувствовал себя виноватым.

— Стало быть, ты раздумал сегодня ехать? — спросил он.

Студенту стало жаль его, но тотчас же, пересилив это чувство, он сказал:

— Послушайте... Мне нужно поговорить с вами серьезно... Да, серьезно... Всегда я уважал вас и... и никогда не решался говорить с вами таким тоном, но ваше поведение... последний поступок...

Отец глядел в окно и молчал. Студент, как бы придумывая слова, потер себе лоб и продолжал в сильном волнении:

— Не проходит обеда и чая, чтобы вы не поднимали шума. Ваш хлеб останавливается у всех поперек горла... Нет ничего оскорбительнее, унизительнее, как попреки куском хлеба... Вы хоть и отец, но никто, ни бог, ни природа не дали вам права так тяжко оскорблять, унижать, срывать на слабых свое дурное расположение. Вы замучили, обезличили мать, сестра безнадежно забита, а я...

— Не твое дело меня учить,— сказал отец.

— Нет, мое дело! Надо мной можете издеваться, сколько вам угодно, но мать оставьте в покое! Я не позволю вам мучить мать! — продолжал студент, сверкая глазами.— Вы избалованы, потому что никто еще не решался идти против вас. Перед вами трепетали, немели, но теперь кончено! Грубый, невоспитанный человек! Вы грубы... понимаете? вы грубы, тяжелы, черствы! И мужики вас терпеть не могут!

Студент уже потерял нить и не говорил уже, а точно выпаливал отдельными словами. Евграф Иванович слушал и молчал, как бы ошеломленный; но вдруг шея его побагровела, краска поползла по лицу, и он задвигался.

— Молчать! — крикнул он.

— Ладно! — не унимался сын.— Не любите слушать правду? Отлично! Хорошо! Начинайте кричать! Отлично!

— Молчать, тебе говорю! — заревел Евграф Иванович.

В дверях показалась Федосья Семеновна с удивленным лицом, очень бледная; хотела она что-то сказать и не могла, а только шевелила пальцами.

— Это ты виновата! — крикнул ей Ширяев.— Ты его так воспитала!

— Я не желаю жить более в этом доме! — крикнул студент, плача и глядя на мать со злобой.— Не желаю я с вами жить!

Дочь Варвара вскрикнула за ширмой и громко зарыдала. Ширяев махнул рукой и выбежал из дому.

Студент пошел к себе и тихо лег. До самой полночи лежал он неподвижно и не открывая глаз. Он не чувствовал ни злобы, ни стыда, а какую-то неопределенную душевную боль. Он не обвинял отца, не жалел матери, не терзал себя угрызениями; ему понятно было, что все в доме теперь испытывают такую же боль, а кто виноват, кто страдает более, кто менее, богу известно...

В полночь он разбудил работника и приказал ему приготовить к пяти часам утра лошадь, чтобы ехать на станцию, разделся и укрылся, но уснуть не мог. Слышно ему было до самого утра, как неспавший отец тихо бродил от окна к окну и вздыхал. Никто не спал; все говорили редко, только шепотом. Два раза к нему за ширмы приходила мать. Все с тем же удивленно-тупым выражением, она долго крестила его и нервно вздрагивала...

В пять часов утра студент нежно простился со всеми и даже поплакал. Проходя мимо отцовской комнаты, он заглянул в дверь. Евграф Иванович одетый, еще не ложившийся, стоял у окна и барабанил по стеклам.

— Прощайте, я еду,— сказал сын.

— Прощай... Деньги на круглом столике...— ответил отец, не поворачиваясь.

Когда работник вез его на станцию, шел противный холодный дождь. Подсолнечники еще ниже нагнули свои головы, и трава казалась темнее.

МЕСТЬ

Лев Саввич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, както играл на именинах у приятеля в винт. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило, он вдруг вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь, пробрался между столов, прошел через гостиную, где танцевала молодежь (тут он снисходительно улыбнулся и отечески похлопал по плечу молодого жидкого аптекаря), затем юркнул в маленькую дверь, которая вела в буфетную. Тут, на круглом столике, стояли бутылки, графины с водкой... Около них, среди другой закуски, зеленея луком и петрушкой, лежала на тарелке наполовину уже съеденная селедка. Лев Саввич налил себе рюмку, пошевелил в воздухе пальцами, как бы собираясь говорить речь, выпил и сделал страдальческое лицо, потом ткнул вилкой в селедку и... Но тут за стеной послышались голоса.

— Пожалуй, пожалуй...— бойко говорил женский голос.— Только когда это будет?

«Моя жена,— узнал Лев Саввич.— С кем это она?»

— Когда хочешь, мой друг...— отвечал за стеной густой сочный бас.— Сегодня не совсем удобно, завтра я целешенький день занят...

«Это Дегтярев! — узнал Турманов в басе одного из своих приятелей.— И ты, Брут, туда же! Неужели и его уж подцепила? Экая ненасытная, неугомонная баба! Дня не может продышать без романа!»

— Да, завтра я занят,— продолжал бас.— Если хочешь, напиши мне завтра что-нибудь... Буду рад и счастлив... Только нам следовало бы упорядочить нашу корреспонденцию. Нужно придумать какой-нибудь фокус. Почтой посылать не совсем удобно. Если я тебе напишу, то твой индюк может перехватить письмо у почтальона; если ты мне напишешь, то моя половина получит без меня и наверное распечатает.

— Как же быть?

— Нужно фокус какой-нибудь придумать. Через прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Собакевич наверное держит в ежовых горничную и лакея... Что, он в карты играет?

— Да. Вечно, дуралей, проигрывает!

— Значит, в любви ему везет! — засмеялся Дегтярев.— Вот, мамочка, какой фортель я придумал... Завтра, ровно в шесть часов вечера, я, возвращаясь из конторы, буду проходить через городской сад, где мне нужно повидаться со смотрителем. Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к шести часам, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки...

— Знаю, знаю...

— Это выйдет и поэтично, и таинственно, и ново... Не узнает ни твой пузан, ни моя благоверная. Поняла?

Лев Саввич выпил еще одну рюмку и отправился к игорному столу. Открытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и нимало не возмутило. Время, когда он возмущался, устраивал сцены, бранился и даже дрался, давно уже прошло; он махнул рукой и теперь смотрел на романы своей ветреной супруги сквозь пальцы. Но ему все-таки было неприятно. Такие выражения, как индюк, Собакевич, пузан и пр., покоробили его самолюбие.

«Какая же, однако, каналья этот Дегтярев! — думал он, записывая минусы.— Когда встречается на улице, таким милым другом прикидывается, скалит зубы и по животу гладит, а теперь, поди-ка, какие пули отливает! В лицо другом величает, а за глаза я у него и индюк и пузан...»

Чем больше он погружался в свои противные минусы, тем тяжелее становилось чувство обиды...

«Молокосос...— думал он, сердито ломая мелок.— Мальчишка... Не хочется только связываться, а то я показал бы тебе Собакевича!»

За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Дегтярева, а тот, как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами: выиграл ли он? отчего он так грустен? и проч. И даже имел нахальство, на правах доброго знакомого, громко пожурить его супругу за то, что та плохо заботится о здоровье мужа. А супруга как ни в чем не бывало глядела на мужа маслеными глазками, весело смеялась, невинно болтала, так что сам черт не заподозрил бы ее в неверности.

Возвратясь домой, Лев Саввич чувствовал себя злым и неудовлетворенным, точно он вместо телятины съел за ужином старую калошу. Быть может, он пересилил бы себя и забылся, но болтовня супруги и ее улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана...

«По щекам бы его, подлеца, отхлопать...— думал он.— Оборвать бы его публично».

И он думал, что хорошо бы теперь побить Дегтярева, подстрелить его на дуэли как воробья... спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее — дохлую крысу, например... Недурно бы женино письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скабрезные стишки с подписью «твоя Акулька» или что-нибудь в этом роде.

Долго Турманов ходил по спальной и услаждал себя подобными мечтами. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу.

— Нашел, браво! — воскликнул он и даже просиял от удовольствия.— Это выйдет отлично! О-отлично!

Когда уснула его супруга, он сел за стол и после долгого раздумья, коверкая свой почерк и изобретая грамматические ошибки, написал следующее: «Купцу Дулинову. Милостивый Государь! Если к шести часам вечера сиводня 12-го сентября в мраморную вазу, что находица в городском саду налево от виноградной

беседки, не будит положено вами двести рублей, то вы будете убиты и ваша галантирейная лавка взлетит на воздух». Написав такое письмо, Лев Саввич подскочил от восторга.

— Какого придумано, а? — бормотал он, потирая руки.— Шикарно! Лучшей мести сам сатана не придумает! Естественно, купчина струсит и сейчас же донесет полиции, а полиция засядет к шести часам в кусты — и цап-царап его, голубчика, когда он за письмом полезет!.. То-то струсит! Пока дело выяснится, так успеет, каналья, и натерпеться и насидеться... Браво!

Лев Саввич прилепил марку к письму и сам снес его в почтовый ящик. Уснул он с блаженнейшей улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнивши свою выдумку, он весело замурлыкал и даже потрогал неверную жену за подбородочек. Отправляясь на службу и потом сидя в канцелярии, он все время улыбался и воображал себе ужас Дегтярева, когда тот попадет в западню...

В шестом часу он не выдержал и побежал в городской сад, чтобы воочию полюбоваться отчаянным положением врага.

«Ага!» — подумал он, встретив городового.

Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и, устремив жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпение его не имело пределов.

Ровно в шесть часов показался Дегтярев. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа. Цилиндр его ухарски сидел на затылке, и из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа. Он насвистывал и курил сигару...

«Вот сейчас узнаешь индюка да Собакевича! — злорадствовал Турманов.— Погоди!»

Дегтярев подошел к вазе и лениво сунул в нее руку... Лев Саввич приподнялся и впился в него глазами... Молодой человек вытащил из вазы небольшой пакет, оглядел его со всех сторон и пожал плечами, потом нерешительно распечатал, опять пожал плечами и изоб-

разил на лице своем крайнее недоумение: в пакете были две радужные бумажки!

Долго осматривал Дегтярев эти бумажки. В конце концов, не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнес: «Merci».

Несчастный Лев Саввич слышал это «mercі». Целый вечер потом стоял он против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаком и бормотал в негодовании:

— Трррус! Купчишка! Презренный Кит Китыч! Трррус! Заяц толстопузый!..

В СУДЕ

В уездном городе N-ске, в казенном коричневом доме, где, чередуясь, заседают земская управа, мировой съезд, крестьянское, питейное, воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных осенних дней разбирало наездом свои дела отделение окружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор сострил:

— Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция — совсем институт благородных девиц.

Но, вероятно, по пословице, что у семи нянек дитя бывает без глаза, этот дом поражает и гнетет свежего, нечиновного человека своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта, как снаружи, так и внутри. Даже в самые яркие весенние дни он кажется покрытым густою тенью, а в светлые лунные ночи, когда деревья и обывательские домишки, слившись в одну сплошную тень, погружены в тихий сон, он один как-то нелепо и некстати, давящим камнем высится над скромным пейзажем, портит общую гармонию и не спит, точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний о прошлых, непрощенных грехах. Внутри все сарайно и крайне непривлекательно. Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие у себя дома сцены из-за легкого чада или пятнышка на полу, легко мирятся здесь с жужжащими вентиляциями,

противным запахом курительных свечек и с грязными, вечно потными стенами.

Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было приступлено немедленно, с заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончались быстро, как обедня без певчих, так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картинного впечатления от всей этой пестрой, бегущей, как полая вода, массы лиц, движений, речей, несчастий, правды, лжи... К двум часам было сделано многое: двоих присудили к арестантским ротам, одного привилегированного лишили прав и приговорили к тюрьме, одного оправдали, одно дело отложили...

Ровно в два часа председательствующий объявил к слушанию дело «по обвинению крестьянина Николая Харламова в убийстве своей жены». Состав суда остался тот же, что был и на предыдущем деле, только место защитника заняла новая личность — молодой, безбородый кандидат на судебные должности в сюртуке со светлыми пуговицами.

— Введите подсудимого! — распорядился председатель.

Но подсудимый, заранее приготовленный, уже шел к своей скамье. Это был высокий, плотный мужик лет пятидесяти пяти, совершенно лысый, с апатичным волосатым лицом и с большой рыжей бородой. За ним следовал маленький тщедушный солдатик с ружьем.

Почти у самой скамьи с конвойным произошла маленькая неприятность. Он вдруг споткнулся и выронил из рук ружье, но тотчас же поймал его на лету, причем сильно ударился коленом о приклад. В публике послышался легкий смех. От боли или, быть может, от стыда за свою неловкость солдат густо покраснел.

После обычного опроса подсудимого, перетасовки присяжных, переклички и присяги свидетелей началось чтение обвинительного акта. Узкогрудый, бледнолицый секретарь, сильно похудевший для своего мундира и с пластырем на щеке, читал негромким, густым басом, быстро, по-дьячковски, не повышая и не понижая голоса, как бы боясь натрудить свою грудь; ему вторила

вентиляция, неугомонно жужжавшая за судейским столом, и в общем получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий, наркотический характер.

Председатель, не старый человек, с до крайности утомленным лицом и близорукий, сидел в своем кресле, не шевелясь и держа ладонь около лба, как бы заслоняя глаза от солнца. Под жужжанье вентиляции и секретаря он о чем-то думал. Когда секретарь сделал маленькую передышку, чтобы начать с новой страницы, он вдруг встрепенулся и оглядел посовелыми глазами публику, потом нагнулся к уху своего соседа-члена и спросил со вздохом:

— Вы, Матвей Петрович, остановились у Демьянова?

— Да-с, у Демьянова,— ответил член, тоже встрепенувшись.

— В следующий раз, вероятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсем нельзя останавливаться! Шум, гвалт всю ночь! Стучат, кашляют, детишки плачут... Невозможно!

Товарищ прокурора, полный, упитанный брюнет, в золотых очках и с красивой, выхоленной бородой, сидел неподвижно, как статуя, и, подперев щеку кулаком, читал байроновского «Каина». Его глаза были полны жадного внимания, и брови удивленно приподнимались все выше и выше... Изредка он откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядел вперед себя и затем опять погружался в чтение. Защитник водил по столу тупым концом карандаша и, склонив голову набок, думал... Его молодое лицо не выражало ничего, кроме неподвижной, холодной скуки, какая бывает на лицах школьников и людей служащих, изо дня в день обязанных сидеть на одном и том же месте, видеть все те же лица, те же стены. Предстоящая речь его нисколько не волновала. Да и что такое эта речь? По приказанию начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она бесцветна и скучна, без страсти и огня выпалит он ее перед присяжными, а там дальше — скакать по грязи и под дождем на станцию, оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд, читать новую речь... скучно!

Подсудимый сначала нервно покашливал в рукав и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Он тупо-почтительно глядел на судейские мундиры, на утомленные лица присяжных и покойно мигал глазами. Судебная обстановка и процедура, ожидание которых так томило его душу, когда он сидел в тюрьме, теперь подействовали на него самым успокаивающим образом. Он встретил здесь совсем не то, что мог ожидать. Над ним тяготело обвинение в убийстве, а между тем он не встретил здесь ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни громких фраз о возмездии, ни участия к своей необыкновенной судьбе; ни один из судящих не остановил на нем долгого, любопытного взгляда... Пасмурные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора — все это было пропитано канцелярским равнодушием и дышало холодом, точно убийца составлял простую канцелярскую принадлежность или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, бог знает кем заведенная машинка...

Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедиям здесь так же привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям, и что именно в этом-то машинном бесстрастии и кроется весь ужас и вся безвыходность его положения. Кажется, не сиди он смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами к милосердию, горько каяться, умри он с отчаяния — и все это разобьется о притупленные нервы и привычку, как волна о камень.

Когда секретарь кончил, председатель для чего-то погладил перед собою стол, долго щурил глаза на подсудимого и потом уж спросил, лениво двигая языком:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным в том, что в вечер девятого июня убили вашу жену?

— Никак нет,— ответил подсудимый, поднимаясь и придерживая на груди халат.

Вслед за этим суд торопливо приступил к допросу свидетелей. Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник, производивший дознание. Все они, обрызганные грязью, утомленные пешим хождением и ожиданием в свидетельской комнате, унылые и пасмурные,

показали одно и то же. Они показали, что Харламов жил со своею старухой «хорошо», как все: бил ее только тогда, когда напивался. Девятого июня, когда село солнце, старуха была найдена в сенях с пробитым черепом; около нее в луже крови валялся топор. Когда хватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастии, его не было ни в избе, ни на улице. Стали бегать по селу и искать, избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез и дня через два сам явился в контору, бледный, оборванный, с дрожью во всем теле. Его связали и посадили в холодную.

— Подсудимый,— обратился председатель к Харламову,— не можете ли вы объяснить суду, где вы находились в эти два дня после убийства?

— По полю ходил... Не евши, не пивши...

— Зачем же вы скрылись, если не вы убивали?

— Испужался... Боялся, чтоб не засудили...

— Ага... Хорошо, садитесь!

Последним был допрошен уездный врач, вскрывавший покойную старуху. Он сообщил суду все, что помнил из своего протокола вскрытия и что успел придумать, идя утром в суд. Председатель щурил глаза на его новую, лоснящуюся черную пару, на щегольской галстук, на двигавшиеся губы, слушал, и в его голове как-то сама собою шевелилась ленивая мысль: «Теперь все ходят в коротких сюртуках, зачем же он сшил себе длинный? Почему именно длинный, а не короткий?»

Сзади председателя послышался осторожный скрип сапог. Это товарищ прокурора подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу.

— Михаил Владимирович,— нагнулся прокурор к уху председателя,— удивительно неряшливо этот Корейский вел следствие. Родной брат не допрошен, староста не допрошен, из описания избы ничего не поймешь...

— Что делать... что делать! — вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла.— Развалина... песочные часы!

— Кстати,— продолжал шептать товарищ прокурора,— обратите ваше внимание — в публике, на пе-

редней лавке, третий справа... актерская физиономия... Это местный денежный туз. Имеет около пятисот тысяч наличного капитала.

— Да? По фигуре незаметно... Что, голубушка, не сделать ли нам перерыв?

— Кончим следствие, тогда уж.

— Как знаете... Ну-с? — поднял председатель глаза на врача.— Так вы находите, что смерть была моментальная?

— Да, вследствие значительного повреждения мозгового вещества...

Когда врач кончил, председатель поглядел в пространство между прокурором и защитником и предложил:

— Не имеете ли что спросить?

Товарищ, не отрывая глаз от «Каина», отрицательно мотнул головой; защитник же неожиданно зашевелился и, откашлявшись, спросил:

— Скажите, доктор, по размерам раны можно ли бывает судить о... о душевном состоянии преступника? То есть я хочу спросить, размер повреждения дает ли право думать, что подсудимый находился в состоянии аффекта?

Председатель поднял свои сонные, равнодушные глаза на защитника. Прокурор оторвался от «Каина» и поглядел на председателя. Только поглядели, но ни улыбки, ни удивления, ни недоумения — ничего не выражали их лица.

— Пожалуй,— замялся врач,— если принимать в расчет силу, с какой... э-э-э... преступник наносит удар... Впрочем... извините, я не совсем понял ваш вопрос...

Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался с языка только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции.

Отпустив врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Первым был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое кровяное пятно. О происхождении этого пятна спрошенный Харламов показал:

— Дня за три до смерти старухи Пеньков своей лошади кровь бросал... Я там был, ну, известно, помогавши, и... и умазался...

— Однако Пеньков показал сейчас, что он не помнит, чтобы вы присутствовали при кровопускании...

— Не могу знать.

— Садитесь!

Приступили к осмотру топора, которым была убита старуха.

— Это не мой топор,— заявил подсудимый.

— Чей же?

— Не могу знать... У меня не было топора...

— Крестьянин одного дня не может обойтись без топора. И ваш сосед, Иван Тимофеич, с которым вы починяли сани, показал, что это именно ваш топор...

— Не могу знать, а только я, как перед богом (Харламов протянул вперед себя руку и растопырил пальцы)... как перед истинным создателем. И время того не помню, чтобы у меня свой топор был. Был у меня такой же, словно как будто поменьше, да сын потерял, Прохор. Года за два перед тем, как ему на службу идтить, поехал за дровами, загулял с ребятами и потерял...

— Хорошо, садитесь!

Это систематическое недоверие и нежелание слушать, вероятно, раздражили и обидели Харламова. Он замигал глазами, и на скулах его выступили красные пятна.

— Как перед богом! — продолжал он, вытягивая шею.— Ежели не верите, то извольте сына Прохора спросить. Прошка, где топор?— вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойному.— Где?

Это было тяжелое мгновение! Все как будто присели или стали ниже... Во всех головах, сколько их было в суде, молнией блеснула одна и та же страшная, невозможная мысль, мысль о могущей быть роковой случайности, и ни один человек не рискнул и не посмел взглянуть на лицо солдата. Всякий хотел не верить своей мысли и думал, что он ослышался.

— Подсудимый, говорить со стражей не дозволяется...— поспешил сказать председатель.

Никто не видел лица конвойного, и ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске. Судебный пристав тихо поднялся с места и на цыпочках, балансируя рукой, вышел из залы. Через полминуты послышались глухие шаги и звуки, какие бывают при смене часовых.

Все подняли головы и, стараясь глядеть так, как будто бы ничего и не было, продолжали свое дело...

НЫТЬЕ

Письмо издалека

Милый друг! Сейчас только кончил с уборкой своей комнаты. Утомлен до мозга костей, рука плохо пишет и тем не менее сажусь за стол и спешу полакомить себя беседой с таким хорошим человеком, как вы. Вчера я переехал на житье в другую деревню, поближе к Красноярску, но адрес остается пока прежний. Изба у меня теперь просторная и сравнительно светлая, по 3 рубля в месяц с самоваром. Только во время топки бывает чадно, и ночью я чувствовал легкую тяжесть в голове. Хозяйка моя старая-престарая старушенция, глуха, глуповата и, по всем видимостям, староверка: по крайней мере когда я курю, она чихает и не хочет со мной говорить. Житье мое по-прежнему хмурое, сонное и однотонное. День идет за днем, ночь за ночью. Впрочем, уже не так скучно, как было раньше. Я привык рано ложиться, учусь рисовать и выпиливаю всякие безделушки. Изредка попадаются газеты, которые я прочитываю с жадностью, не пропуская даже объявлений. Пробовал было от скуки написать свою «Исповедь», но получилась какая-то чепуха. Директор банка, прокурор и присяжные вышли у меня какими-то зверями, защитник — абрикосовской тянучкой, а сам я — барашком. Описание предварительного заключения вышло слезливо и натянуто... И к тому же, душа моя, описывать любовь, подчеркивать то обстоятельство, что растратил деньги не я, а любимая женщина,— это так пошло! Вы в последнем письме защищаете меня, но, странный вы человек, ведь не *она* была бухгалтером, а я! Впрочем, не будем говорить об этом...

Третьего дня получил от сестры Нади лукутинский портсигар и дюжину носков. Одновременно с посылкой пришло от нее письмо, в котором бедная девочка на четырех страницах беспокоится о моем здоровье. Успокойте ее, дружище. Скажите, что я жив и здрав, как бык. Уверяю и вас, что я здоров. Говоря, что я не чахну и не кашляю, я, честное слово, нисколько не утрирую. Впрочем, в последнее время в моем организме проделываются какие-то непонятные странности,— не серьезные и, вероятно, нервного характера. Я не придаю им значения, но возиться с ними все-таки приходится. Со мною делается что-то вроде припадков. От них я не худею, но штука все-таки неприятная... Спросите-ка вы какого-нибудь московского доктора, чем мне от них избавиться? Описать вам свою болезнь в общих чертах едва ли сумею, но вот вам история и картина моего последнего припадка. Неделю тому назад, в ночь под среду, я вдруг проснулся от страшной зубной боли. Вы знаете, я всегда страдал зубами, но на этот раз мои зубы особенно отличились. Проснувшись, я едва очнулся от невыносимой боли... Стреляло во всю щеку и отдавало даже в руку. Я бегал, прыгал, плакал,— то прятал голову под подушку, то выставлял ее в холодные сени... Мысль, что мне негде и нечем лечиться, еще более усиливала мою муку... Я старался вспомнить, что я там у себя дома предпринимал в подобных случаях... Я вспомнил одеколон, иод, всякого рода эликсиры, спасительный коньяк, т. е. все то, чего у меня здесь нет... Попросил я у хозяев водки, чтобы пополоскать зубы, но они не дали, солгав, что у них ее нет. Не могу, дорогой мой, передать вам всего того, что я выстрадал в эту ужасную, длинную ночь!.. Представьте вы себе потемки, угар, запах овчины... Время тянется, тянется, и нет ему конца, точно оно остановилось на одном месте. Около меня ни одной живой души... Круглое одиночество слышится в каждом моем шаге, в каждом стоне... Воспоминания страшны, надежд нет... А тут еще, точно желая показать свое равнодушие к моим страданиям, в темные окна монотонно и неласково стучит холодный осенний дождь... Друг мой, простите за сентиментальность: если когда-нибудь в такую ночь вам придется встретить больного, холодного, голодного, то,

прошу вас, дайте ему приют! Не верьте тем, которые, сидя в теплых и светлых кабинетах, отрицают копеечную милостыню и временную помощь! Не отказывайте в пятаке на ночлег... (*Последние строки зачеркнуты, но разобрать их все-таки удалось.*) Не помню, как рассвело и началось утро... Помню только, что и утром я плакал, прыгал и держался обеими руками за щеку. Обыкновенно моя зубная боль продолжается дня три-четыре, в этот же раз она кончилась гораздо раньше. Дело в том, что часу в девятом утра я получил от почтенного Осипа Ивановича, о котором я писал вам, несколько номеров газеты. (Он снабжает меня не только чайной посудой, но и газетами, которые, в свою очередь, получает из третьих рук.) В одном из этих номеров я увидел место, очерченное красным карандашом, вероятно, рукою услужливого Осипа Ивановича. Можете представить мое изумление! Это место касалось моей особы... В нем описывается, как бывший бухгалтер такого-то банка, осужденный за подлог и растрату, живет в ссылке... Из этого «слуха, сообщаемого нам из достоверного источника», я узнал, что я катаюсь на рысаках, выписываю для содержанок платья из Парижа, пью шампанское, как воду, вращаю судьбами клуба и т. д. Я, не имеющий глотка водки для больного зуба, считаюсь местным законодателем мод, заражаю округ своим распутством и наглостью, бравирую положением вора, много укравшего и умевшего спрятать! Вся эта ложь пересыпана такими лестными для меня эпитетами, как душка, хлыщ, валет, шулер и т. п. В общем, читатели приглашаются посетовать на слабость кары, посмеяться и плюнуть по моему адресу...

Прочел я этот «достоверный слух» раза три, точно не веря глазам своим... Человек я маленький, натура не крупная... Я не пренебрег, как бы следовало, не плюнул, а дал полную волю своей тряпичности. Со мной начался припадок. Сначала я заплакал горько и громко, как ребенок. Потом всего меня охватила злоба... Не помня себя, я как бешеный изорвал газету на мельчайшие кусочки, стал топтать ее ногами и посылать в воздух самые отборные, извозчицкие ругательства... Я бегал по всей избе, жаловался, топал ногами, стучал

кулаками, ударил скамьей ни в чем не повинную собаку... Сознание полной беззащитности, воспоминания, тоска по родине, чувство погибшей молодости, зубная боль — все это сконцентрировалось в одну тяжелую гирю, которая давила мой мозг и возбуждала меня до ярости, до безумства. Помню, в конце концов я лежал на кровати и просил, чтобы меня не держали, что моей голове и без воды холодно... Зубной боли я уже не чувствовал — не до нее мне было...

И что у них за охота бить лежачего? Впрочем, не в них дело... Дня два после припадка я ходил, как разбитый, с головной болью и с ломотой во всем теле. Вот и все. Спросите какого-нибудь из ваших знакомых эскулапов, что означают сии припадки и как от них избавиться? Если доктор по письму поймет мою болезнь, то пусть пропишет что-нибудь, буде пожелает; вы же купите лекарство и вышлите мне его, взяв денег на расходы у сестренки. О моих припадках Наде — ни полслова.

Пришлите в письме почтовых марок. Послезавтра день моего рождения. Мне стукнет ровно 28 лет. В эти годы добрые люди едва только науки кончают, а я на манер «нашего пострела», который всюду поспел, ухитрился уже пройти — всю жизнь от аза до ижицы: и науки кончил, и своим домом жил, и под судом был, и в Сибирь попал... Бывают же на свете такие редкие, даровитые натуры! И то сказать: одному талант, другому два, а иному кукиш с маслом. Если вздумаете расщедриться, то денег мне не присылайте. Пришлите лучше табаку, чаю по возможности не плохого и каких-нибудь духов (голубчик, английских!). Теперь только вижу, до какой степени я избалован. Например, меня всего коробит от того, что я пишу на дешевой почтовой бумаге... Мне как-то странно, что бумага не гибка, не лоснится и не пахнет тем незабвенным ветерком, который вносила с собой всегда N — е, когда приходила ко мне...

Однако прощайте. Не забывайте и пишите. Крепко жму руку.

Весь ваш *N. N.*

С подлинным верно:

А. Чехонте

СТАТИСТИКА

Некий философ сказал, что если бы почтальоны знали, сколько глупостей, пошлостей и нелепостей приходится им таскать в своих сумках, то они не бегали бы так быстро и наверное бы потребовали прибавки жалованья. Это правда. Иной почтальон, задыхаясь и сломя голову, летит на шестой этаж ради того, чтобы дотащить только одну строку: «Душка! Целую! Твой Мишка!» — или же визитную карточку: «Одеколон Панталонович Подбрюшкин». Другой бедняга четверть часа звонится у двери, зябнет и томится, чтобы доставить по адресу скабрезное описание кутежа у капитана Епишкина. Третий, как угорелый, бегает по двору и ищет дворника, чтобы передать жильцу письмо, в котором просят «не попадаться, иначе я тебе в морду дам!» или же «поцеловать милых деточек, а Анюточку — с днем рожденья!». А поглядеть на них, так подумаешь, что они тащат самого Канта или Спинозу!

Один досужий Шпекин, любивший запускать глазенапа и узнавать, «что новенького в Европе», составил некоторого рода статистическую табличку, являющуюся драгоценным вкладом в науку. Из этого продукта долголетних наблюдений видно, что, в общем, содержание обывательских писем колеблется, смотря по сезону. Весною преобладают письма любовные и лечебные, летом — хозяйственные и назидательно-супружеские, осенью — свадебные и картежные, зимою — служебные

и сплетнические. Если же взять письма оптом за целый год и пустить в ход процентный метод, то на каждые сто писем приходится:

семьдесят два таких, которые пишутся зря, от нечего делать, только потому, что есть под рукой бумага и марка. В таких письмах описывают балы и природу, жуют мочалу, переливают из пустого в порожнее, спрашивают: «Отчего вы не женитесь?», жалуются на скуку, ноют, сообщают, что Анна Семеновна в интересном положении, просят кланяться «всем! всем!», бранят, что у них не бываете, и проч.;

пять любовных, из коих только в одном делается предложение руки;

четыре поздравительных;

пять просящих взаймы до первой получки;

три ужасно надоедных, писанных женскою рукой и пахнущих женщиной; в этих рекомендуют «молодого человека» или просят достать что-нибудь вроде театральной контрамарки, новой книжки и т. п.; в конце извинение за то, что письмо написано неразборчиво и небрежно;

два, посылаемых в редакцию со стихами;

одно «умное», в котором Иван Кузьмич высказывает Семену Семеновичу свое мнение о болгарском вопросе или о вреде гласности;

одно, в котором муж именем закона требует, чтобы жена вернулась домой для «совместного сожития»;

два к портному с просьбой сшить новые брюки и подождать старый должок;

одно, напоминающее о старом долге;

три деловых и

одно ужасное, полное слез, мольбы и жалоб: «Сейчас умер папа» или «застрелился Коля, поспешите!», и т. д.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассказ для девиц

Валентин Петрович Передеркин, молодой человек приятной наружности, одел фрачную пару и лакированные ботинки с острыми, колючими носками, вооружился шапокляком и, едва сдерживая волнение, поехал к княжне Вере Запискиной...

Ах, как жаль, что вы не знаете княжны Веры! Это милое, восхитительное создание с кроткими глазами небесно-голубого цвета и с шелковыми волнистыми кудрями.

Волны морские разбиваются об утес, но о волны ее кудрей, наоборот, разобьется и разлетится в прах любой камень... Нужно быть бесчувственным балбесом, чтобы устоять против ее улыбки, против неги, которою так и дышит ее миниатюрный, словно выточенный бюстик. Ах, какою надо быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя на верху блаженства, когда она говорит, смеется, показывает свои ослепительно белые зубки!

Передеркина приняли...

Он сел против княжны и, изнемогая от волнения, начал:

— Княжна, можете ли вы выслушать меня?

— О да!

— Княжна... простите, я не знаю, с чего начать... Для вас это так неожиданно... Экспромтно... Вы рассердитесь...

Пока он полез в карман и доставал оттуда платок, чтобы отереть пот, княжна мило улыбалась и вопросительно глядела на него.

— Княжна! — продолжал он.— С тех пор, как я увидел вас, в мою душу... запало непреодолимое желание... Это желание не дает мне покоя ни днем, ни ночью, и... если оно не осуществится, я... я буду несчастлив.

Княжна задумчиво опустила глаза. Передеркин помолчал и продолжал:

— Вы, конечно, удивитесь... вы выше всего земного, но... для меня вы самая подходящая...

Наступило молчание.

— Тем более,— вздохнул Передеркин,— что мое имение граничит с вашим... я богат...

— Но... в чем дело? — тихо спросила княжна.

— В чем дело? Княжна! — заговорил горячо Передеркин, поднимаясь.— Умоляю вас, не откажите... Не расстройте вашим отказом моих планов. Дорогая моя, позвольте сделать вам предложение!

Валентин Петрович быстро сел, нагнулся к княжне и зашептал:

— Предложение в высшей степени выгодное!.. Мы в один год продадим миллион пудов сала! Давайте построим в наших смежных имениях салотопенный завод на паях!

Княжна подумала и сказала:

— С удовольствием...

А читательница, ожидавшая мелодраматического конца, может успокоиться.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Первый час ночи. Перед дверью Марьи Петровны Кошкиной, старой девы-акушерки, останавливается высокий господин в цилиндре и в шинели с капюшоном. В осенних потемках не отличишь ни лица, ни рук, но уже в манере покашливать и дергать за звонок слышится солидность, положительность и некоторая внушительность. После третьего звонка отворяется дверь и показывается сама Марья Петровна. На ней, поверх белой юбки, наброшено мужское пальто. Маленькая лампочка с зеленым колпаком, которую она держит в руках, красит в зелень ее заспанное, весноватое лицо, жилистую шею и жидкие рыжеватые волосики, выбивающиеся из-под чепца.

— Могу ли я видеть акушерку? — спрашивает господин.

— Я-с акушерка. Что вам угодно?

Господин входит в сени, и Марья Петровна видит перед собой высокого, стройного мужчину, уже не молодого, но с красивым, строгим лицом и с пушистыми бакенами.

— Я коллежский асессор Кирьяков,— говорит он.— Пришел я просить вас к своей жене. Только, пожалуйста, поскорее.

— Хорошо-с...— соглашается акушерка.— Я сейчас оденусь, а вы потрудитесь подождать меня в зале.

Кирьяков снимает шинель и входит в залу. Зеленый свет лампочки скудно ложится на дешевую мебель в

белых заплатанных чехлах, на жалкие цветы, на косяки, по которым вьется плющ... Пахнет геранью и карболкой. Стенные часики тикают робко, точно конфузясь перед посторонним мужчиной.

— Я готова-с! — говорит Марья Петровна, входя минут через пять в залу, уже одетая, умытая и бодрая.— Поедемте-с!

— Да, надо спешить...— говорит Кирьяков.— Между прочим, не лишний вопрос: сколько вы возьмете за труды?

— Я, право, не знаю...— конфузливо улыбается Марья Петровна.— Сколько дадите...

— Нет, я этого не люблю,— говорит Кирьяков, холодно и неподвижно глядя на акушерку.— Договор лучше денег. Мне не нужно вашего, вам не нужно моего. Во избежание недоразумений нам разумнее уговориться заранее.

— Я, право, не знаю... Определенной цены нет.

— Я сам тружусь и привык ценить чужой труд. Несправедливости я не люблю. Для меня одинаково будет неприятно, если я вам не доплачу или если вы с меня потребуете лишнее, а потому я настаиваю на том, чтобы вы назвали вашу цену.

— Ведь цены разные бывают!

— Гм!.. Ввиду ваших колебаний, которые мне непонятны, я сам должен назначить цену. Дать вам я могу два рубля.

— Что вы, помилуйте!..— говорит Марья Петровна, краснея и пятясь назад.— Мне даже совестно... Чем два рубля брать, так я уж лучше даром. Извольте, за пять рублей...

— Два рубля, ни копейки больше. Вашего мне не нужно, но и лишнее платить я не намерен.

— Как вам угодно-с, но за два рубля я не поеду...

— Но по закону вы не имеете права отказываться.

— Извольте, я задаром поеду.

— Даром я не хочу. Каждый труд должен быть вознаграждаем. Я сам тружусь и понимаю...

— За два рубля не поеду-с...— кротко заявляет Марья Петровна.— Извольте, задаром...

— В таком случае очень жалею, что напрасно обеспокоил... Честь имею кланяться.

— Какие вы, право...— говорит акушерка, провожая Кирьякова в переднюю.— Если уж вам так угодно, то извольте, я за три рубля поеду.

Кирьяков хмурится и думает целых две минуты, сосредоточенно глядя на пол, потом говорит решительно «нет!» и выходит на улицу. Удивленная и сконфуженная акушерка запирает за ним дверь и идет к себе в спальню.

«Красивый, солидный, но какой странный, бог с ним...» — думает она, ложась.

Но не проходит и получаса, как опять звонок; она поднимается и видит в передней того же Кирьякова.

— Удивительные беспорядки! — говорит он.— Ни в аптеке, ни городовые, ни дворники — никто не знает адресов акушерок, и таким образом я поставлен в необходимость согласиться на ваши условия. Я дам вам три рубля, но... предупреждаю, что, нанимая прислугу и вообще пользуясь чьими-либо услугами, я заранее уславливаюсь, чтобы при расплате не было разговоров о прибавках, на чай и проч. Каждый должен получать свое.

Марья Петровна недолго слушала Кирьякова, но уже чувствует, что он надоел ей, опротивел, что его ровная, мерная речь тяжестью ложится ей на душу. Она одевается и выходит с ним на улицу. В воздухе тихо, но холодно и так пасмурно, что даже фонарные огни еле видны. Под ногами всхлипывает слякоть. Акушерка всматривается и не видит извозчика...

— Вероятно, недалеко? — спрашивает она.

— Недалеко,— угрюмо отвечает Кирьяков.

Проходят один переулок, другой, третий... Кирьяков шагает, и даже в походке его сказывается солидность и положительность.

— Какая ужасная погода! — заговаривает с ним акушерка.

Но он солидно молчит и заметно старается идти по гладким камням, чтобы не испортить калош. Наконец после долгой ходьбы акушерка входит в переднюю; оттуда видна большая, прилично убранная зала. В комнатах, даже в спальне, где лежит роженица, ни души...

Родственников и старух, которыми на всяких родинах хоть пруд пруди, тут не видно. Мечется, как угорелая, одна только кухарка с тупым, испуганным лицом. Слышны громкие стоны.

Проходит три часа. Марья Петровна сидит у кровати роженицы и шепчет о чем-то. Обе женщины уже успели познакомиться, узнали друг друга, посудачили, поахали.

— Вам нельзя говорить! — тревожится акушерка, а сама так и сыплет вопросами.

Но вот открывается дверь, и тихо, солидно входит в спальню сам Кирьяков. Он садится на стул и поглаживает бакены. Наступает молчание... Марья Петровна робко поглядывает на его красивое, но бесстрастное, деревянное лицо и ждет, когда он начнет говорить. Но он упорно молчит и о чем-то думает. Не дождавшись, акушерка решается сама начать разговор и произносит фразу, какую обыкновенно говорят на родинах:

— Ну, вот и слава богу, одним человеком на этом свете больше!

— Да, приятно,— говорит Кирьяков, сохраняя деревянное выражение лица,— хотя, впрочем, с другой стороны, чтобы иметь лишних детей, нужно иметь лишние деньги. Ребенок не родится сытым и одетым.

На лице у роженицы показывается виноватое выражение, точно она произвела на свет живое существо без позволения или из пустой прихоти. Кирьяков со вздохом поднимается и солидно выходит.

— Какой он у вас, бог с ним...— говорит акушерка роженице.— Строгий такой и не улыбнется...

Роженица рассказывает, что *он* у нее всегда такой... Он честен, справедлив, рассудителен, разумно экономен, но все это в таких необыкновенных размерах, что простым смертным делается душно. Родня разошлась с ним, прислуга не живет больше месяца, знакомых нет, жена и дети вечно напряжены от страха за каждый свой шаг. Он не дерется, не кричит, добродетелей у него гораздо больше, чем недостатков, но когда он уходит из дому, все чувствуют себя здоровее и легче. Отчего это так, роженица и сама не может понять.

— Нужно тазы вычистить хорошенько и поставить их в кладовую,— говорит Кирьяков, опять входя в спальню.— Эти флаконы тоже нужно спрятать: пригодятся.

То, что он говорит, очень просто и обыкновенно, но акушерка почему-то чувствует оторопь. Она начинает бояться этого человека и вздрагивает всякий раз, когда слышит его шаги. Утром, собираясь уходить, она видит, как в столовой маленький сын Кирьякова, бледный, стриженый гимназист, пьет чай... Против него стоит Кирьяков и говорит своим мерным, ровным голосом:

— Ты умеешь есть, умей же и работать. Ты вот сейчас глотнул, но не подумал, вероятно, что этот глоток стоит денег, а деньги добываются трудом. Ты ешь и думай...

Акушерка глядит на тупое лицо мальчика, и ей кажется, что даже воздуху тяжело, что еще немного — и стены упадут, не вынося давящего присутствия необыкновенного человека. Не помня себя от страха и уже чувствуя сильную ненависть к этому человеку, Марья Петровна берет свои узелки и торопливо уходит.

На полдороге она вспоминает, что забыла получить свои три рубля, но, постояв немного и подумав, машет рукой и идет дальше.

МОЙ ДОМОСТРОЙ

Утром, когда я, встав от сна, стою перед зеркалом и надеваю галстук, ко мне тихо и чинно входят теща, жена и свояченица. Они становятся в ряд и, почтительно улыбаясь, поздравляют меня с добрым утром. Я киваю им головой и читаю речь, в которой объясняю им, что глава дома — я.

— Я вас, ракалии, кормлю, пою, наставляю,— говорю я им,— учу вас, тумбы, уму-разуму, а потому вы обязаны уважать меня, почитать, трепетать, восхищаться моими произведениями и не выходить из границ послушания ни на один миллиметр, в противном случае... О сто чертей и одна ведьма, вы меня знаете! В бараний рог согну! Я покажу вам, где раки зимуют! и т. д.

Выслушав мою речь, домочадицы выходят и принимаются за дело. Теща и жена бегут в редакции со статьями: жена в «Будильник», теща в «Новости дня» к Липскерову. Свояченица садится за переписку начисто моих фельетонов, повестей и трактатов. За получением гонорара посылаю я тещу. Если издатель платит туго, угощает «завтраками», то прежде чем посылать за гонораром, я три дня кормлю тещу одним сырым мясом, раздразниваю ее до ярости и внушаю ей непреодолимую ненависть к издательскому племени; она, красная, свирепая, клокочущая, идет за получкой, и — не было случая, чтобы она возвращалась с пустыми руками. На ее

же обязанности лежит охранение моей особы от назойливости кредиторов. Если кредиторов много и они мешают мне спать, то я прививаю теще бешенство по способу Пастера и ставлю ее у двери: ни одна шельма не сунется!

За обедом, когда я услаждаю себя щами и гусем с капустой, жена сидит за пианино и играет для меня из «Боккачио», «Елены» и «Корневильских колоколов», а теща и свояченица пляшут вокруг стола качучу. Той, которая особенно мне угождает, я обещаю подарить книгу своего сочинения с авторским факсимиле и обещания не сдерживаю, так как счастливица в тот же день каким-нибудь поступком навлекает на себя мой гнев и таким образом теряет право на награду. После обеда, когда я кейфую на диване, распространяя вокруг себя запах сигары, свояченица читает вслух мои произведения, а теща и жена слушают.

— Ах, как хорошо! — обязаны они восклицать.— Великолепно! Какая глубина мысли! Какое море чувства! Восхитительно!

Когда я начинаю дремать, они садятся в стороне и шепчутся так громко, чтобы я мог слышать.

— Это талант! Нет, это — необыкновенный талант! Человечество многое теряет, что не старается понять его! Но как мы, ничтожные, счастливы, что живем под одной крышей с таким гением!

Если я засыпаю, то дежурная садится у моего изголовья и веером отгоняет от меня мух.

Проснувшись, я кричу:

— Тумбы, чаю!

Но чай уже готов. Мне подносят его и просят с поклоном:

— Кушайте, отец и благодетель! Вот варенье, вот крендель... Примите от нас посильный дар...

После чая я обыкновенно наказываю за проступки против домашнего благоустройства. Если проступков нет, то наказание зачитывается в счет будущего. Степень наказания соответствует величине проступка.

Так, если я недоволен перепиской, качучей или вареньем, то виновная обязана выучить наизусть несколь-

ко сцен из купеческого быта, проскакать на одной ноге по всем комнатам и сходить за получением гонорара в редакцию, в которой я не работаю. В случае непослушания или выражения недовольства я прибегаю к более строгим мерам: запираю в чулан, даю нюхать нашатырный спирт и проч. Если же начинает бушевать теща, то я посылаю за городовым и дворником.

Ночью, когда я сплю, все три мои домочадицы не спят, ходят по комнатам и сторожат, чтобы воры не украли моих произведений.

I

В большой двор водочного завода «наследников М. Е. Ротштейн», грациозно покачиваясь на седле, въехал молодой человек в белоснежном офицерском кителе. Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору. На всем лежала светлая здоровая красота летнего дня, и ничто не мешало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться с ясным голубым небом. Даже грязный, закопченный вид кирпичных сараев и душный запах сивушного масла не портили общего хорошего настроения. Поручик весело спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила горничная с немолодым, несколько надменным лицом. Поручик молча подал ей карточку.

Идя в покои с карточкой, горничная могла прочесть: «Александр Григорьевич Сокольский». Через минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не может, так как чувствует себя не совсем здоровой. Сокольский поглядел на потолок и вытянул нижнюю губу.

— Досадно! — сказал он.— Послушайте, моя милая,— живо заговорил он,— подите и скажите Сусанне Моисеевне, что мне очень нужно поговорить с ней. Очень!

Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинит меня.

Горничная пожала одним плечом и лениво пошла к барышне.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя.— Пожалуйте!

Поручик прошел за ней пять-шесть больших, роскошно убранных комнат, коридор и в конце концов очутился в просторной квадратной комнате, где с первого же шага его поразило изобилие цветущих растений и сладковатый, густой до отвращения запах жасмина. Цветы шпалерами тянулись вдоль стен, заслоняя окна, свешивались с потолка, вились по углам, так что комната походила больше на оранжерею, чем на жилое помещение. Синицы, канарейки и щеглята с писком возились в зелени и бились об оконные стекла.

— Простите, пожалуйста, что я вас здесь принимаю! — услышал поручик сочный женский голос, не без приятности картавящий звук *р*.— Вчера у меня была мигрень, и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Как раз против входа, в большом стариковском кресле, откинувши голову назад на подушку, сидела женщина в дорогом китайском шлафроке и с укутанной головой. Из-за вязаного шерстяного платка виден был только бледный длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой, да один большой черный глаз. Просторный шлафрок скрывал ее рост и формы, но по белой красивой руке, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше двадцати шести — двадцати восьми лет.

— Простите, что я так настойчив...— начал поручик, звякая шпорами.— Честь имею представиться: Сокольский! Приехал я по поручению моего кузена, а вашего соседа, Алексея Ивановича Крюкова, который...

— Ах, знаю! — перебила Сусанна Моисеевна.— Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоит что-нибудь большое.

— Мой двоюродный брат поручил мне просить вас об одном одолжении,— продолжал поручик, еще раз звякнув шпорами и садясь.— Дело в том, что ваш покойный батюшка покупал зимою у брата овес и остался

ему должен небольшую сумму. Срок векселям будет только через неделю, но брат убедительно просил вас, не можете ли вы уплатить этот долг сегодня?

Поручик говорил, а сам искоса поглядывал в стороны.

«Да, никак, я в спальне?» — думал он.

В одном из углов комнаты, где зелень была гуще и выше, под розовым, точно погребальным, балдахином стояла кровать с измятой, еще не прибранной постелью. Тут же на двух креслах лежали кучи скомканного женского платья. Подолы и рукава, с помятыми кружевами и оборками, свешивались на ковер, по которому там и сям белели тесемки, два-три окурка, бумажки от карамели... Из-под кровати глядели тупые и острые носы длинного ряда всевозможных туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запах идет не от цветов, а от постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На две тысячи триста.

— Ого! — сказала еврейка, показывая и другой большой черный глаз.— А вы говорите — немного! Впрочем, все равно, что сегодня платить, что через неделю, но у меня в эти два месяца после смерти отца было так много платежей... столько глупых хлопот, что голова кружится! Прошу покорнейше, мне за границу нужно ехать, а меня заставляют заниматься глупостями. Водка, овес...— забормотала она, наполовину закрывая глаза,— овес, векселя, проценты или, как говорит мой главный приказчик, «пруценты»... Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизного. Пристает ко мне со своим Траллесом. Я ему и говорю: убирайтесь вы к черту с вашим Траллесом, я никого не принимаю! Поцеловал руку и ушел. Послушайте, не может ли ваш брат подождать месяца два-три?

— Жестокий вопрос! — засмеялся поручик.— Брат может и год ждать, но я-то не могу ждать! Ведь это я, надо вам сказать, ради себя хлопочу. Мне нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, как нарочно, ни одного свободного рубля. Приходится поневоле ездить и собирать долги. Сейчас был у арендатора-мужика, теперь вот

у вас сижу, от вас еще куда-нибудь поеду и так, пока не соберу пяти тысяч. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человеку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмеялся поручик и, слегка приподнявшись, звякнул шпорами.— Действительно, я женюсь...

Сусанна Моисеевна пристально поглядела на гостя, сделала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокруг себя носовой платок.— Жизнь так коротка, так мало свободы, а они еще связывают себя.

— У всякого свой взгляд...

— Да, да, конечно, у всякого свой взгляд... Но, послушайте, разве вы женитесь на бедной? По страстной любви? И почему вам нужно непременно пять тысяч, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нее длинный язык!» — подумал поручик и ответил:

— История в том, что, по закону, офицер не может жениться раньше двадцати восьми лет. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысяч залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вот вы сейчас сказали, что у каждого свой взгляд... Может быть, ваша невеста какая-нибудь особенная, замечательная, но... я решительно не понимаю, как это порядочный человек может жить с женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебе господи, двадцать семь лет, но ни разу в жизни не видела ни одной сносной женщины. Все ломаки, безнравственные, лгуньи... Я терплю только горничных и кухарок, а так называемых порядочных я к себе и на пушечный выстрел не подпускаю. Да, слава богу, они сами меня ненавидят и не лезут ко мне. Коли ей нужны деньги, так она мужа пришлет, а сама ни за что не поедет, не из гордости, нет, а просто из трусости, боится, чтоб я ей сцены не сделала. Ах, я отлично понимаю их ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на вид то, что они всеми силами стараются спрятать от

бога и людей. Как же после этого не ненавидеть? Наверное, вам про меня уж с три короба наговорили...

— Я так недавно сюда приехал, что...

— Но, но, но... по глазам вижу! А разве жена вашего брата не снабдила вас напутствием? Отпускать молодого человека к такой ужасной женщине и не предостеречь — как можно? Ха, ха... Но что, как ваш брат? Он у вас молодец, такой красивый мужчина... Я его несколько раз в обедне видела. Что вы на меня так глядите? Я очень часто бываю в церкви! У всех один бог. Для образованного человека не так важна внешность, как идея... Не правда ли?

— Да, конечно...— улыбнулся поручик.

— Да, идея... А вы совсем не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но ваш брат гораздо красивее. Удивительно, как мало сходства!

— Немудрено: ведь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Так вам непременно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На днях кончается срок моего отпуска.

— Ну, что ж с вами делать! — вздохнула Сусанна Моисеевна.— Так и быть уж, дам вам денег, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь после свадьбы с женой и скажете: «Если б та пархатая жидовка не дала мне денег, так я, может быть, был бы теперь свободен, как птица!» Ваша невеста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чем ничего. Впрочем, никакой красотой женщина не может заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально! — засмеялся поручик.— Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина...— усмехнулась Сусанна.— Разве я виновата, что бог послал мне такую оболочку? В этом я так же виновата, как вы в том, что у вас есть усы. Не от скрипки зависит выбор футляра. Я себя очень люблю, но когда мне напоминают, что я женщина, то я начинаю ненавидеть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я оденусь. Подождите меня в гостиной.

Поручик вышел и первым делом глубоко вздохнул, чтобы отделаться от тяжелого жасминного запаха, от

которого у него уже начинало кружить голову и першить в горле. Он был удивлен.

«Какая странная! — думал он, осматриваясь.— Говорит складно, но... уж чересчур много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, в которой он стоял теперь, была убрана богато, с претензией на роскошь и моду. Тут были темные бронзовые блюда с рельефами, виды Ниццы и Рейна на столах, старинные бра, японские статуэтки, но все эти поползновения на роскошь и моду только оттеняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цветистые обои, яркие бархатные скатерти, плохие олеографии в тяжелых рамах. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя теснота, когда кажется, что чего-то недостает и что многое следовало бы выбросить. Заметно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путем выгодных случаев, распродаж.

Поручик сам обладал не бог весть каким вкусом, но и он заметил, что вся обстановка носит на себе одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно — полное отсутствие следов женских хозяйских рук, придающих, как известно, убранству комнат оттенок теплоты, поэзии и уютности. Здесь веяло холодом, как в вокзальных комнатах, клубах и театральных фойе.

Собственно еврейского в комнате не было почти ничего, кроме разве одной только большой картины, изображавшей встречу Иакова с Исавом. Поручик оглядывался кругом и, пожимая плечами, думал о своей новой странной знакомке, о ее развязности и манере говорить. Но вот раскрылась дверь, и на пороге появилась она сама, стройная, в длинном черном платье, с сильно затянутой, точно выточенной талией. Теперь уж поручик видел не только нос и глаза, но и белое худощавое лицо, черную кудрявую, как барашек, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще к нерусским лицам он питал предубеждение, а тут к тому же нашел, что к черным кудряшкам и густым бровям хозяйки очень не шло белое лицо, своею белизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запах, что уши и нос были поразительно бледны, как

мертвые или вылитые из прозрачного воска. Улыбнувшись, она вместе с зубами показала бледные десны, что тоже ему не понравилось.

«Бледная немочь...— подумал он.— Вероятно, нервна, как индюшка».

— А вот и я! Пойдемте! — сказала она, идя быстро впереди его и обрывая на пути с цветов желтые листки.— Сейчас я дам вам деньги и, если хотите, покормлю завтраком. Две тысячи триста рублей! После такого хорошего гешефта вы с аппетитом покушаете. Нравятся вам мои комнаты? Здешние барыни говорят, что у меня пахнет чесноком. Этой кухонной остротой исчерпывается все их остроумие. Спешу вас уверить, что чесноку я даже в погребе не держу, и когда однажды ко мне приехал с визитом доктор, от которого пахло чесноком, то я попросила его взять свою шляпу и ехать благоухать куда-нибудь в другое место. Пахнет у меня не чесноком, а лекарствами. Отец лежал в параличе полтора года и весь дом продушил лекарствами. Полтора года! Мне жаль его, но я рада, что он умер: так он страдал!

Она провела офицера через две комнаты, похожие на гостиную, через залу и остановилась в своем кабинете, где стоял женский письменный столик, весь уставленный безделушками. Около него, на ковре, валялось несколько раскрытых загнутых книг. Из кабинета вела небольшая дверь, в которую виден был стол, накрытый для завтрака.

Не переставая болтать, Сусанна достала из кармана связку мелких ключей и отперла какой-то мудреный шкаф с гнутой, покатой крышкой. Когда крышка поднялась, шкаф прогудел жалобную мелодию, напомнившую поручику Эолову арфу. Сусанна выбрала еще один ключ и вторично щелкнула.

— У меня здесь подземные ходы и потайные двери,— сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель.— Смешной шкап, не правда ли? А в этом портфеле четверть моего состояния. Посмотрите, какой он пузатенький! Ведь вы меня не придушите?

Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмеялась. Поручик тоже засмеялся.

К рассказу «Мечты».

Художники Кукрыниксы. 1954.

«А она славная!» — подумал он, глядя, как ключи бегают между ее пальцами.

— Вот он! — сказала она, выбрав ключик от портфеля.— Ну-с, господин кредитор, пожалуйте на сцену векселя. В сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а ведь как любят их женщины! Знаете, я еврейка до мозга костей, без памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мне противно в нашей семитической крови, так это страсть к наживе. Копят и сами не знают, для чего копят. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. В этом отношении я больше похожа на гусара, чем на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежат на одном месте. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдает меня мой акцент, а?

— Как вам сказать? — замялся поручик.— Вы говорите чисто, но картавите.

Сусанна засмеялась и сунула ключик в замочек портфеля. Поручик достал из кармана пачечку векселей и положил ее вместе с записной книжкой на стол.

— Ничто так не выдает еврея, как акцент,— продолжала Сусанна, весело глядя на поручика.— Как бы он ни корчил из себя русского или француза, но попросите его сказать слово пух, и он скажет вам: пэххх... А я выговариваю правильно: пух! пух! пух!

Оба засмеялись.

«Ей-богу, она славная!» — подумал Сокольский.

Сусанна положила портфель на стул, сделала шаг к поручику и, приблизив свое лицо к его лицу, весело продолжала:

— После евреев никого я так не люблю, как русских и французов. Я плохо училась в гимназии и истории не знаю, но мне кажется, что судьба земли находится в руках у этих двух народов. Я долго жила за границей... даже в Мадриде прожила полгода... наглядела на публику и вынесла такое убеждение, что, кроме русских и французов, нет ни одного порядочного народа. Возьмите вы языки... Немецкий язык лошадиный, английский — глупее ничего нельзя себе представить: файть-фийть-фюйть! Итальянский приятен, только когда говоришь на нем медленно, если же послушать

итальянских чечоток, то получается тот же еврейский жаргон. А поляки? Боже мой, господи! Нет противнее языка! «Не пепши, Петше, пепшем вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшем». Это значит: не перчи, Петр, перцем поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцем. Ха-ха-ха!

Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмеялась таким хорошим заразительным смехом, что поручик, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:

— Вы, конечно, не любите евреев... Я не спорю, недостатков много, как и у всякой нации. Но разве евреи виноваты? Нет, не евреи виноваты, а еврейские женщины! Они недалеки, жадны, без всякой поэзии, скучны... Вы никогда не жили с еврейкой и не знаете, что это за прелесть!

Последние слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже без воодушевления и смеха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ее вдруг исказилось странным и непонятным образом. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всем лице, на шее и даже на груди задрожало злое, кошачье выражение. Не отрывая глаз от гостя, она быстро перегнула свой стан в сторону и порывисто, как кошка, схватила что-то со стола. Все это было делом нескольких секунд. Следя за ее движениями, поручик видел, как пять пальцев скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад...

А она, не сводя с него испуганных пытливых глаз, водила сжатым кулаком себя по бедру и искала кармана. Кулак судорожно, как пойманная рыба, бился около кармана и никак не попадал в щель. Еще мгновение, и векселя исчезли бы в тайниках женского платья, но тут поручик слегка вскрикнул и, побуждаемый больше инстинктом, чем разумом, схватил еврейку за руку около сжатого кулака. Та, еще больше оскалив зубы, рванулась изо всех сил и вырвала руку. Тогда

Сокольский одной рукой плотно обхватил ее талию, другой — грудь, и у них началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, он старался только не давать ей двигаться и уловить кулак с векселями, а она, как угорь, извивалась в его руках своим гибким, упругим телом, рвалась, била его в грудь локтями, царапалась, так что руки его ходили по всему ее телу и он поневоле причинял ей боль и оскорблял ее стыдливость.

«Как это необыкновенно! Как странно!» — думал он, не помня себя от удивления, не веря себе и чувствуя всем своим существом, как его мутит от запаха жасмина.

Молча, тяжело дыша, натыкаясь на мебель, они переходили с места на место. Сусанну увлекла борьба. Она раскраснелась, закрыла глаза и раз даже, не помня себя, крепко прижалась своим лицом к лицу поручика, так что на губах его остался сладковатый вкус. Наконец он поймал кулак... Разжав его и не найдя в нем векселей, он оставил еврейку. Красные, с встрепанными прическами, тяжело дыша, глядели они друг на друга. Злое, кошачье выражение на лице еврейки малопомалу сменилось добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, повернувшись на одной ноге, направилась в комнату, где был приготовлен завтрак. Поручик поплелся за ней. Она села за стол и, все еще красная, тяжело дыша, выпила полрюмки портвейна.

— Послушайте,— прервал молчание поручик,— вы, надеюсь, шутите?

— Нисколько,— ответила она, запихивая в рот кусочек хлеба.

— Гм!.. Как же прикажете понять все это?

— Как угодно. Садитесь завтракать!

— Но... Ведь это нечестно!

— Может быть. Впрочем, не трудитесь читать мне проповедь. У меня свой собственный взгляд на вещи.

— Вы не отдадите?

— Конечно, нет! Будь вы бедный, несчастный человек, которому есть нечего, ну, тогда другое дело, а то — жениться захотел!

— Но ведь это не мои деньги, а брата!

— А брату вашему на что деньги? Жене на моды?

А мне решительно все равно, есть ли у вашей belle-soeur[1] платья, или нет.

Поручик уже не помнил, что он в чужом доме, у незнакомой дамы, и не стеснял себя приличием. Он шагал по комнате, хмурился и нервно теребил жилетку. Оттого, что еврейка своим бесчестным поступком уронила себя в его глазах, он чувствовал себя смелее и развязнее.

— Черт знает что! — бормотал он.— Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу от вас векселей!

— Ах, тем лучше! — смеялась Сусанна.— Хоть жить здесь оставайтесь, мне же будет веселее.

Возбужденный борьбою поручик глядел на смеющееся наглое лицо Сусанны, на жующий рот, тяжело дышащую грудь и становился смелее и дерзче. Вместо того чтобы думать о векселях, он почему-то с какою-то жадностью стал припоминать рассказы своего брата о романических похождениях еврейки, о ее свободном образе жизни, и эти воспоминания только подзадорили его дерзость. Он порывисто сел рядом с еврейкой и, не думая о векселях, стал есть...

— Вам водки или вина? — спрашивала со смехом Сусанна.— Так вы останетесь ждать векселя? Бедняжка, столько дней и ночей придется вам провести у меня в ожидании векселей! Ваша невеста не будет в претензии?

II

Прошло пять часов. Брат поручика, Алексей Иванович Крюков, облеченный в халат и туфли, ходил у себя в усадьбе по комнатам и нетерпеливо посматривал в окна. Это был высокий плотный мужчина с большой черной бородой, с мужественным лицом и, как сказала правду еврейка, красивый собой, хотя уже и перевалил в тот возраст, когда мужчины излишне толстеют, брюзгнут и плешивеют. По духу и разуму принадлежал он к числу натур, которыми так богата наша интеллигенция: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наук, искусств, веры, самых рыцарских понятий

[1] невестки *(франц.)*.

о чести, но не глубокий и ленивый. Он любил хорошо поесть и выпить, играл идеально в винт, знал вкус в женщинах и лошадях, в остальном же прочем был туг и неподвижен, как тюлень, и чтобы вызвать его из состояния покоя, требовалось что-нибудь необыкновенное, слишком возмутительное, и тогда уж он забывал все на свете и проявлял крайнюю подвижность: вопил о дуэли, писал на семи листах прошение министру, сломя голову скакал по уезду, пускал публично «подлеца», судился и т. п.

— Что же это нашего Саши до сих пор нет? — спрашивал он жену, заглядывая в окна.— Ведь обедать пора!

Подождав поручика до шести часов, Крюковы сели обедать. Вечером, когда уже была пора ужинать, Алексей Иванович прислушивался к шагам, к стуку дверей и пожимал плечами.

— Странно! — говорил он.— Должно быть, канальский фендрик у арендатора застрял.

Ложась после ужина спать, Крюков так и решил, что поручик загостился у арендатора, где после хорошей попойки остался ночевать.

Александр Григорьевич вернулся домой только на другой день утром. Вид у него был крайне сконфуженный и помятый.

— Мне нужно поговорить с тобой наедине...— сказал он таинственно брату.

Пошли в кабинет. Поручик запер дверь и, прежде чем начать говорить, долго шагал из угла в угол.

— Такое, братец, случилось,— начал он,— что я не знаю, как и сказать тебе. Не поверишь ты...

И он, заикаясь, краснея и не глядя на брата, рассказал историю с векселями. Крюков, расставя ноги и опустив голову, слушал и хмурился.

— Ты это шутишь? — спросил он.

— Кой черт шучу? Какие тут шутки!

— Не понимаю! — пробормотал Крюков, багровея и разводя руками.— Это даже... безнравственно с твоей стороны. Бабенка на твоих глазах творит черт знает что, уголовщину, делает подлость, а ты лезешь целоваться!

— Но я сам не понимаю, как это случилось! — зашептал поручик, виновато мигая глазами.— Честное слово, не понимаю! Первый раз в жизни наскочил на такое чудовище! Не красотой берет, не умом, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмом...

— Наглостью, цинизмом... Как это чистоплотно! Уж если так тебе захотелось наглости и цинизма, то взял бы свинью из грязи и съел бы ее живьем! По крайней мере дешевле, а то — две тысячи триста!

— Как ты изящно выражаешься! — поморщился поручик.— Я тебе отдам эти две тысячи триста!

— Знаю, что отдашь, но разве в деньгах дело? Ну их к черту, эти деньги! Меня возмущает твоя тряпичность, дряблость... малодушество поганое! Жених! Имеет невесту!

— Но не напоминай...— покраснел поручик.— Мне теперь самому противно. Сквозь землю готов провалиться... Противно и досадно, что за пятью тысячами придется теперь к тетке лезть...

Крюков долго еще возмущался и ворчал, потом, успокоившись, сел на софу и стал посмеиваться над братом.

— Поручики! — говорил он с презрительной иронией в голосе.— Женихи!

Вдруг он вскочил как ужаленный, топнул ногой и забегал по кабинету.

— Нет, я этого так не оставлю! — заговорил он, потрясая кулаком.— Векселя будут у меня! Будут! Я упеку ее! Женщин не бьют, но ее я изувечу... мокрого места не останется! Я не поручик! Меня не тронешь наглостью и цинизмом! Не-ет, черт ее подери! Мишка,— закричал он,— беги скажи, чтоб мне беговые дрожки заложили!

Крюков быстро оделся и, не слушая встревоженного поручика, сел на беговые дрожки, решительно махнул рукой и покатил к Сусанне Моисеевне. Поручик долго глядел в окно на облако пыли, бежавшее за его дрожками, потянулся, зевнул и пошел к себе в комнату. Через четверть часа он спал крепким сном.

В шестом часу его разбудили и позвали к обеду.

— Как это мило со стороны Алексея! — встретила его в столовой невестка.— Заставляет ждать себя обедать!

— А разве он еще не приехал? — зевнул поручик. — Гм... вероятно, к арендатору заехал.

Но и к ужину не вернулся Алексей Иванович. Его жена и Сокольский порешили, что он заигрался в карты у арендатора и, по всей вероятности, останется у него ночевать. Случилось же совсем не то, что они предполагали.

Крюков вернулся на другой день утром и, ни с кем не здороваясь, молча юркнул к себе в кабинет.

— Ну, что? — зашептал поручик, глядя на него большими глазами.

Крюков махнул рукой и фыркнул.

— Да что такое? Что ты смеешься?

Крюков повалился на диван, уткнул голову в подушку и затрясся от сдерживаемого хохота. Через минуту он поднялся и, глядя на удивленного поручика плачущими от смеха глазами, заговорил:

— Прикрой-ка дверь. Ну, да и ба-а-ба же, я тебе доложу!

— Получил векселя?

Крюков махнул рукой и опять захохотал.

— Ну, да и баба! — продолжал он.— Мерси, братец, за знакомство! Это черт в юбке. Приезжаю я к ней, вхожу, знаешь, таким Юпитером, что самому себя страшно... нахмурился, насупился, даже кулаки сжал для пущей важности... «Сударыня, говорю, со мной шутки плохи!» — и прочее в таком роде. И судом грозил и губернатором... Она сначала заплакала, сказала, что пошутила с тобой, и даже повела меня к шкапу, чтобы отдать деньги, потом стала доказывать, что будущность Европы в руках русских и французов, обругала женщин... Я по-твоему развесил уши, осел я этакий... Спела она панегирик моей красоте, потрепала меня за руку около плеча, чтобы посмотреть, какой я сильный, и... и, как видишь, сейчас только от нее убрался... Ха-ха... От тебя она в восторге!

— Хорош мальчик! — засмеялся поручик. — Женатый, почтенный... Что, стыдно? Противно? Однако, брат,

не шутя говоря, у вас в уезде своя царица Тамара завелась...

— Кой черт в уезде? Другого такого хамелеона во всей России не сыщешь! Отродясь ничего подобного не видывал, а уж я ли не знаток по этой части? Кажется, с ведьмами жил, а ничего подобного не видывал. Именно наглостью и цинизмом берет. Что в ней завлекательно, так это резкие переходы, переливы красок, эта порывистость анафемская... Бррр! А векселя — фюйт. Пиши — пропало. Оба мы с тобой великие грешники, грех пополам. Считаю за тобою не две тысячи триста, а половину. Чур, жене говорить, что у арендатора был.

Крюков и поручик уткнули головы в подушки и принялись хохотать. Поднимут головы, взглянут друг на друга и опять упадут на подушки.

— Женихи! — дразнил Крюков.— Поручики!

— Женатые! — отвечал Сокольский.— Почтенные! Отцы семейств!

За обедом они говорили намеками, перемигивались и то и дело, к удивлению домочадцев, прыскали в салфетки. После обеда, все еще находясь в отменном настроении, они нарядились турками и, гоняясь с ружьями друг за другом, представляли детям войну. Вечером они долго спорили. Поручик доказывал, что низко и подло брать за женой приданое, даже в случае страстной любви с обеих сторон; Крюков же стучал кулаками по столу и говорил, что это абсурд, что муж, не желающий, чтобы жена имела собственность, эгоист и деспот. Оба кричали, кипятились, не понимали друг друга, порядком выпили и в конце концов, подобрав полы своих халатов, разошлись по спальням. Уснули они скоро и спали крепко.

Жизнь потекла по-прежнему ровная, ленивая и беспечальная. Тени ложились на землю, в облаках гремел гром, изредка жалобно стонал ветер, как бы желая показать, что и природа может плакать, но ничто не тревожило привычного покоя этих людей. О Сусанне Моисеевне и о векселях они не говорили. Обоим было как-то совестно говорить вслух об этой истории. Зато вспоминали они и думали о ней с удовольствием, как о

курьезном фарсе, который неожиданно и случайно разыграла с ними жизнь и о котором приятно будет вспомнить под старость...

На шестой или седьмой день после свидания с еврейкой, утром Крюков сидел у себя в кабинете и писал поздравительное письмо к тетке. Около стола молча прохаживался Александр Григорьевич. Поручик плохо спал ночь, проснулся не в духе и теперь скучал. Он ходил и думал о сроке своего отпуска, об ожидавшей его невесте, о том, как это не скучно людям весь век жить в деревне. Остановившись у окна, он долго глядел на деревья, выкурил подряд три папиросы и вдруг повернулся к брату.

— У меня, Алеша, к тебе просьба,— сказал он.— Одолжи мне на сегодня верховую лошадь...

Крюков пытливо поглядел на него и, нахмурившись, продолжал писать.

— Так дашь? — спросил поручик.

Крюков опять поглядел на него, потом медленно выдвинул из стола ящик и, достав оттуда толстую пачку, подал ее брату.

— Вот тебе пять тысяч...— сказал он.— Хоть и не мои они, но бог с тобой, все равно. Советую тебе, посылай сейчас за почтовыми и уезжай. Право!

Поручик в свою очередь пытливо поглядел на Крюкова и вдруг засмеялся.

— А ведь ты угадал, Алеша,— сказал он, краснея.— Я ведь именно к ней хотел ехать. Как подала мне вчера вечером прачка этот проклятый китель, в котором я был тогда, и как запахло жасмином, то... так меня и потянуло!

— Уехать надо.

— Да, действительно. Кстати, уж и отпуск кончился. Правда, поеду сегодня! Ей-богу! Сколько ни живи, а все уехать придется... Еду!

В тот же день перед обедом были поданы почтовые; поручик простился с Крюковым и, сопровождаемый благими пожеланиями, уехал.

Прошла еще неделя. Был пасмурный, но жаркий и душный день. С самого раннего утра Крюков бесцельно бродил по комнатам, засматривал в окна или же пере-

листывал давно уже надоевшие альбомы. Когда ему попадались на глаза жена или дети, он начинал сердито ворчать. В этот день ему почему-то казалось, что дети ведут себя отвратительно, жена плохо глядит за прислугой, что расходы ведутся несообразно с доходами. Все это значило, что «господа» не в духе.

После обеда Крюков, недовольный супом и жарким, велел заложить беговые дрожки. Медленно выехал он со двора, проехал шагом четверть версты и остановился.

«Нешто к той... к тому черту съездить?» — подумал он, глядя на пасмурное небо.

И Крюков даже засмеялся, точно впервые за весь день задал себе этот вопрос. Тотчас же от сердца его отлегла скука и в ленивых глазах заблестело удовольствие. Он ударил по лошади...

Всю дорогу воображение его рисовало, как еврейка удивится его приезду, как он посмеется, поболтает и вернется домой освеженный...

«Раз в месяц надо освежать себя чем-нибудь... необыденным,— думал он,— чем-нибудь таким, что производило бы в застоявшемся организме хорошую встрепку... реакцию... Будь то хоть выпивка, хоть... Сусанна. Нельзя без этого».

Уже темнело, когда он въехал во двор водочного завода. Из открытых окон хозяйского дома слышались смех и пение:

Ярррче молнии, жарррче пламени...—

пел чей-то сильный, густой бас.

«Эге, у нее гости!» — подумал Крюков.

И ему стало неприятно, что у нее гости. «Не вернуться ли?» — думал он, берясь за звонок, но все-таки позвонил и пошел вверх по знакомой лестнице. Из передней он заглянул в залу. Там было человек пять мужчин — всё знакомые помещики и чиновники. Один, высокий и тощий, сидел за роялью, стучал длинными пальцами по клавишам и пел. Остальные слушали и скалили от удовольствия зубы. Крюков огляделся перед зеркалом и хотел уже войти в залу, как в переднюю

впорхнула сама Сусанна Моисеевна, веселая, в том же черном платье... Увидев Крюкова, она на мгновение окаменела, потом вскрикнула и просияла от радости.

— Это вы? — сказала она, хватая его за руку.— Какой сюрприз!

— А, вот она! — улыбнулся Крюков, беря ее за талию.— Так как? Судьба Европы находится в руках русских и французов?

— Я так рада! — засмеялась еврейка, осторожно отводя его руку.— Ну, идите в залу. Там всё знакомые... Я пойду скажу, чтобы вам чаю подали. Вас Алексеем зовут? Ну, ступайте, я сейчас...

Она сделала ручкой и выбежала из передней, оставив после себя запах того же приторного, сладковатого жасмина. Крюков поднял голову и вошел в залу. Он был приятельски знаком со всеми, кто был в зале, но едва кивнул им головой; те ему тоже едва ответили, точно место, где они встретились, было непристойно или они мысленно сговорились, что для них удобнее не узнавать друг друга.

Из залы Крюков прошел в гостиную, отсюда в другую гостиную. На пути попались ему три-четыре гостя, тоже знакомых, но едва узнавших его. Лица их были пьяны и веселы. Алексей Иванович косился на них и недоумевал, как это они, люди семейные, почтенные, испытанные горем и нуждою, могут унижать себя до такой жалкой, грошовой веселости! Он пожимал плечами, улыбался и шел дальше.

«Есть места,— думал он,— где трезвого тошнит, а у пьяного дух радуется. Помню, в оперетку и к цыганам я ни разу трезвым не ездил. Вино делает человека добрее и мирит его с пороком...»

Вдруг он остановился как вкопанный и обеими руками ухватился за косяк двери. В кабинете Сусанны, за письменным столом, сидел поручик Александр Григорьевич. Он о чем-то тихо разговаривал с толстым обрюзглым евреем, а увидев брата, вспыхнул и опустил глаза в альбом.

Чувство порядочности встрепенулось в Крюкове, и кровь ударила ему в голову. Не помня себя от удивления, стыда и гнева, он молча прошелся около стола.

Сокольский еще ниже опустил голову. Лицо его перекосило выражением мучительного стыда...

— Ах, это ты, Алеша! — проговорил он, силясь поднять глаза и улыбнуться.— Я заехал сюда проститься и, как видишь... Но завтра я обязательно уезжаю!

«Ну, что я могу сказать ему? Что? — думал Алексей Иванович.— Какой я для него судья, если я и сам здесь?»

И, ни слова не сказав, а только покрякав, он медленно вышел.

Не называй ее небесной и у земли не отнимай... —

пел в зале бас. Немного погодя беговые дрожки Крюкова уже стучали по пыльной дороге.

ЖИЛЕЦ

Брыкович, когда-то занимавшийся адвокатурой, а ныне живущий без дела у своей богатой супруги, содержательницы меблированных комнат «Тунис», человек молодой, но уже плешивый, как-то в полночь выбежал из своей квартиры в коридор и изо всей силы хлопнул дверью.

— О, злая, глупая, тупая тварь!— бормотал он, сжимая кулаки.— Связал же меня черт с тобой! Уф! Чтобы перекричать эту ведьму, надо быть пушкой!

Брыкович задыхался от негодования и злобы, и если бы теперь на пути, пока он ходил по длинным коридорам «Туниса», попалась ему какая-нибудь посудина или сонный коридорный, то он с наслаждением дал бы волю рукам, чтобы хоть на чем-нибудь сорвать свой гнев. Ему хотелось браниться, кричать, топать ногами... И судьба, точно понимая его настроение и желая подслужиться, послала ему навстречу неисправного плательщика, музыканта Халявкина, жильца 31-го номера. Халявкин стоял перед своей дверью и, сильно покачиваясь, тыкал ключом в замочную скважину. Он кряхтел, посылал кого-то ко всем чертям; но ключ не слушался и всякий раз попадал не туда, куда нужно. Одною рукой он судорожно тыкал, в другой держал футляр со скрипкой. Брыкович налетел на него, как ястреб, и крикнул сердито:

— А, это вы? Послушайте, милостивый государь, когда же наконец вы уплатите за квартиру? Уж две

недели, как вы не изволите платить, милостивый государь! Я велю не топить! Я вас выселю, милостивый государь, черт побери!

— Вы мне ме... мешаете... — ответил спокойно музыкант.— Аре... ревуар![1]

— Стыдитесь, господин Халявкин! — продолжал Брыкович.— Вы получаете сто двадцать рублей в месяц и могли бы исправно платить! Это недобросовестно, милостивый государь! Это подло в высшей степени!

Ключ наконец щелкнул, и дверь отворилась.

— Да-с, это нечестно! — продолжал Брыкович, входя за музыкантом в номер.— Предупреждаю вас, что если завтра вы не уплатите, то я завтра же подам мировому. Я вам покажу! Да не извольте бросать зажженные спички на пол, а то вы у меня тут пожару наделаете! Я не потерплю, чтобы у меня в номерах жили люди нетрезвого поведения.

Халявкин поглядел пьяными, веселыми глазками на Брыковича и ухмыльнулся.

— Ррешительно не понимаю, чего вы кипятитесь...— пробормотал он, закуривая папиросу и обжигая себе пальцы.— Не понимаю! Положим, я не плачу за квартиру; да, я не плачу, но вы-то тут при чем, скажите на милость? Какое вам дело? Вы тоже ничего не платите за квартиру, но ведь я же не пристаю к вам. Не платите, ну, и бог с вами,— не нужно!

— То есть как же это так?

— Так... Хо... хозяин тут не вы, а ваша высокопочтеннейшая супруга... Вы тут... вы тут такой же жилец с тромбоном, как и прочие... Не ваши номера, стало быть, какая надобность вам беспокоиться? Берите с меня пример: ведь я не беспокоюсь? Вы за квартиру ни копейки не платите — и что же? Не платите — и не нужно. Я нисколько не беспокоюсь.

— Я вас не понимаю, милостивый государь! — пробормотал Брыкович и стал в позу человека оскорбленного, готового каждую минуту вступиться за свою честь.

— Впрочем, виноват! Я и забыл, что номера вы взяли в приданое... Виноват! Хотя, впрочем, если взглянуть

---

[1] До свиданья! (От *франц.* au revoir.)

с нравственной точки,— продолжал Халявкин, покачиваясь,— то вы все-таки не должны кипятиться... Ведь они достались вам да... даром, за понюшку табаку... Они, ежели взглянуть широко, столько же ваши, сколько и мои... За что вы их при... присвоили? За то, что состоите супругом?.. Эка важность! Быть супругом вовсе не трудно. Батюшка мой, приведите ко мне сюда двенадцать дюжин жен, и я у всех буду мужем — бесплатно! Сделайте ваше такое одолжение!

Пьяная болтовня музыканта, по-видимому, кольнула Брыковича в самое больное место. Он покраснел и долго не знал, что ответить, потом подскочил к Халявкину и, со злобой глядя на него, изо всей силы стукнул кулаком по столу.

— Как вы смеете мне говорить это? — прошипел он.— Как вы смеете?

— Позвольте...— забормотал Халявкин, пятясь назад.— Это уж выходит fortissimo[1]. Не понимаю, чего вы обижаетесь! Я... я ведь это говорю не в обиду, а... в похвалу вам. Попадись мне дама с такими номерищами, так я с руками и ногами... сделайте такое одолжение!

— Но... но как вы смеете меня оскорблять? — крикнул Брыкович и опять стукнул кулаком по столу.

— Не понимаю! — пожал плечами Халявкин, уже не улыбаясь.— Впрочем, я пьян... может быть, и оскорбил... В таком случае простите, виноват! Мамочка, прости первую скрипку! Я вовсе не хотел обидеть.

— Это даже цинизм...— проговорил Брыкович, смягчившись от умильного тона Халявкина.— Есть вещи, о которых не говорят в такой форме...

— Ну, ну... не буду! Мамаша, не буду! Руку!

— Тем более что я не подавал повода...— продолжал Брыкович обиженным тоном, окончательно смягчившись, но руки не протянул.— Я не сделал вам ничего дурного.

— Действительно, не следовало бы по... поднимать этого щекотливого вопроса... Сболтнул спьяна и сдуру... Прости, мамочка! Действительно, скотина! Сейчас я намочу холодной водой голову и буду трезв.

---

[1] очень сильно (*итал.*).

— И без того мерзко, отвратительно живется, а тут вы еще с вашими оскорблениями! — говорил Брыкович, возбужденно шагая по номеру.— Никто не видит истины, и всякий думает и болтает, что хочет. Воображаю, что за глаза говорится тут в номерах! Воображаю! Правда, я не прав, я виноват: глупо с моей стороны было набрасываться на вас в полночь из-за денег; виноват, но... надо же извинить, войти в положение, а... вы бросаете в лицо грязными намеками!

— Голубушка, да ведь пьян! Каюсь и чувствую. Честное слово, чувствую! Мамочка, и деньги отдам! Как только получу первого числа, так и отдам! Значит, мир и согласие?! Браво! Ах, душа моя, люблю образованных людей! Сам в консерватосерватории... не выговоришь, черт!.. учился...

Халявкин прослезился, поймал за рукав шагавшего Брыковича и поцеловал его в щеку.

— Эх, милый друг, пьян я, как курицын сын, а все понимаю! Мамаша, прикажи коридорному подать первой скрипке самовар! У вас тут такой закон, что после одиннадцати часов и по коридору не гуляй, и самовара не проси; а после театра страсть как чаю хочется!

Брыкович подавил пуговку звонка.

— Тимофей, подай господину Халявкину самовар! — сказал он явившемуся коридорному.

— Нельзя-с! — пробасил Тимофей.— Барыня не велела после одиннадцати часов самовар подавать.

— Так я тебе приказываю!— крикнул Брыкович бледнея.

— Что ж тут приказывать, коли не велено...— проворчал коридорный, выходя из номера.— Не велено, так и нельзя. Чего тут!..

Брыкович прикусил губу и отвернулся к окну.

— Положение-с! — вздохнул Халявкин.— М-да, нечего сказать... Ну, да меня конфузиться нечего, я ведь понимаю... всю душу насквозь. Знаем мы эту психологию... Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают! Выпьешь водочки, а?

Халявкин достал с окна водку, колбасу и расположился на диване, чтобы начать пить и закусывать. Брыкович печально глядел на пьянчугу и слушал его не-

скончаемую болтовню. Быть может, оттого, что при виде косматой головы, сороковушки и дешевой колбасы он вспомнил свое недавнее прошлое, когда он был так же беден, но свободен, и его лицо стало еще мрачнее, и захотелось выпить. Он подошел к столу, выпил рюмку и крякнул.

— Скверно живется! — сказал он и мотнул головой. —Мерзко! Вот вы меня сейчас оскорбили, коридорный оскорбил... и так без конца! А за что! Так, в сущности, ни за что...

После третьей Брыкович сел на диван и задумался, подперев руками голову, потом печально вздохнул и сказал:

— Ошибся! Ох, как ошибся! Продал я и молодость, и карьеру, и принципы,— вот и мстит мне теперь жизнь. Отчаянно мстит!

От водки и печальных мыслей он стал очень бледен и, казалось, даже похудел. Он несколько раз в отчаянии хватал себя за голову и говорил: «О, что за жизнь, если бы ты знал!»

— А признайся, скажи по совести,— спросил он, глядя пристально в лицо Халявкину,— скажи по совести, как вообще... относятся ко мне тут? Что говорят студенты, которые живут в этих номерах? Небось слыхал ведь...

— Слыхал...

— Что же?

— Ничего не говорят, а так... презирают.

Новые приятели больше уже ни о чем не говорили. Они разошлись только на рассвете, когда в коридоре стали топить печи.

— А ты ей ничего... не плати...— бормотал Брыкович, уходя.— Не плати ей ни копейки!.. Пусть...

Халявкин свалился на диван и, положив голову на футляр со скрипкой, громко захрапел.

В следующую полночь они опять сошлись...

Брыкович, вкусивший сладость дружеских возлияний, не пропускает уже ни одной ночи, и если не застает Халявкина, то заходит в другой какой-нибудь номер, где жалуется на судьбу и пьет, пьет и опять жалуется — и так каждую ночь.

НЕДОБРАЯ НОЧЬ

Наброски

Слышится то отрывистый, то тревожно подвывающий собачий лай, какой издают псы, когда чуют врага, но не могут понять, кто и где он. В темном осеннем воздухе, нарушая тишину ночи, носятся разнородные звуки: неясное бормотанье человеческих голосов, суетливая, беспокойная беготня, скрип калитки, топот верховой лошади.

Во дворе Дядькинской усадьбы, перед террасой господского дома, на опустевшей цветочной клумбе неподвижно стоят три темные фигуры. В колоколообразном тулупе, перетянутом веревкой, с отвисающими внизу клочьями бараньей шерсти, нетрудно узнать ночного сторожа Семена. Рядом с ним высокий тонконогий человек в пиджаке и с оттопыренными ушами — это лакей Гаврила. Третий, в жилетке и рубахе навыпуск, плотный и неуклюжий, напоминающий топорностью форм деревянных игрушечных мужиков, зовется тоже Гаврилой и служит кучером. Все трое держатся руками за невысокий палисадник и глядят вдаль.

— Спаси и помилуй, царица небесная,— бормочет Семен взволнованным голосом.— Страсти-то, страсти какие! Прогневался господь... Матерь владычица...

— Это недалече, братцы...— говорит басом лакей Гаврила.— Верст шесть, не больше... Я так думаю, что это в немецких хуторах...

— Немецкие хутора левей,— перебивает его кучер Гаврила.— Немецкие хутора там, ежели ты вон на ту березу глядеть станешь. Это в Крещенском.

— В Крещенском,— соглашается Семен.

Кто-то босиком, глухо стуча пятками, пробегает по террасе и хлопает дверью. Господский дом погружен в сон. Окна черны, как сажа, глядят пасмурно, по-осеннему, и только в одном из них виден слабый тусклый свет от ночника с розовым колпаком. Тут, где горит ночник, почивает молодая барыня Марья Сергеевна. Муж ее, Николай Алексеевич, уехал куда-то играть в карты и еще не возвращался.

— Настасья! — слышится крик.

— Барыня проснулась,— говорит Гаврила-лакей.— Постой, братцы, я ей наставление сделаю. Пущай дозволит мне взять лошадей и рабочих, сколько их есть, я поеду в Крещенское и живо там это самое... Народ непонимающий, дубовый, надо распорядиться, как и что.

— Ну да, ты распорядишься! Распоряжаться хочет, а у самого зубы щелкают. И без тебя там народу много. Чай, и становые, и урядники, и господа съехавшись.

На террасе со звоном отворяется стеклянная дверь, и показывается сама барыня.

— Что такое? Что за шум? — спрашивает она, подходя к трем силуэтам.— Семен, это ты?

Не успевает Семен ответить ей, как она в ужасе отскакивает назад и всплескивает руками.

— Боже мой, какое несчастье! — вскрикивает она.— Давно ли это? Где? И отчего же меня не разбудили?

Вся южная сторона неба густо залита багровым заревом. Небо воспалено, напряжено, зловещая краска мигает на нем и дрожит, точно пульсирует. На громадном, багрово-матовом фоне рельефно вырисовываются облака, бугры, оголенные деревья. Слышен торопливый, судорожный звон набата.

— Это ужасно, ужасно,— говорит барыня.— Где горит?

— Недалече, в Крещенском...

— Ах, боже мой, боже мой! Николай Алексеича нет дома, и я не знаю, что делать. Управляющий знает?

— Знают-с... Они с тремя бочками поехали туда.

— Бедные люди!

— А главное, барыня, реки у них нет. Есть поганый прудишко, да и тот не в самой деревне.

— Да нешто водой потушишь? — говорит лакей Гаврила.— Тут, главное, надо, чтоб огню ходу не давать. Нужно, чтоб которые понимающие распоряжались избы ломать. Дозвольте мне, барыня, ехать.

— Незачем тебе ехать,— отвечает Марья Сергеевна.— Ты там только мешать будешь.

Гаврила обиженно кашляет и отходит в сторону. Семен и другой Гаврила, не терпящие интеллигентности и высокомерного тона лакея в пиджаке, очень довольны замечанием барыни.

— Стало быть, только мешать будет! — говорит Семен.

И оба, сторож и кучер, точно желая щегольнуть перед барыней своею степенностью, начинают сыпать божественными словами:

— Наказал господь за грехи... Вот то-то оно и есть! Человек грешит и не думает об том, какой он есть, а господь и тово, это самое...

Вид зарева действует на всех одинаково. Как барыня, так и слуги чувствуют внутреннюю дрожь и холод, такой холод, что дрожат руки, голова, голос... Страх велик, но нетерпение еще сильнее... Хочется подняться выше и увидеть самый огонь, дым, людей! Жажда сильных ощущений берет верх над страхом и состраданием к чужому горю. Когда зарево бледнеет или кажется меньше, кучер Гаврила радостно заявляет:

— Ну, кажись, тушат! Помогай бог!

Но в голосе его все-таки слышится нотка сожаления. Когда же зарево вспыхивает и становится как будто шире, он вздыхает и отчаянно машет рукой, но по пыхтенью, с каким он старается подняться на цыпочки, заметно, что он испытывает некоторое наслаждение. Все сознают, что видят страшное бедствие, дрожат, но прекратись вдруг пожар, они почувствуют себя неудовлетворенными. Такая двойственность естественна, и напрасно ее ставят в укор человеку-эгоисту.

Как бы ни была зловеща красота, но она все-таки красота, и чувство человека не в состоянии не отдать ей дани.

Слышен маленький гром: кто-то тяжело ступает по железной крыше дома.

— Ванька, это ты? — кричит Семен.

— Я с Настасьей!

— Свалишься, черт! Видать?

— Вида-ать! В Крещенском, братцы!

— В слуховое окно, вероятно, видно,— говорит Марья Сергеевна.— Разве пойти оттуда посмотреть?

Вид несчастья сближает людей. Забывшая свою чопорность барыня, Семен и двое Гаврил идут в дом. Бледные, дрожащие от страха и жаждущие зрелища, они проходят все комнаты и лезут по лестнице на чердак. Всюду темно, и свечка, которую держит Гаврила-лакей, не освещает, а бросает только вокруг себя тусклые световые пятна. Барыня первый раз в жизни видит чердак... Балки, темные углы, печные трубы, запах паутины и пыли, странная, землистая почва под ногами — все это производит на нее впечатление сказочной декорации.

«Так вот где домовые живут?» — думает она.

Из слухового окна зарево кажется шире и багровей. Виден огонь. На горизонте тянется длинная, ярко-золотая полоска. Она двигается и переливается, как ртуть.

— Ну, тут не одна изба горит. Тут, брат, почитай, полдеревни захватило! — говорит кучер Гаврила.

— Слышь! В набат перестали бить. Значит, и церква загорелась.

— А церковь там деревянная! — говорит барыня, задыхаясь от тяжелого запаха, который испускает овчинный тулуп Семена.— Какое несчастье!

Насмотревшись, они спускаются вниз. Скоро приезжает барин Николай Алексеич. В гостях он порядком выпил и теперь, свернувшись в коляске калачиком, громко похрапывает. Его будят. Он тупо глядит на зарево и бормочет:

— Верховую ло... лошадь! Жи... живо!

— Не нужно! — протестует Марья Сергеевна.— Ну, куда ты в таком виде поедешь? Иди спать!

— Ло... лошадь! — приказывает он, покачиваясь.

Ему подают лошадь. Он взбирается на седло, встряхивает головой и исчезает в потемках. Собаки между

тем воют и рвутся, точно волка чуют. Около Семена и обоих Гаврил собираются бабы и мальчишки. Причитываньям, ахам, вздохам и крестным знамениям нет конца. Влетает во двор верховой.

— Шесть человек сгорело,— бормочет он запыхавшись.— Полдеревни — как рукой! Скота того пропало видимо-невидимо. Плотника Степана старуха сгорела.

Нетерпение барыни достигает крайних пределов. Движение и говор подзадоривают ее. Она велит заложить коляску и сама едет на пожар. Ночь темна и холодна. Почва слегка почерствела от слабого предутреннего мороза, и лошади глухо стучат по ней, как по ковру. Лакей Гаврила сидит на козлах рядом с кучером и нетерпеливо ерзает. Он оглядывается, бормочет, то и дело приподнимается с таким видом, как будто от него зависит судьба Крещенского...

— Главное, не надо огню ходу давать...— бормочет он.— Все надо умеючи, а нешто простой мужик понимает?

Проехав верст пять-шесть, барыня видит нечто необыкновенно чудовищное, что приходится видеть не всякому, да и то раз в жизни, и чего не может представить себе никакая богатая фантазия. Громадным костром пылает деревня. Поле зрения застилает масса движущегося, ослепляющего пламени, в котором, как в тумане, тонут избы, деревья и церковь. Яркий, почти солнечный свет мешается с клубами черного дыма и матового пара, золотые языки скользят и с жадным треском, улыбаясь и весело мигая, лижут черные остовы. Облака красной, золотистой пыли быстро несутся к небу, и, словно для пущей иллюзии, в этих облаках ныряют встревоженные голуби. В воздухе стоит странная смесь звуков: чудовищный треск, хлопанье пламени, похожее на хлопанье тысячи птичьих крыльев, человеческие голоса, блеянье, мычанье, скрип колес. Церковь страшна. Из ее окон рвутся наружу пламя и облака густого дыма. Колокольня висит черным великаном в массе света и золотой пыли; она уже вся обгорела, но колокола всё еще висят, и трудно понять, на чем они держатся...

По обе стороны дороги толкотня, напоминающая ярмарку или первый паром после полсводья. Люди, лоша-

ди, возы, груды рухляди, бочки. Все это движется, мешается, издает звуки. Барыня глядит на этот хаос и слышит пронзительный крик своего мужа:

— В больницу его отправить! Облейте его водой!

А лакей Гаврила стоит на возу и машет руками. Освещенный, давая от себя длинную тень, он кажется выше ростом...

— Подожгли, это как пить дать! — кричит он, вертясь, как черт перед заутреней.— Эх, вы! Не надо бы огню ходу давать! Ходу ему давать не надо!

Куда ни взглянешь, всюду бледные, тупые, словно одеревенелые лица. Воют собаки, кудахчут куры...

— Берегись!— кричат кучера съезжающихся соседей-помещиков.

Необыкновенная картина! Марья Сергеевна не верит своим глазам, и только сильный жар дает ей чувствовать, что все это не сон...

КАЛХАС

Комик Василий Васильич Светловидов, плотный, крепкий старик пятидесяти восьми лет, проснулся и с удивлением поглядел вокруг себя. Перед ним, по обе стороны небольшого зеркала, догорали две стеариновые свечи. Неподвижные, ленивые огни тускло освещали небольшую комнатку с крашеными деревянными стенами, полную табачного дыма и сумерек. Кругом были видны следы недавней встречи Вакха с Мельпоменой, встречи тайной, но бурной и безобразной, как порок. На стульях и на полу валялись сюртуки, брюки, газетные листы, пальто с пестрой подкладкой, цилиндр. На столе царил странный, хаотический беспорядок: тут теснились и мешались пустые бутылки, стаканы, три венка, позолоченный портсигар, подстаканник, выигрышный билет 2-го займа с подмоченным углом, футляр с золотой булавкой. Весь этот сброд был щедро посыпан окурками, пеплом, мелкими клочками разорванного письма. Сам Светловидов сидел в кресле и был в костюме Калхаса.

— Матушки мои, я в уборной!— проговорил комик, осматриваясь.— Вот так фунт! Когда же это я успел заснуть?

Он прислушался. Тишина была гробовая. Портсигар и выигрышный билет живо напомнили ему, что сегодня его бенефис, что он имел успех, что в каждом антракте он со своими почитателями, бравшими приступом уборную, много пил коньяку и красного вина.

— Когда же это я уснул? — повторил он.— Ах, старый хрен, старый хрен! Старая ты собака! Так, значит, налимонился, что сидя уснул! Хвалю!

И комику стало весело. Он разразился пьяным кашляющим смехом, взял одну свечку и вышел из уборной. Сцена была темна и пуста. Из глубины ее, с боков и из зрительной залы дул легкий, но ощутимый ветер. Ветерки, как духи, свободно гуляли по сцене, толкались друг с другом, кружились и играли с пламенем свечки. Огонь трепетал, изгибался во все стороны и бросал слабый свет то на ряд дверей, ведущих в уборные, то на красную кулису, около которой стояло ведро, то на большую раму, валявшуюся среди сцены.

— Егорка! — крикнул комик.— Егорка, черт! Петрушка! Заснули, черти, в рот вам дышло! Егорка!

— А... а... а! — ответило эхо.

Комик вспомнил, что Егорка и Петрушка по случаю бенефиса получили от него на водку по три целковых. После такой подачки едва ли они остались ночевать в театре.

Комик крякнул, сел на табурет и поставил свечу на пол. Голова его была тяжела и пьяна, во всем теле еще только начала «перегорать» выпитая им масса пива, вина и коньяку, а от сна в сидячем положении он ослабел и раскис.

— Во рту эскадрон ночует...— проворчал он сплевывая.— Эх, не надо бы, старый дуралей, пить! Не надо бы! И поясницу ломит, и башка трещит, и знобит всего... Старость.

Он поглядел вперед себя... Еле-еле были видны только суфлерская будка, литерные ложи да пюпитры из оркестра, вся же зрительная зала представлялась черной бездонной ямой, зияющей пастью, из которой глядела холодная, суровая тьма... Обыкновенно скромная и уютная, теперь, ночью, казалась она безгранично глубокой, пустынной, как могила, и бездушной... Комик поглядел на тьму, потом на свечку и продолжал ворчать.

— Да, старость... Как ни финти, как ни храбрись и ни ломай дурака, а уж пятьдесят восемь лет — тю-тю! Жизнь-то уж— мое почтение! Н-да-с, Васенька...

Однако служил я на сцене тридцать пять лет, а театр вижу ночью, кажется, только в первый раз... Курьезная материя, ей-богу... Да, в первый раз! Жутко, черт возьми... Егорка! — крикнул он, поднимаясь.— Егорка!

— А... а... а! — ответило эхо.

И одновременно с эхо где-то далеко, словно в самой глубине зияющей пасти, ударили к заутрене. Калхас перекрестился.

— Петрушка! — крикнул он.— Где вы, черти? Господи, что ж это я нечистого поминаю? Брось ты эти слова, брось ты пить, ведь уж стар, околевать пора! В пятьдесят восемь лет люди к заутрене ходят, к смерти готовятся, а ты... о господи!

— Господи помилуй, как жутко! — проворчал он.— Ведь эдак, ежели всю ночь просидеть здесь, так со страха помереть можно. Вот где самое настоящее место духов вызывать!

При слове «духов» ему стало еще страшнее... Гуляющие ветерки и мельканье световых пятен возбуждали и подзадоривали воображение до крайней степени... Комик как-то съежился, осунулся и, нагибаясь за свечкой, в последний раз с детским страхом покосился на темную яму. Лицо его, обезображенное гримом, было тупо и почти бессмысленно. Не дотянувшись до свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд на потемки. Полминуты простоял он молча, потом, охваченный необычайным ужасом, схватил себя за голову и затопал ногами...

— Кто ты? — крикнул он резким, не своим голосом.— Кто ты?

В одной из литерных лож стояла белая человеческая фигура. Когда свет падал в ее сторону, то можно было различить руки, голову и даже белую бороду.

— Кто ты? — повторил отчаянным голосом комик.

Белая фигура перевесила одну ногу через барьер ложи и прыгнула в оркестр, потом бесшумно, как тень, отправилась к рампе.

— Это я-с! — проговорила она, полезая на сцену.

— Кто? — крикнул Калхас, пятясь назад.

— Я... я-с, Никита Иваныч... суфлер-с. Не извольте беспокоиться.

Комик, дрожащий и обезумевший от страха, опустился в изнеможении на табурет и поник головою.

— Это я-с! — говорил, подходя к нему, высокий жилистый человек, лысый, с седой бородой, в одном нижнем белье и босой.— Это я-с! Суфлер-с.

— Боже мой...— выговорил комик, проводя ладонью по лбу и тяжело дыша.— Это ты, Никитушка? За... зачем ты здесь?

— Я здесь ночую-с в литерной ложе. Больше негде ночевать... Только вы не говорите Алексею Фомичу-с.

— Ты, Никитушка...— бормотал обессилевший Калхас, протягивая к нему дрожащую руку.— Боже мой, боже мой!.. Вызывали шестнадцать раз, поднесли три венка и много вещей... все в восторге были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой. Я старик, Никитушка. Мне пятьдесят восемь лет. Болен! Томится слабый дух мой.

Калхас потянулся к суфлеру и, весь дрожа, припал к его руке.

— Не уходи, Никитушка...— бормотал он, как в бреду.— Стар, немощен, помирать надо... Страшно!

— Вам, Василий Васильич, домой пора-с! — сказал нежно Никитушка.

— Не пойду. Нет у меня дома! Нет, нет!

— Господи Иисусе! Уж и забыли, где живете?

— Не хочу туда, не хочу ..— бормотал комик в каком-то исступлении.— Там я один .. никого у меня нет, Никитушка, ни родных ни старухи, ни деток... Один, как ветер в поле... Помру, и некому будет помянуть.

Дрожь от комика сообщилась и Никитушке... Пьяный, возбужденный старик трепал его руку, судорожно сжимал ее и пачкал смесью грима со слезами. Никитушка ежился от холода и пожимал плечами.

— Страшно мне одному...— бормотал Калхас.— Некому меня приласкать, утешить, пьяного в постель положить. Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит, Никитушка!

— Публика вас любит, Василий Васильич!

— Публика ушла и спит... Нет, никому я не нужен, никто меня не любит... Ни жены у меня, ни детей.

— Эва, о чем горюете!

— Ведь я человек, живой... Я дворянин, Никитушка, хорошего рода... Пока в эту яму не попал, на военной служил, в артиллерии. Молодец какой был, красавец, горячий, смелый... Потом актер какой я был, боже мой, боже мой! И куда все это девалось, где оно, то время?

Держась за руку суфлера, комик приподнялся и замигал глазами так, как будто из потемок попал в сильно освещенную комнату. По щекам его, оставляя полосатые следы на гриме, текли крупные слезы...

— Время какое было! — продолжал он бредить.— Поглядел нынче на эту яму и все вспомнил... все! Ямато эта съела у меня тридцать пять лет жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу на нее сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо!.. Помню, когда был молодым актером, когда только что начинал в самый пыл входить, полюбила меня одна за мою игру... Изящна, стройна, как тополь, молода, невинна, умна, пламенна, как летняя заря! Я верил, что не будь на небе солнца, то на земле было бы все-таки светло, так как перед красотой ее не могла бы устоять никакая ночь!

Калхас говорил с жаром, потрясая головой и рукой... Перед ним в одном нижнем белье стоял босой Никитушка и слушал. Обоих окутывали потемки, слабо разгоняемые бессильной свечкой. Это была странная, необычайная сцена, подобной которой не знал ни один театр в свете, и зрителем была только бездушная, черная яма...

— Она меня любила,— продолжал Калхас задыхаясь.— И что же? Помню, стою я перед нею, как сейчас перед тобой... Прекрасна была в этот раз, как никогда, глядела на меня так, что не забыть мне этих глаз в самой могиле! Ласка, бархат, блеск молодости, глубина! Упоенный, счастливый, падаю перед ней на колени, прошу счастья...

Комик перевел дух и упавшим голосом продолжал:

— А она говорит: оставьте сцену! Понимаешь? Она могла любить актера, но быть его женою — никогда! Помню, в тот день играл я... Роль была подлая, шутовская... Я играл, а у самого в душе кошки и змеи... Сцены не бросил, нет, но тогда уже глаза открылись!.. Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет, что все бред и обман.

Понял я публику! С тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни восторгам! Да, брат! Он аплодирует мне, покупает за целковый мою фотографию, но тем не менее я чужд для него, я для него грязь, почти кокотка! Он тщеславия ради ищет знакомства со мной, но не унизит себя до того, чтоб отдать мне в жены свою сестру, дочь! Не верю я ему, ненавижу, и он мне чужд!

— Домой вам пора-с,— робко проговорил суфлер.

— Понимаю я их отлично! — крикнул Калхас, грозя черной яме кулаками.— Тогда же еще понял... Еще молодым прозрел и увидел истину... И дорого мне это прозрение стоило, Никитушка. Стал я после той истории... после той девицы-то стал я без толку шататься, жить зря, не глядя вперед... Разыгрывал шутов, зубоскалил, развращал умы... опошлил и изломал свой язык, потерял образ и подобие... Эххх! Сожрала меня эта яма. Не чувствовал раньше, но сегодня... когда проснулся, поглядел назад, а за мной — пятьдесят восемь лет! Только сейчас увидел старость! Спета песня!

Калхас все еще дрожал и задыхался... Когда немного погодя Никитушка увел его в уборную и стал раздевать, он совсем опустился и раскис, но не перестал бормотать и плакать.

ТССС!..

Иван Егорович Краснухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него такой, точно он ждет обыска или замышляет самоубийство. Пошагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру:

— Разбит, утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать! И это называется жизнью?! Отчего еще никто не описал того мучительного разлада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, равнодушно-холоден, остроумен, но представьте, что меня гнетет тоска или, положим, я болен, у меня умирает ребенок, родит жена!

Говорит он это, потрясая кулаком и вращая глазами... Потом он идет в спальню и будит жену.

— Надя,— говорит он,— я сажусь писать... Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал. Нельзя писать, если ревут дети, храпят кухарки... Распорядись также, чтобы был чай и... бифштекс, что ли... Ты знаешь, я без чая не могу писать... Чай — это единственное, что подкрепляет меня в работе.

Вернувшись к себе в комнату, он снимает сюртук, жилетку и сапоги. Разоблачается он медленно, затем,

придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за письменный стол.

На столе ничего случайного, будничного, но все, каждая самомалейшая безделушка, носит на себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом, с крупной надписью на полях: «подло!» Тут же с десяток свежеочиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно, положенных для того, чтобы внешние причины и случайности, вроде порчи пера, не могли прерывать ни на секунду свободного, творческого полета...

Краснухин откидывается на спинку кресла и, закрыв глаза, погружается в обдумывание темы. Ему слышно, как жена шлепает туфлями и колет лучину для самовара. Она еще не совсем проснулась, это видно из того, что самоварная крышка и нож то и дело валятся из рук. Скоро доносится шипение самовара и поджариваемого мяса. Жена не перестает колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдруг Краснухин вздрагивает, открывает испуганно глаза и начинает нюхать воздух.

— Боже мой, угар! — стонет он, страдальчески морща лицо.— Угар! Эта несносная женщина задалась целью отравить меня! Ну, скажите же, бога ради, могу ли я писать при такой обстановке?

Он бежит в кухню и разражается там драматическим воплем. Когда, немного погодя, жена, осторожно ступая на цыпочках, приносит ему стакан чаю, он по-прежнему сидит в кресле, с закрытыми глазами, и погружен в свою тему. Он не шевелится, слегка барабанит по лбу двумя пальцами и делает вид, что не слышит присутствия жены... На лице его по-прежнему выражение оскорбленной невинности.

Как девочка, которой подарили дорогой веер, он, прежде чем написать заглавие, долго кокетничает перед самим собой, рисуется, ломается... Он сжимает себе виски, то корчится и поджимает под кресло ноги, точно

от боли, то томно жмурится, как кот на диване... Наконец, не без колебания, протягивает он к чернильнице руку и с таким выражением, как будто подписывает смертный приговор, делает заглавие...

— Мама, дай воды! — слышит он голос сына.

— Тссс!— говорит мать.— Папа пишет! Тссс...

Папа пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелятся и, кажется, думают: «Эка, брат, как ты насобачился!»

— Тссс! — скрипит перо.

— Тссс! — издают писатели, когда вздрагивают вместе со столом от толчка коленом.

Вдруг Краснухин выпрямляется, кладет перо и прислушивается... Он слышит ровный, монотонный шепот... Это в соседней комнате жилец, Фома Николаевич, молится богу.

— Послушайте! — кричит Краснухин.— Не угодно ли вам потише молиться? Вы мешаете мне писать!

— Виноват-с...— робко отвечает Фома Николаевич.

— Тссс!

Исписав пять страничек, Краснухин потягивается и глядит на часы.

— Боже, уже три часа! — стонет он.— Люди спят, а я... один я должен работать!

Разбитый, утомленный, склонив голову набок, он идет в спальню, будит жену и говорит томным голосом:

— Надя, дай мне еще чаю! Я... ослабел!

Пишет он до четырех часов, и охотно писал бы до шести, если бы не иссякла тема. Кокетничанье и ломанье перед самим собой, перед неодушевленными предметами, вдали от нескромного, наблюдающего ока, деспотизм и тирания над маленьким муравейником, брошенным судьбою под его власть, составляют соль и мед его существования. И как этот деспот здесь, дома, не похож на того маленького, приниженного, бессловесного, бездарного человечка, которого мы привыкли видеть в редакциях!

— Я так утомлен, что едва ли усну...— говорит он, ложась спать.— Наша работа, эта проклятая, неблагодарная, каторжная работа, утомляет не так тело, как душу... Мне бы бромистого калия принять... Ох, видит бог, если б не семья, бросил бы я эту работу... Писать по заказу! Это ужасно!

Спит он до двенадцати или до часу дня, спит крепко и здорово... Ах, как бы еще он спал, какие бы видел сны, как бы развернулся, если бы стал известным писателем, редактором или хотя бы издателем!

— Он всю ночь писал! — шепчет жена, делая испуганное лицо.— Тссс!

Никто не смеет ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сон — святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный!

— Тссс! — носится по квартире.— Тссс!

МЕЧТЫ

Двое сотских — один чернобородый, коренастый, на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей; другой длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бороденкой темно-рыжего цвета — конвоируют в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему «за мудрость бог лба прибавил», то есть он плешив, что еще больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго — Никандр Сапожников.

Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за тридцать. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с потертой ворсой

пальтишка приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он заискивающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик — монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий «жития мирна и безгрешна» и не находящий...

Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе, и клочок остается клочком. Мелькнет белый угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе — и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле... А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг сто́ит напряжения.

Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.

— Да ты православный?— спрашивает он.

— Православный,— кротко отвечает бродяга.

— Гм!.. стало быть, тебя крестили?

— А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Леригию я исполняю в точности...

— Ну, так как же тебя звать?

— А зови, как хочешь, парень.

Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.

— Бог тебя знает, как об тебе понимать надо,— продолжает приставать Птаха.— Мужик — не мужик, барин — не барин, а так, словно середка какая... Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу — чтоб ты издохла! — лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт его разберет, что оно такое... Так вот и ты... Какого ты звания?

— Я мужик, крестьянского рода,— вздыхает бродяга.— Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну, а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили они меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывесть. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на платье подарят, а оне меня одевают... Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И вод-

ки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоем, идеже праведные упокояются!

Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением.

— Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! — говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским, голосом.— Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я все понимаю: и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизиц. И живу по писанию... Людей не забижаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремении. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу...

— Чего ж ты плачешь?

— Пишут жалостно! За иную книжечку пятачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.

— Отец твой помер? — спрашивает Птаха.

— Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дите. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйтить...

— И на барина налетела,— усмехается Птаха.

— Не соблюли себя, это точно. Были они благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.

Говорит все это «благородный господин» тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами.

Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.

— Собака и то свою кличку помнит,— бормочет Птаха.— Меня звать Андрюшка, его — Никандра, у каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя! Никак!

— Кому какая надобность мое имя знать? — вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку.— И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, не помнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и тридцать не то сорок плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!

— А нешто ты был в каторжной работе?

— Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.

— За какое дело?

— За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишком был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать нетрудно...

Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:

— Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа — дремучий лес! Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил... Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего... Теперь я помню, что барин действительно взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили... Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет, меня за мое малолетство только на семь.

— А тебя за что?

— Как пособника. Стакан-то барину я подавал. Всегда так было: маменька приготовляли соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед богом, вы никому не рассказывайте...

— Ну, нас и спрашивать никто не станет,— говорит Птаха.— Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?

— Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.

Бродяга снимает фуражку и крестится.

— А в Восточную Сибирь пущай ссылают,— говорит он,— я не боюсь!

— Нешто это лучше?

— Совсем другая статья! В каторге ты все равно, что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде — сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты, и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать... да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, все равно как снег: бери, сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье... Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овечек, собак... Кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели... Поставлю сруб, братцы, образов накуплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.

Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, задушевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо, и глаза, и носик застыли и отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.

— Не боюсь я Сибири,— продолжает бормотать бродяга.— Сибирь — такая же Россия, такой же бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой — видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие — рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет — наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтоб наметкой ловить, так я мужика за пятачок нанимаю. И господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Все ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука — пескаря любит, шилишпер — бабочку. Голавля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженей в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль — дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые — страсть! По берегу все леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку, и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует чело-

веку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг.

Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!

Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги, или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:

— Так-то оно так, все оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных местов. Где тебе? Верст триста пройдешь и богу душу отдашь. Вишь, ты какой дохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание... Все трое думают. Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки

на пути, студеные зимы, болезни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.

— И впрямь тебе не дойтить! — соглашается Птаха.— Какой ты ходок? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!

— Известно, помрет! Где ему! — говорит Никандр.— Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!

Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...

— Ну, пора идти,— говорит Никандр, поднимаясь.— Отдохнули!

Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.

НА МЕЛЬНИЦЕ

Мельник Алексей Бирюков, здоровенный коренастый мужчина средних лет, фигурой и лицом похожий на тех топорных, толстокожих и тяжело ступающих матросов, которые снятся детям после чтения Жюля Верна, сидел у порога своей хижины и лениво сосал потухшую трубку. На этот раз он был в серых штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах, но без сюртука и без шапки, хотя на дворе стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь расстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое, черствое, как мозоль, тело мельника, по-видимому, не ощущало холода. Красное, мясистое лицо его по обыкновению было апатично и дрябло, точно спросонок, маленькие заплывшие глазки угрюмо исподлобья глядели по сторонам то на плотину, то на два сарая с навесами, то на старые, неуклюжие ветлы.

Около сараев суетились два только что приехавших монастырских монаха: один Клиопа, высокий и седой старик в обрызганной грязью рясе и в латаной скуфейке, другой Диодор, чернобородый и смуглый, по-видимому грузин родом, в обыкновенном мужицком тулупе. Они снимали с телег мешки с рожью, привезенной ими для помола. Несколько поодаль от них на темной, грязной траве сидел работник Евсей, молодой безусый парень в рваном кургузом тулупе и совершенно пьяный. Он мял в руках рыболовную сеть и делал вид, что починяет ее.

Мельник долго водил глазами и молчал, потом уставился на монахов, таскавших мешки, и проговорил густым басом:

— Вы, монахи, зачем это в реке рыбу ловите? Кто вам дозволил?

Монахи ничего не ответили и даже не взглянули на мельника.

Тот помолчал, закурил трубку и продолжал:

— Сами ловите, да еще посадским мещанам дозволяете. Я в посаде и у вас реку на откуп взял, деньги вам плачу, стало быть рыба моя, и никто не имеет полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грех не считаете.

Мельник зевнул, помолчал и продолжал ворчать:

— Ишь ты, какую моду взяли! Думают, что как монахи, в святые записались, так на них и управы нет. Возьму вот и подам мировому. Мировой не поглядит на твою рясу, насидишься ты у него в холодной. А то и сам без мирового справлюсь. Попаду на реке и так шею накостыляю, что до Страшного суда рыбы не захочешь!

— Напрасно вы такие слова говорите, Алексей Дорофеич! — проговорил Клиопа тихим тенорком.— Добрые люди, которые бога боятся, таких слов собаке не говорят, а ведь мы монахи!

— Монахи,— передразнил мельник.— Тебе понадобилась рыба? Да? Так ты купи у меня, а не воруй!

— Господи, да нешто мы воруем? — поморщился Клиопа.— Зачем такие слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно, но ведь на это они от отца архимандрита дозволение имели. Отец архимандрит так рассуждают, что деньги взяты с вас не за всю реку, а только за то, чтоб вы на нашем берегу имели право сети ставить. Река не вся вам дадена... Она не ваша и не наша, а божья...

— И архимандрит такой же, как ты,— проворчал мельник, стуча трубкой по сапогу.— Любит обшить, тоже! А я разбирать не стану. Для меня архимандрит все равно, что ты или вот Евсей. Попаду его на реке, так и ему влетит...

— А что вы собираетесь бить монахов, так это как вам угодно. Для нас же на том свете лучше будет. Вы

уж били Виссариона и Антипия, так бейте и других.

— Замолчи, не трогай его! — проговорил Диодор, дергая Клиопу за рукав.

Клиопа спохватился, умолк и стал таскать мешки, мельник же продолжал браниться. Ворчал он лениво, посасывая после каждой фразы трубку и сплевывая. Когда иссяк рыбный вопрос, он вспомнил о каких-то его собственных двух мешках, которые якобы «зажулили» когда-то монахи, и стал браниться из-за мешков, потом, заметив, что Евсей пьян и не работает, он оставил в покое монахов и набросился на работника, оглашая воздух отборною, отвратительною руганью.

Монахи сначала крепились и только громко вздыхали, но скоро Клиопа не вынес... Он всплеснул руками и произнес плачущим голосом:

— Владыко святый, нет для меня тягостнее послушания, как на мельницу ездить! Сущий ад! Ад, истинно ад!

— А ты не езди! — огрызнулся мельник.

— Царица небесная, рады бы сюда не ездить, да где же нам другую мельницу взять? Сам посуди, кроме тебя тут в окружности ни одной мельницы нет! Просто хоть с голоду помирай или немолотое зерно кушай!

Мельник не унимался и продолжал сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчанье и ругань составляли для него такую же привычку, как сосанье трубки.

— Хоть ты нечистого не поминай! — умолял Клиопа, оторопело мигая глазами.— Ну помолчи, сделай милость!

Скоро мельник умолк, но не потому, что его умолял Клиопа. На плотине показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, с добродушным лицом, в каком-то странном полосатом салопике, похожем на спинку жука. Она несла небольшой узелок и подпиралась маленькой палочкой...

— Здравствуйте, батюшка! — зашепелявила она, низко кланяясь монахам.— Помогай бог! Здравствуй, Алешенька! Здравствуй, Евсеюшка!..

— Здравствуйте, маменька,— пробормотал мельник, не глядя на старуху и хмурясь.

— А я к тебе в гости, батюшка мой! — сказала она, улыбаясь и нежно заглядывая в лицо мельника.— Давно не видала. Почитай, с самого успеньева дня не видались... Рад не рад, а уж принимай! А ты словно похудел будто...

Старушонка уселась рядом с мельником, и около этого громадного человека ее салопик еще более стал походить на жука.

— Да, с успеньева дня!— продолжала она.— Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек, а как соберусь к тебе, то или дождь пойдет, или заболею...

— Сейчас вы из посада? — угрюмо спросил мельник.

— Из посада... Прямо из дому...

— При ваших болезнях и при такой комплекции вам дома сидеть нужно, а не по гостям ходить. Ну, зачем вы пришли? Башмаков не жалко!

— Поглядеть на тебя пришла... Их у меня, сынов-то, двое,— обратилась она к монахам,— этот, да еще Василий, что в посаде. Двоечко. Им-то все равно, жива я или померла, а ведь они-то у меня родные, утешение... Они без меня могут, а я без них, кажется, и дня бы не прожила... Только вот, батюшка, стара стала, ходить к нему из посада тяжело.

Наступило молчание. Монахи снесли в сарай последний мешок и сели на телегу отдыхать... Пьяный Евсей все еще мял в руках сеть и клевал носом.

— Не вовремя пришли, маменька,— сказал мельник.— Сейчас мне в Каряжино ехать нужно.

— Езжай! С богом! — вздохнула старуха.— Не бросать же из-за меня дело... Я отдохну часик и пойду назад... Тебе, Алешенька, кланяется Вася с детками...

— Все еще водку трескает?

— Не то чтобы уж очень, а пьет. Нечего греха таить, пьет... Много-то пить, сам знаешь, не на что, так вот разве иной раз добрые люди поднесут... Плохое его житье, Алешенька! Намучилась я, на него глядючи... Есть нечего, детки оборванные, сам он — на улицу стыдно глаза показать, все штаны в дырах и сапогов нет... Все мы вшестером в одной комнате спим. Такая бедность, такая бедность, что горчее и придумать нельзя... С тем к тебе и шла, чтоб на бедность попросить... Ты, Алешенька, уж уважь старуху, помоги Василию... Брат ведь!

Мельник молчал и глядел в сторону.

— Он бедный, а ты — слава тебе господи! И мельница у тебя своя, и огороды держишь, и рыбой торгуешь... Тебя господь и умудрил, и возвеличил супротив всех, и насытил... И одинокий ты... А у Васи четверо детей, я на его шее живу, окаянная, а жалованья-то всего он семь рублей получает. Где ж ему прокормить всех? Ты помоги.

Мельник молчал и старательно набивал свою трубку.

— Дашь? — спросила старуха.

Мельник молчал, точно воды в рот набрал. Не дождавшись ответа, старуха вздохнула, обвела глазами монахов, Евсея, встала и сказала:

— Ну, бог с тобой, не давай. Я и знала, что не дашь... Пришла я к тебе больше из-за Назара Андреича... Плачет уж очень, Алешенька! Руки мне целовал и все просил меня, чтоб я сходила к тебе и упросила...

— Чего ему?

— Просит, чтоб ты ему долг отдал. Отвез, говорит, я ему рожь для помолу, а он назад и не отдал.

— Не ваше дело, маменька, в чужие дела мешаться,— проворчал мельник.— Ваше дело богу молиться.

— Я и молюсь, да уж что-то бог моих молитв не слушает. Василий нищий, сама я побираюсь и в чужом салопе хожу, ты хорошо живешь, но бог тебя знает, какая душа у тебя. Ох, Алешенька, испортили тебя глаза завистливые! Всем ты у меня хорош: и умен, и красавец, и из купцов купец, но не похож ты на настоящего человека! Неприветливый, никогда не улыбнешься, доброго слова не скажешь, немилостивый, словно зверь какой... Ишь какое лицо! А что́ народ про тебя рассказывает, горе ты мое! Спроси-ка вот батюшек! Врут, будто ты народ сосешь, насильничаешь, со своими разбойниками-работниками по ночам прохожих грабишь да коней воруешь... Твоя мельница, словно место какое проклятое... Девки и ребята близко подходить боятся, всякая тварь тебя сторонится. Нет тебе другого прозвания, окромя как Каин и Ирод...

— Глупые вы, маменька!

— Куда ни ступишь — трава не растет, куда ни дыхнешь — муха не летает. Только и слышу я: «Ах,

хоть бы его скорей кто убил или засудили!» Каково-то матери слышать все это? Каково? Ведь ты мне родное дитя, кровь моя...

— Одначе мне ехать пора,— проговорил мельник, поднимаясь.— Прощайте, маменька!

Мельник выкатил из сарая дроги, вывел лошадь и, втолкнув ее, как собачонку, между оглобель, начал запрягать. Старуха ходила возле него, заглядывала ему в лицо и слезливо моргала.

— Ну, прощай! — сказала она, когда сын ее стал быстро натягивать на себя кафтан.— Оставайся тут с богом, да не забывай нас. Постой, я тебе гостинца дам...— забормотала она, понизив голос и развязывая узел.— Вчерась была у дьяконицы и там угощали... так вот я для тебя спрятала...

И старуха протянула к сыну руку с небольшим мятным пряником...

— Отстаньте вы! — крикнул мельник и отстранил ее руку.

Старуха сконфузилась, уронила пряник и тихо поплелась к плотине... Сцена эта произвела тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, которые вскрикнули и в ужасе развели руками, даже пьяный Евсей окаменел и испуганно уставился на своего хозяина. Понял ли мельник выражение лиц монахов и работника, или, быть может, в груди его шевельнулось давно уже уснувшее чувство, но только и на его лице мелькнуло что-то вроде испуга...

— Маменька! — крикнул он.

Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельник торопливо полез в карман и достал оттуда большой кожаный кошелек...

— Вот вам...— пробормотал он, вытаскивая из кошелька комок, состоявший из бумажек и серебра.— Берите!

Он покрутил в руке этот комок, помял, для чего-то оглянулся на монахов, потом опять помял. Бумажки и серебряные деньги, скользя меж пальцев, друг за дружкой попадали обратно в кошелек, и в руке остался один только двугривенный... Мельник оглядел его, потер между пальцами и, крякнув, побагровев, подал его матери.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Жил-был в Москве Владимир Семеныч Лядовский. Он кончил курс в университете по юридическому факультету, служил в контроле какой-то железной дороги, но если бы вы спросили его, чем он занимается, то сквозь золотое pince-nez открыто и ясно поглядели бы на вас большие, блестящие глаза и тихий, бархатный, шепелявящий баритон ответил бы вам:

— Я занимаюсь литературой!

После окончания курса в университете Владимир Семеныч поместил в одной газете театральную заметку. С заметки перешел он к библиографическому отделу, а год спустя уже вел в газете еженедельный критический фельетон. Но из такого начала не следует, что он был дилетант, что его писательство имело случайный, преходящий характер. Когда я видел его чистенькую, худощавую фигурку, большой лоб и длинную гриву, когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что́ и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца, и что еще во чреве матери в его мозгу сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю эту программу от а до ижицы, со всей ее шумихой, скукой и порядочностью. В нем был виден пишущий, когда с вдохновенным лицом возлагал он венок на гроб какой-нибудь знаменитости или с важным, торжественным выражением собирал подписи для адреса; его страсть знако-

миться с известными литераторами, способность находить таланты даже там, где их нет, постоянная восторженность, пульс сто двадцать в минуту, незнание жизни, та чисто женская взбудораженность, с какою он хлопотал на концертах и литературных вечерах в пользу учащейся молодежи, тяготение к молодежи — все это создало бы ему репутацию «пишущего», если бы даже он и не писал своих фельетонов.

Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил: «Нас немного!» или: «Что за жизнь без борьбы? Вперед!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шел вперед. Не выходило также приторно, когда он начинал толковать об идеалах. В каждую университетскую годовщину, в Татьянин день, он напивался пьян, подтягивал не в тон «gaudeamus» [1], и в это время его сияющее, вспотевшее лицо как бы говорило: «Глядите, я пьян, я кучу!» Но и это шло к нему.

Владимир Семеныч искренно веровал в свое право писать и в свою программу, не знал никаких сомнений и, по-видимому, был очень доволен собой. Одно только печалило его, а именно: у газеты, в которой он работал, было мало подписчиков и не было солидной репутации. Но Владимир Семеныч веровал, что рано или поздно ему удастся пристроиться в толстом журнале, где он развернется и покажет себя,— и его маленькая печаль бледнела в виду ярких надежд.

Бывая у этого милого человека, я познакомился с его родной сестрой, женщиной-врачом Верой Семеновной. С первого же взгляда эта женщина поразила меня своим утомленным, крайне болезненным видом. Она была молода, хорошо сложена, с правильным, несколько грубоватым лицом, но, в сравнении с подвижным, изящным и болтливым братом, казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ее движения, улыбки и слова носили в себе что-то вымученное, холодное, апатичное, и она не нравилась, ее считали гордой, недалекой.

На самом же деле, мне кажется, она отдыхала.

— Милый друг мой,— часто говорил мне ее брат.

---

[1] «будем веселиться» — начало старинной студенческой песни *(лат.)*.

вздыхая и красивым писательским жестом откидывая назад волосы,— никогда не судите по наружности! Поглядите вы на эту книгу: она давно уже прочтена, закорузла, растрепана, валяется в пыли, как ненужная вещь, но раскройте ее, и она заставит вас побледнеть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплет, загляните в душу, и вас охватит ужас. В какие-нибудь три месяца Вера перенесла, сколько хватило бы на всю человеческую жизнь!

Владимир Семеныч оглядывался, брал меня за рукав и начинал шептать:

— Вы знаете, кончив курс, она вышла замуж по любви за одного архитектора. Целая драма! Едва успели молодые прожить месяц, как муж — фюйть! — умирает от тифа. Но это не все. Она сама заражается от мужа тифом и, когда, выздоровев, узнает, что ее Иван умер, принимает хорошую дозу морфия. Если бы не энергия подруг, то моя Вера была бы уже в раю. Послушайте, разве это не драма? И разве моя сестра не похожа на ingénue, которая уже сыграла все пять действий своей жизни? Пусть публика глядит водевиль, но ingénue должна ехать домой отдыхать.

Вера Семеновна, пережив три несчастных месяца, поселилась у брата. Практическая медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее; да она и не производила впечатления знающей, и я ни разу не слышал, чтобы она говорила о чем-нибудь, имеющем отношение к ее науке.

Она оставила медицину и в безделье и молчании, точно заключенная, поникнув головой и опустив руки, лениво и бесцветно доживала свою молодость. Единственное, к чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ее жизненные сумерки, было присутствие около нее брата, которого она любила. Она любила его самого, его программу, благоговела перед его фельетонами, и когда ее спрашивали, чем занимается ее брат, она тихим голосом, точно боясь разбудить или помешать, отвечала: «Он пишет!..» Обыкновенно, когда он писал, она сидела возле и не сводила глаз с его пишущей руки. В это время она походила на больное животное, греющееся на солнце...

В один из зимних вечеров Владимир Семеныч сидел у себя за столом и писал для газеты критический фельетон, возле сидела Вера Семеновна и по обыкновению глядела на его пишущую руку. Критик писал быстро, без помарок и остановок. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столе около пишущей руки лежала раскрытая, только что обрезанная книжка толстого журнала.

Там был рассказ из крестьянской жизни, подписанный двумя буквами. Владимир Семеныч был в восторге. Он находил, что автор прекрасно справляется с формой изложения, в описаниях природы напоминает Тургенева, искренен и знает превосходно крестьянскую жизнь. Сам критик был знаком с этой жизнью только по книгам и понаслышке, но чувство и внутреннее убеждение заставляли его верить рассказу. Он предсказывал автору блестящую будущность, уверял его, что ждет окончания рассказа с большим нетерпением, и проч.

— Прекрасный рассказ! — проговорил он, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза от удовольствия.— Идея в высшей степени симпатичная!

Вера Семеновна поглядела на него, громко зевнула и вдруг задала неожиданный вопрос. Вообще вечерами она имела привычку нервно зевать и задавать короткие, отрывистые вопросы, не всегда шедшие к делу.

— Володя,— спросила она,— что значит непротивление злу?

— Непротивление злу? — переспросил брат, открывая глаза.

— Да. Как ты его понимаешь?

— Видишь ли, милая, представь, что на тебя нападают воры или разбойники и хотят тебя ограбить, а ты, вместо того чтобы...

— Нет, ты дай логическое определение.

— Логическое определение? Гм!.. Ну, что ж? — замялся Владимир Семеныч.— Непротивление злу выражает безучастное отношение ко всему, что в сфере нравственного именуется злом.

Сказавши это, Владимир Семеныч нагнулся к столу и принялся за повесть. В этой повести, написанной женщиною, изображалась тягость нелегального положения

светской дамы, живущей под одной крышей с любовником и со своим незаконнорожденным ребенком. Владимир Семеныч был доволен и симпатичной идеей, и фабулой, и исполнением. Передавая вкратце содержание повести, он выбирал лучшие места и прибавлял к ним от себя: «Не правда ли, как все это верно действительности, как жизненно и картинно! Автор не только повествователь-художник, но он также и тонкий психолог, умеющий вглядываться в душу своих персонажей. Для примера возьмем хоть это рельефное описание душевного состояния героини во время встречи ее с мужем», и т. д.

— Володя! — перебила Вера Семеновна его критические излияния.— Странная мысль занимает меня со вчерашнего дня. Я все думаю: что́ мы изображали бы из себя, если бы жизнь человеческая была построена на началах непротивления злу?

— По всей вероятности, ничего. Непротивление злу дало бы полную свободу преступной воле, а от этого, не говоря уж о цивилизации, на земле не осталось бы камня на камне.

— А что же бы осталось?

— Башибузуки и дома терпимости. В следующем фельетоне я поговорю насчет этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила.

И мой приятель через неделю сдержал свое обещание. Это было как раз время — восьмидесятые годы, когда у нас в обществе и печати заговорили о непротивлении злу, о праве судить, наказывать, воевать, когда кое-кто из нашей среды стал обходиться без прислуги, уходил в деревню пахать, отказывался от мясной пищи и плотской любви.

Прочитав фельетон брата, Вера Семеновна подумала и едва заметно пожала плечами.

— Очень мило! — сказала она.— Но все же я еще многого не понимаю. Например, в «Соборянах» Лескова есть один чудак огородник, который сеет на долю всех: покупателей, нищих и тех, кто захочет украсть. Разумно он поступает?

По выражению лица и по тону сестры Владимир Семеныч понял, что его фельетон не понравился ей, и

чуть ли не первый раз в жизни в нем вздрогнуло его авторское чувство. Не без раздражения он ответил:

— Кража — явление безнравственное. Сеять на долю воров, значит признавать за ворами право на их существование. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отделы, кроме честных идей, имел бы в виду еще и шантаж? Ведь по логике этого огородника я должен уделить место также и шантажистам, подлецам мысли! Да?

Вера Семеновна ничего не ответила. Она встала из-за стола, лениво поплелась к дивану и легла.

— Не знаю, ничего не знаю!— сказала она в раздумье.— Ты, вероятно, прав, но мне кажется, я так чувствую, что в нашей борьбе со злом есть какая-то фальшь, точно что-то не досказано или скрыто. Бог знает, быть может, наши приемы в противлении злу принадлежат к числу предрассудков, которые вкоренились в нас так глубоко, что мы уже не в силах расстаться с ними и потому уже не можем судить о них правильно.

— То есть как же это?

— Я не знаю, как тебе объяснить. Быть может, человек ошибается, думая, что он обязан и имеет право бороться со злом, так же, как ошибается, думая, например, что сердце имеет вид червонного туза. Очень может быть, что в борьбе со злом мы имеем право действовать не силой, а тем, что противоположно силе, то есть если ты, например, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай...

— Умно, очень умно! Если я хочу жениться на богатой купчихе, то, чтобы помешать мне сделать эту подлость, купчиха должна поспешить сама выйти за меня замуж!

До полуночи беседовали брат и сестра, не понимая друг друга. Если бы посторонний человек подслушал их, то едва ли бы понял, чего хочет один и чего хочет другая.

Вечерами брат и сестра обыкновенно сидели дома. Знакомых семейных домов у них не было, да они и не чувствовали потребности в знакомствах, в театр ходили только на новые пьесы,— таков был тогда обычай у пишущих,— на концертах не бывали, потому что не любили музыки...

— Ты как хочешь думай,— сказала на другой день Вера Семеновна,— но для меня вопрос уже отчасти решен. Глубоко я убеждена, что противиться злу, направленному против меня лично, я не имею никакого основания. Захотят убить меня? Пусть. Оттого, что я буду защищаться, убийца не станет лучше. Теперь для меня остается только решить вторую половину вопроса: как я должна относиться к злу, направленному против моих ближних?

— Вера, ты не взбесись! — сказал Владимир Семеныч и засмеялся.— Непротивление становится, как я вижу, твоей idée-fixe! [1]

Ему хотелось разыграть эти скучные разговоры в шутку, но как-то уже было не до шуток, улыбка на лице выходила кривой и кислой. Сестра уж не садилась у его стола и не следила благоговейно за его пишущей рукой, а сам он каждый вечер чувствовал, что позади него на диване лежит человек, не согласный с ним... И спина у него как будто деревенела и немела, а в душе веяло холодом. Авторское чувство злопамятно, неумолимо, не знает прощения, а сестра была первая и единственная, которая обнажила и растревожила это беспокойное чувство, похожее на большой ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно.

Проходили недели и месяцы, а сестра не оставляла своих мыслей и не садилась у стола. Однажды весенним вечером Владимир Семеныч сидел за столом и писал фельетон. Он разбирал повесть о том, как одна сельская учительница отказывает любимому и любящему ее человеку, богатому и интеллигентному, только потому, что для нее с браком сопряжена невозможность продолжать свою педагогическую деятельность. Вера Семеновна лежала на диване и думала о чем-то.

— Боже, какая скука! — сказала она, потягиваясь.— Как вяло и бессодержательно течет жизнь! Я не знаю, что делать с собой, а ты тратишь свои лучшие годы на бог знает что. Как алхимик, роешься в старом, никому не нужном хламе,— о, боже мой!

---

[1] навязчивой идеей *(франц.)*.

Владимир Семеныч выронил перо и медленно оглянулся на сестру.

— Скучно глядеть на тебя! — продолжала сестра.— Вагнер из «Фауста» выкапывал червей, но тот хоть клада искал, а ты ищешь червей ради червей...

— Туманно-с!

— Да, Володя, все эти дни я думала, долго, мучительно думала и убедилась: ты безнадежный обскурант и рутинер. Ну, спроси себя, что может дать тебе твоя усердная и добросовестная работа? Скажи: что? Ведь из этого старого хлама, в котором ты роешься, давно уже извлекли всё, что можно было извлечь. Как ни толки воду в ступе, как ни разлагай ее, а больше того, что уже сказано химиками, не скажешь...

— Вот ка-ак! — протянул Владимир Семеныч, поднимаясь.— Да, все это старый хлам, потому что идеи эти вечны, но что же, по-твоему, ново?

— Ты берешься работать в области мысли, твое дело придумать что-нибудь новое. Не мне тебя учить.

— Я — алхимик! — удивлялся и возмущался критик, насмешливо щуря глаза.— Искусство, прогресс — это алхимия?!

— Видишь ли, Володя, мне кажется, что если бы все вы, мыслящие люди, посвятили себя решению больших задач, то все эти твои вопросики, над которыми ты теперь бьешься, решились бы сами собой, побочным путем. Если ты поднимешься на шаре, чтобы увидеть город, то поневоле, само собою, увидишь и поле, и деревни, и реки... Когда добывают стеарин, то, как побочный продукт, получается глицерин. Мне кажется, что современная мысль засела на одном месте и прилипла к этому месту. Она предубеждена, вяла, робка, боится широкого, гигантского полета, как мы с тобой боимся взобраться на высокую гору, она консервативна.

Подобные разговоры не проходили бесследно. Взаимные отношения брата и сестры с каждым днем становились все хуже и хуже. Брат в присутствии сестры уже не мог работать и раздражался, когда знал, что сестра лежит на диване и глядит ему в спину; сестра же как-то болезненно морщилась и потягивалась, когда он, пытаясь вернуть прошлое, пробовал делиться с нею своими вос-

торгами. Каждый вечер она жаловалась на скуку, заводила речь о свободе мысли, о рутинерах. Увлеченная своими новыми мыслями, Вера Семеновна доказывала, что работа, в которую был погружен ее брат, есть предрассудок, тщетная попытка консервативных умов продолжать то, что уже сослужило свою службу и уже сходит со сцены. Сравнениям не было конца. Она сравнивала брата то с алхимиком, то с раскольником-начетчиком, который скорее умрет, чем поддастся убеждению...

Мало-помалу стала замечаться перемена и в ее образе жизни. Она могла уже по целым дням и вечерам лежать на диване, ничего не делая, не читая, а только думая, причем лицо ее принимало холодное, сухое выражение, какое бывает у людей односторонних, сильно верующих; она стала отказываться от удобств, доставляемых прислугой: сама за собой убирала, выносила, сама чистила полусапожки и платье. Брат не мог без раздражения и даже ненависти глядеть на ее холодное лицо, когда она принималась за черную работу. В этой работе, совершаемой всегда с некоторою торжественностью, он видел что-то натянутое, фальшивое, видел и фарисейство и кокетство. И уж зная, что он не в силах тронуть ее убеждением, он, как школьник, придирался, дразнил ее.

— Не противишься злу, а сама противишься тому, что я имею прислугу! — язвил он.— Если прислуга зло, то зачем же ты противишься? Это непоследовательно!

Он страдал, возмущался и даже стыдился. Ему стыдно делалось, когда сестра начинала дурить при посторонних.

— Ужасно, голубчик! — говорил он мне по секрету, в отчаянии взмахивая руками.— Оказывается, что наша ingénue осталась играть еще и в водевиле. Опсихопатилась до мозга костей! Я уже рукой махнул, пусть мыслит, как хочет, но зачем она говорит, зачем волнует меня. Она бы подумала: каково-то мне слушать ее? Каково мне, когда в моем присутствии осмеливаются кощунственно подтверждать свое заблуждение учением Христа! Мне душно! Меня бросает в жар, когда моя сестрица берется проповедовать свое учение и старается перетолковать евангелие в свою пользу, когда она нарочно умалчивает об изгнании торгующих из храма!

Вот что значит, батенька, недоразвитие, недомыслие! Вот что значит медицинский факультет, не дающий общего развития.

Раз Владимир Семеныч, вернувшись со службы домой, застал сестру плачущей. Она сидела на диване, опустив голову и ломая руки, и обильные слезы текли у нее по лицу. Доброе сердце критика сжалось от боли. Слезы потекли и у него из глаз, и ему захотелось приласкать сестру, простить ее, попросить прощения, зажить по-старому... Он стал на колени, осыпал поцелуями ее голову, руки, плечи... Она улыбнулась, улыбнулась непонятно, горько, а он радостно вскрикнул, вскочил, схватил со стола журнал и сказал с жаром:

— Ура! Живем по-старому, Верочка! Господи благослови! А какую я для тебя штучку приготовил! Давай-ка вместо примирительного шампанского прочтем ее вместе! Прекрасная, чудная вещь!

— Ах, нет, нет...— испугалась Вера Семеновна, отстраняя книгу.— Я уже читала! Не нужно, не нужно!

— Когда же ты читала?

— Год... два назад... Давно читала и знаю, знаю!

— Гм!.. Ты фанатичка! — сказал холодно брат, бросая на стол журнал.

— Нет! ты фанатик, а не я! Ты!

И Вера Семеновна опять залилась слезами. Брат стоял перед ней, глядел на ее вздрагивающие плечи и думал. Думал он не о муках одиночества, какое переживает всякий, начинающий мыслить по-новому, по-своему, не о страданиях, какие неизбежны при серьезном душевном перевороте, а о своей оскорбленной программе, о своем уязвленном авторском чувстве.

С этого раза стал он относиться к сестре холодно, небрежно-насмешливо и терпел ее в своей квартире, как терпят старух приживалок, она же перестала спорить с ним и на все его убеждения, насмешки и придирки отвечала снисходительным молчанием, которое еще более раздражало его.

В одно летнее утро Вера Семеновна, одетая по-дорожному, с сумочкой через плечо вошла к брату и холодно поцеловала его в лоб.

— Ты это куда? — удивился Владимир Семеныч.

— В N—скую губернию, оспу прививать.

Брат вышел проводить ее на улицу.

— Ишь ты, проказница, что́ надумала...— бормотал он.— Денег тебе не нужно?

— Нет, спасибо. Прощай.

Сестра пожала брату руку и пошла.

— Что же ты извозчика не нанимаешь? — крикнул Владимир Семеныч.

Докторша не отвечала. Брат поглядел вслед на ее рыжий ватерпруф, на покачивания ее стана от ленивой походки, насильно вздохнул, но не возбудил в себе чувства жалости. Сестра была для него уже чужой. Да и он был чужд для нее. По крайней мере она ни разу не оглянулась.

Вернувшись к себе в комнату, Владимир Семеныч тотчас же сел за стол и принялся за фельетон.

И потом уже я ни разу не видел Веры Семеновны. Где она теперь — не знаю. А Владимир Семеныч все писал свои фельетоны, возлагал венки, пел «gaudeamus», хлопотал о «кассе взаимопомощи сотрудников московских повременных изданий».

Как-то он заболел воспалением легкого; лежал он больной три месяца, сначала дома, потом в Голицынской больнице. Образовалась у него фистула в колене. Поговаривали о том, что надо бы отправить его в Крым, стали собирать в его пользу. Но в Крым он не поехал — умер. Мы похоронили его в Ваганьковском кладбище, на левой стороне, где хоронят артистов и литераторов.

Как-то мы, пишущие, сидели в Татарском ресторане. Я рассказал, что недавно я был в Ваганьковском кладбище и видел могилу Владимира Семеныча. Могила была совершенно заброшена, сровнялась уже почти с землей, крест повалился; необходимо было привести ее в порядок, собрать для этого несколько рублей...

Но меня выслушали равнодушно, не ответили ни слова, и я не собрал ни копейки. Уже никто не помнил Владимира Семеныча. Он был совершенно забыт.

СОБЫТИЕ

Утро. Сквозь льдяные кружева, покрывающие оконные стекла, пробивается в детскую яркий солнечный свет. Ваня, мальчик лет шести, стриженый, с носом, похожим на пуговицу, и его сестра Нина, четырехлетняя девочка, кудрявая, пухленькая, малорослая не по летам, просыпаются и через решетки кроваток глядят сердито друг на друга.

— У-у-у, бесстыдники! — ворчит нянька.— Добрые люди уж чаю напившись, а вы никак глаз не продерете...

Солнечные лучи весело шалят на ковре, на стенах, на подоле няньки и как бы приглашают поиграть с ними, но дети не замечают их. Они проснулись не в духе. Нина надувает губы, делает кислое лицо и начинает тянуть:

— Ча-аю! Нянька, ча-аю!

Ваня морщит лоб и думает: к чему бы придраться, чтоб зареветь? Он уж заморгал глазами и открыл рот, но в это время из гостиной доносится голос мамы:

— Не забудьте дать кошке молока, у нее теперь котята!

Ваня и Нина вытягивают физиономии и с недоумением глядят друг на друга, потом оба разом вскрикивают, прыгают с кроваток и, оглашая воздух пронзительным визгом, бегут босиком, в одних рубашонках в кухню.

— Кошка ощенилась! — кричат они.— Кошка ощенилась!

В кухне под скамьей стоит небольшой ящик, тот самый, в котором Степан таскает кокс, когда топит камин. Из ящика выглядывает кошка. Ее серая рожица выражает крайнее утомление, зеленые глаза с узкими черными зрачками глядят томно, сентиментально... По роже видно, что для полноты ее счастья не хватает только присутствия в ящике «его», отца ее детей, которому она так беззаветно отдалась! Хочет она промяукать, широко раскрывает рот, но из горла ее выходит одно только сипенье... Слышится писк котят.

Дети садятся на корточки перед ящиком и, не шевелясь, притаив дыхание, глядят на кошку... Они удивлены, поражены и не слышат, как ворчит погнавшаяся за ними нянька. В глазах обоих светится самая искренняя радость.

В воспитании и в жизни детей домашние животные играют едва заметную, но несомненно благотворную роль. Кто из нас не помнит сильных, но великодушных псов, дармоедок-болонок, птиц, умиравших в неволе, тупоумных, но надменных индюков, кротких старух кошек, прощавших нам, когда мы ради забавы наступали им на хвосты и причиняли им мучительную боль? Мне даже иногда кажется, что терпение, верность, всепрощение и искренность, какие присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо сильнее и положительнее, чем длинные нотации сухого и бледного Карла Карловича или же туманные разглагольствования гувернантки, старающейся доказать ребятам, что вода состоит из кислорода и водорода.

— Какие маленькие! — говорит Нина, делая большие глаза и заливаясь веселым смехом.— Похожи на мышов!

— Раз, два, три...— считает Ваня.—Три котенка. Значит, мне одного, тебе одного и еще кому-нибудь одного.

— Мурррм... мурррм...— мурлычет роженица, польщенная вниманием.— Мурррм.

Наглядевшись на котят, дети берут их из-под кошки и начинают мять в руках, потом, не удовлетворившись этим, кладут их в подолы рубах и бегут в комнаты.

— Мама, кошка ощенилась! — кричат они.

Мать сидит в гостиной с каким-то незнакомым господином. Увидев детей неумытых, неодетых, с задранными вверх подолами, она конфузится и делает строгие глаза.

— Опустите рубахи, бесстыдники! — говорит она.— Подите отсюда, а то я вас накажу.

Но дети не замечают ни угроз матери, ни присутствия чужого человека. Они кладут котят на ковер и поднимают оглушительный визг. Около них ходит роженица и умоляюще мяукает. Когда немного погодя детей тащат в детскую, одевают их, ставят на молитву и поят чаем, они полны страстного желания поскорее отделаться от этих прозаических повинностей и опять бежать в кухню.

Обычные занятия и игры уходят на самый задний план.

Котята своим появлением на свет затемняют все и выступают как живая новость и злоба дня. Если бы Ване или Нине за каждого котенка предложили по пуду конфет или по тысяче гривенников, то они отвергли бы такую мену без малейшего колебания. До самого обеда, несмотря на горячие протесты няньки и кухарки, они сидят в кухне около ящика и возятся с котятами. Лица их серьезны, сосредоточенны и выражают заботу. Их тревожит не только настоящее, но и будущее котят. Они порешили, что один котенок останется дома при старой кошке, чтобы утешать свою мать, другой поедет на дачу, третий будет жить в погребе, где очень много крыс.

— Но отчего они не глядят? — недоумевает Нина.— У них глаза слепые, как у нищих.

И Ваню беспокоит этот вопрос. Он берется открыть одному котенку глаза, долго пыхтит и сопит, но операция его остается безуспешной. Немало также беспокоит и то обстоятельство, что котята упорно отказываются от предлагаемых им мяса и молока. Все, что кладется перед их мордочками, съедается серой мамашей.

— Давай построим котятам домики,— предлагает Ваня.— Они будут жить в разных домах, а кошка будет к ним в гости ходить...

В разных углах кухни ставятся картонки из-под шляп. В них поселяются котята. Но такой семейный раздел оказывается преждевременным: кошка, сохраняя на рожице умоляющее и сентиментальное выражение, обходит все картонки и сносит своих детей на прежнее место.

— Кошка ихняя мать,— замечает Ваня,— а кто отец?

— Да, кто отец? — повторяет Нина.

— Без отца им нельзя.

Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят, и в конце концов выбор их падает на большую темно-красную лошадь с оторванным хвостом, которая валяется в кладовой под лестницей и вместе с другим игрушечным хламом доживает свой век. Ее тащат из кладовой и ставят около ящика.

— Смотри же! — грозят ей.— Стой тут и гляди, чтобы они вели себя прилично.

Все это говорится и проделывается серьезнейшим образом и с выражением заботы на лице. Кроме ящика с котятами, Ваня и Нина не хотят знать никакого другого мира. Радость их не имеет пределов. Но приходится переживать и тяжелые, мучительные минуты.

Перед самым обедом Ваня сидит в кабинете отца и мечтательно глядит на стол. Около лампы на гербовой бумаге ворочается котенок. Ваня следит за его движениями и тычет ему в мордочку то карандашом, то спичкой... Вдруг, точно из земли выросши, около стола появляется отец.

— Это что такое? — слышит Ваня сердитый голос.

— Это... это котеночек, папа...

— Вот я тебе покажу котеночка! Погляди, что ты наделал, негодный мальчишка! Ты у меня всю бумагу испачкал!

К великому удивлению Вани, папа не разделяет его симпатии к котятам, и, вместо того чтоб прийти в восхищение и обрадоваться, он дергает Ваню за ухо и кричит:

— Степан, убери эту гадость!

За обедом тоже скандал... Во время второго блюда обедающие вдруг слышат писк. Начинают доискиваться

причины и находят у Нины под фартучком котенка.

— Нинка, вон из-за стола! — сердится отец.— Сию же минуту выбросить котят в помойку! Чтоб этой гадости не было в доме!..

Ваня и Нина в ужасе. Смерть в помойке, помимо своей жестокости, грозит еще отнять у кошки и деревянной лошади их детей, опустошить ящик, разрушить планы будущего, того прекрасного будущего, когда один кот будет утешать свою старуху мать, другой — жить на даче, третий — ловить крыс в погребе... Дети начинают плакать и умолять пощадить котят. Отец соглашается, но с условием, чтобы дети не смели ходить в кухню и трогать котят.

После обеда Ваня и Нина слоняются по всем комнатам и томятся. Запрещение ходить в кухню повергло их в уныние. Они отказываются от сладостей, капризничают и грубят матери. Когда вечером приходит дядя Петруша, они отводят его в сторону и жалуются ему на отца, который хотел бросить котят в помойку.

— Дядя Петруша,— просят они дядю,— скажи маме, чтобы котят в детскую поставили. Ска-а-жи!

— Ну, ну... хорошо! — отмахивается от них дядя.— Ладно.

Дядя Петруша приходит обыкновенно не один. С ним является и Неро, большой черный пес датской породы, с отвислыми ушами и с хвостом, твердым, как палка. Этот пес молчалив, мрачен и полон чувства собственного достоинства. На детей он не обращает ни малейшего внимания и, шагая мимо них, стучит по ним своим хвостом, как по стульям. Дети ненавидят его всей душой, но на этот раз практические соображения берут у них верх над чувством.

— Знаешь что, Нина? — говорит Ваня, делая большие глаза.— Вместо лошади пусть Неро будет отцом! Лошадь дохлая, а ведь он живой.

Весь вечер они ждут того времени, когда папа усядется играть в винт и можно будет незаметно провести Неро в кухню... Вот наконец папа садится за карты, мама хлопочет за самоваром и не видит детей... Наступает счастливый момент.

К рассказу «На мельнице».

Художники Кукрыниксы. 1954.

— Пойдем! — шепчет Ваня сестре.

Но в это время входит Степан и со смехом объявляет:

— Барыня, Нера котят съела!

Нина и Ваня бледнеют и с ужасом глядят на Степана.

— Ей-богу-с...— смеется лакей.— Подошла к ящику и сожрала.

Детям кажется, что все люди, сколько их есть в доме, всполошатся и набросятся на злодея Неро. Но люди сидят покойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной собаки. Папа и мама смеются... Неро ходит у стола, помахивает хвостом и самодовольно облизывается... Обеспокоена одна только кошка. Вытянув свой хвост, она ходит по комнатам, подозрительно поглядывает на людей и жалобно мяукает.

— Дети, уже десятый час! Пора спать! — кричит мама.

Ваня и Нина ложатся спать, плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро.

ДРАМАТУРГ

В кабинет доктора входит тусклая личность с матовым взглядом и катаральной физиономией. Судя по размерам носа и мрачно меланхолическому выражению лица, личность не чужда спиртных напитков, хронического насморка и философии.

Она садится в кресло и жалуется на одышку, отрыжку, изжогу, меланхолию и противный вкус во рту.

— Чем вы занимаетесь? — спрашивает доктор.

— Я— драматург! — заявляет личность не без гордости.

Доктор мгновенно проникается уважением к пациенту и почтительно улыбается.

— Ах, это такая редкая специальность...— бормочет он.— Тут такая масса чисто мозговой, нервной работы!

— По-ла-гаю...

— Писатели так редки... их жизнь не может походить на жизнь обыкновенных людей... а потому я просил бы вас описать мне ваш образ жизни, ваши занятия, привычки, обстановку... вообще какой ценой достается вам ваша деятельность...

— Извольте-с...— соглашается драматург.— Встаю я, сударь мой, часов этак в двенадцать, а иногда и раньше... Вставши, сейчас же выкуриваю папиросу и выпиваю две рюмки водки, а иногда и три... Иногда, впрочем, и четыре, судя по тому, сколько выпил накануне...

Так-с... Если же я не выпиваю, то у меня начинает рябить в глазах и стучать в голове.

— Вероятно, вы вообще много пьете?

— Не-ет, где же много? Если пью натощак, то это просто зависит, как я полагаю, от нервов... Потом, одевшись, я иду в Ливорно или к Саврасенкову, где завтракаю... Аппетит вообще у меня плохой... Съедаю я за завтраком самую малость: котлетку или полпорции осетрины с хреном. Нарочно выпьешь рюмки три-четыре, а все аппетиту нет... После завтрака пиво или вино, сообразно с финансами...

— Ну, а потом?

— Потом иду куда-нибудь в портерную, из портерной опять в Ливорно на бильярде играть... Проходишь этак часов до шести и едешь обедать... Обедаю я мерзко... Верите ли, иной раз выпьешь рюмок шесть-семь, а аппетиту— ни-ни! Завидно бывает на людей глядеть: все суп едят, а я видеть этого супа не могу и вместо того, чтоб есть, пиво пью... После обеда иду в театр...

— Гм... Театр, вероятно, вас волнует?

— Ужжасно! Волнуюсь и раздражаюсь, а тут еще приятели то и дело: выпьем да выпьем! С одним водки выпьем, с другим красного, с третьим пива, ан глядь — к третьему действию ты уж и на ногах еле стоишь... Черт их знает, эти нервы... После театра в Салон едешь или в маскарад к Прродону... Из Салона или маскарада, сами понимаете, не скоро вырвешься... Коли утром дома проснулся, то и за это говори спасибо... Иной раз по целым неделям дома не ночуешь...

— Гм... жизнь наблюдаете?

— Нну, да... Раз даже до того расстроились нервы, что целый месяц дома не жил и даже адрес свой позабыл... Пришлось в адресном столе справляться... Вот, как видите, почти каждый день так!

— Ну-с, а пьесы когда вы пишете?

— Пьесы? Как вам сказать? — пожимает плечами драматург.— Все зависит от обстоятельств...

— Потрудитесь описать мне самый процесс вашей работы...

— Прежде всего, сударь мой, мне в руки случайно или через приятелей — самому-то мне некогда сле-

дить! — попадается какая-нибудь французская или немецкая штучка. Если она годится, то я несу ее к сестре или нанимаю целковых за пять студента... Те переводят, а я, понимаете ли, подтасовываю под русские нравы: вместо иностранных фамилий ставлю русские и прочее... Вот и всё... Но трудно! Ох, как трудно!

Тусклая личность закатывает глаза и вздыхает... Доктор начинает его выстукивать, выслушивать и ощупывать...

ОРАТОР

В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку молодому, но уже достаточно популярному. Запойкин, как известно многим читателям, обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Он может говорить когда угодно: спросонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы, и обильно; жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Говорит он всегда красноречиво и длинно, так что иногда, в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходится прибегать к содействию полиции.

— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский, застав его дома.— Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину... На тебя вся надежда. Умри кто-нибудь из маленьких, мы не стали бы тебя беспокоить, а то ведь секретарь... канцелярский столп, некоторым образом. Неловко такую шишку без речи хоронить.

— А, секретарь! — зевнул Запойкин. — Это пьяница-то?

— Да, пьяница. Блины будут, закуска... на извозчика получишь. Поедем, душа! Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо получишь!

Запойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу.

— Знаю я вашего секретаря,— сказал он, садясь на извозчика.— Пройдоха и бестия, царство ему небесное, каких мало.

— Ну, не годится, Гриша, ругать покойников.

— Оно конечно, aut mortuis nihil bene[1], но все-таки он жулик.

Приятели догнали похоронную процессию и присоединились к ней. Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой.

На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и свояченица, покорные обычаю, много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня к нему!», но в могилу за мужем не пошла, вероятно вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал:

— Верить ли глазам и слуху? Не страшный ли сон сей гроб, эти заплаканные лица, стоны и вопли! Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас! Тот, которого мы еще так недавно видели столь бодрым, столь юношески свежим и чистым, который так недавно на наших глазах, наподобие неутомимой пчелы, носил свой мед в общий улей государственного благоустройства, тот, который... этот самый обратился теперь в прах, в вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку в то время, когда он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон расцвета сил и лучезарных надежд. Незаменимая потеря! Кто

---

[1] Искаженное латинское выражение de mortuis aut bene aut nihil — о мертвых либо ничего, либо хорошо.

заменит нам его? Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипыч был единственный. Он до глубины души был предан своему честному долгу, не щадил сил, не спал ночей, был бескорыстен, неподкупен... Как презирал он тех, кто старался в ущерб общим интересам подкупить его, кто соблазнительными благами жизни пытался вовлечь его в измену своему долгу! Да, на наших глазах Прокофий Осипыч раздавал свое небольшое жалованье своим беднейшим товарищам, и вы сейчас сами слышали вопли вдов и сирот, живших его подаяниями. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радостей в жизни и даже отказал себе в счастии семейного бытия; вам известно, что до конца дней своих он был холост! А кто нам заменит его как товарища? Как сейчас вижу бритое умиленное лицо, обращенное к нам с доброй улыбкой, как сейчас слышу его мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипыч! Покойся, честный, благородный труженик!

Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем, выжала несколько слез, но многое показалось в ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называл покойника Прокофием Осиповичем, в то время когда того звали Кириллом Ивановичем. Во-вторых, всем известно было, что покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, а стало быть, не мог называться холостым; в-третьих, у него была густая рыжая борода, отродясь он не брился, а потому непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами.

— Прокофий Осипыч! — продолжал оратор вдохновенно, глядя в могилу.— Твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!

Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Вдруг он умолк, разинул удивленно рот и обернулся к Поплавскому.

— Послушай, он жив! — сказал он, глядя с ужасом.

— Кто жив?

— Да Прокофий Осипыч! Вон он стоит около памятника!

— Он и не умирал! Умер Кирилл Иваныч!

— Да ведь ты же сам сказал, что у вас секретарь помер!

— Кирилл Иваныч и был секретарь. Ты, чудак, перепутал! Прокофий Осипыч, это верно, был у нас прежде секретарем, но его два года назад во второе отделение перевели столоначальником.

— А, черт вас разберет!

— Что же остановился? Продолжай, неловко!

Запойкин обернулся к могиле и с прежним красноречием продолжал прерванную речь. У памятника действительно стоял Прокофий Осипыч, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился.

— И как это тебя угораздило! — смеялись чиновники, когда вместе с Запойкиным возвращались с похорон.— Живого человека похоронил.

— Нехорошо-с, молодой человек! — ворчал Прокофий Осипыч.— Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она — одна насмешка-с! Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет! Ведь про живого человека это можно говорить только в насмешку-с. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть, но зачем всенародно мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с!

БЕДА

С Николаем Максимычем Путохиным приключилась беда, от которой широким и беспечным российским натурам так же не следует зарекаться, как от тюрьмы и сумы: он невзначай напился пьян и в пьяном образе, забыв про семью и службу, ровно пять дней и ночей шатался по злачным местам. От этих беспутно проведенных пяти суток в его памяти уцелел один только похожий на кашу сумбур из пьяных рож, цветных юбок, бутылок, дрыгающих ног. Он напрягал свою память, и для него ясно было только, как вечером, когда зажигали фонари, он забежал на минутку к своему приятелю поговорить о деле, как приятель предложил выпить пива... Путохин выпил стакан, другой, третий... После шести бутылок приятели отправились к какому-то Павлу Семеновичу; этот последний угостил копченым сигом и мадерой. Когда мадера была выпита, послали за коньяком. Дальше, больше — и дальнейшие события заволакиваются туманом, сквозь который Путохин видел что-то похожее на сон: лиловое лицо какой-то шведки, выкрикивавшей фразу: «Мужчина, угостите портером!», длинную танцевальную залу с невысокими потолками, полную дыма и лакейских рож, себя самого, закладывающего большие пальцы рук в жилетные карманы и откалывающего ногами черт знает что... Далее он видел, как во сне, небольшую комнатку, стены которой увешаны лубочными картинами и женскими платьями... Припоминал он запах разлитого портера, цветочного одеколона и глицеринового мыла... Не-

сколько яснее выделялась из сумбурной каши картина пробуждения, тяжелого, скверного, когда даже солнечный свет кажется отвратительным...

Он помнил, как, не найдя у себя в кармане часов и медальонов, в чужом галстуке, с пьяной тяжелой головой он поторопился на службу. Красный от стыда, дрожа от хмельной лихорадки, стоял он перед начальством, а начальство, не глядя на него, говорило равнодушным голосом:

— Не трудитесь оправдываться... Я даже не понимаю, зачем вы побеспокоились пожаловать!.. Что вы у нас больше не служите, это уже решено-с... Нам не нужны такие служащие, и вы, как толковый человек, поймете это... да-с!

Этот равнодушный тон, острые прищуренные глаза начальства и деликатное молчание товарищей резко выделялись из сумбура и уже не походили на сон...

— Мерзко! Подло! — бормотал Путохин, возвращаясь домой после объяснения с начальством.— И осрамился и место потерял... Подло, гадко!

Отвратительное чувство перегара наполняло его всего, начиная со рта и кончая ногами, которые еле ступали... Ощущение «ночевавшего во рту эскадрона» томило все его тело и даже душу. Ему было и стыдно, и страшно, и тошно.

— Хоть застрелиться впору! — бормотал он.— И стыдно и злоба душит. Не могу идти!

— Да, плохая история! — соглашался сопровождавший его сослуживец Федор Елисеич.— Все бы ничего, но вот что скверно: место потерял! Это хуже всего, брат... Именно стреляться впору...

— Боже мой, а голова... голова!— бормотал Путохин, морщась от боли.— Трещит, точно лопаться хочет. Нет, как хочешь, а я зайду в трактир опохмелиться... Зайдем!

Приятели зашли в трактир...

— И как это я напился, не понимаю! — ужасался Путохин после второй рюмки.— Года два в рот ни капли не брал, зарок жене дал перед образом... смеялся над пьяницами, и вдруг — все к черту! Ни места, ни покоя! Ужасно!

Он покрутил головой и продолжал:

— Иду домой, точно на смертную казнь... Не жалко мне ни часов, ни денег, ни места... Я готов мириться со всеми этими потерями, с этой головной болью, с нотацией начальства... но одно меня тревожит: как я с женой встречусь? Что я скажу ей? Пять ночей дома не ночевал, все пропил и отставку получил... Что я могу сказать ей?

— Ничего, побранится и перестанет!..

— Я должен показаться ей теперь отвратительным, жалким... Она не выносит пьяных людей, и, по ее мнению, всякий кутящий подл... И она права... Разве не подло пропивать кусок хлеба, прокучивать место, как я это сделал?

Путохин выпил рюмку, закусил соленой белужиной и задумался.

— Завтра, значит, придется шагать в ссудную кассу...— сказал он после некоторого молчания.— Места скоро не найдешь, стало быть, голодуха препожалует к нам во всем своем величии... А женщины, братец ты мой, все могут простить тебе — и пьяную рожу, и измену, и побои, и старость, но не простят они тебе бедности. В их глазах бедность хуже всякого порока. Раз моя Маша привыкла ежедневно обедать, то хоть укради, а подавай ей обед. «Без обеда, скажет, нельзя; не так мне есть хочется, как от прислуги совестно». Да, брат... Я этих баб прекрасно изучил... Пятидневное беспутство простится мне, но голодуха не прощается.

— Да, головомойка будет важная...— вздохнул Федор Елисеич.

— Она рассуждать не будет... Ей нет дела до того, что я сознаю свою вину, что я глубоко несчастлив... Какое ей дело? Женщинам нет до этого дела, особливо если они заинтересованы... Человек страдает, задыхается от стыда, рад пулю пустить себе в лоб, но он виноват, он согрешил, и его бичевать нужно... И хоть бы она хорошо выбранилась или побила, но нет, она встретит тебя равнодушно, молча, неделю целую будет казнить тебя презрительным молчанием, язвить, донимать жалкими словами... Можешь себе представить эту инквизицию.

— А ты прощения попроси! — посоветовал сослуживец.

— Напрасный труд... На то она и добродетельна, чтоб не прощать грешных.

Идя из трактира домой, Николай Максимыч придумывал фразы, какими он ответит жене. Он воображал себе бледное, негодующее лицо, заплаканные глаза, поток язвительных фраз, и его душу наполняло малодушное чувство страха, знакомое школьникам.

«Э, плевать! — решил он, дернув у своей двери за звонок.— Что будет, то будет! Коли невыносимо станет, уйду. Выскажу ей все и уйду куда глаза глядят».

Когда он вошел к себе, жена Маша стояла в передней и вопросительно глядела на него.

«Пусть она начинает»,— подумал он, взглянув на ее бледное лицо и нерешительно снимая калоши.

Но она не начинала... Он вошел в гостиную, потом в столовую, а она все молчала и глядела вопросительно.

«Пущу себе пулю в лоб! — решил он, сгорая со стыда.— Не могу дольше терпеть! Сил нет!»

Минут пять ходил он из угла в угол, не решаясь заговорить, потом быстро подошел к столу и написал карандашом на газетном листе: «Кутил и получил отставку». Жена прочла, взяла карандаш и написала: «Не нужно падать духом». Он прочел и быстро вышел... к себе в кабинет.

Немного погодя жена сидела возле него и утешала.

— Перемелется, мука будет,— говорила она.— Будь мужчиной и не кисни... Бог даст, перетерпим эту беду и найдем место получше.

Он слушал, не верил своим ушам и, не зная, что отвечать, как ребенок, заливался счастливым смехом. Жена покормила его, дала опохмелиться и уложила в постель.

На другой день он, бодрый и веселый, искал уже место, а через неделю нашел его... Пережитая им беда многое изменила в нем. Когда он видит пьяных, то уже не смеется и не осуждает, как прежде. Он любит подавать милостыню пьяным нищим и часто говорит:

— Порок не в том, что мы пьянствуем, а в том, что не поднимаем пьяных.

Может быть, он и прав.

ЗАКАЗ

Помня обещание, данное редактору одного из еженедельных изданий — написать святочный рассказ «пострашнее и поэффектнее», Павел Сергеич сел за свой письменный стол и в раздумье поднял глаза к потолку. В его голове бродило несколько подходящих тем. Потерев себе лоб и подумав, он остановился на одной из них, а именно, на теме об убийстве, имевшем место лет десять тому назад в городе, где он родился и учился. Обмакнув перо, он вздохнул и начал писать.

Рядом с кабинетом, в гостиной, сидели гости: две дамы и студент. Жена Павла Сергеича, Софья Васильевна, громко перелистывала ноты и брала беспорядочно аккорды.

— Господа, кто же будет аккомпанировать? — говорила она плачущим голосом.— Надя, идите хоть вы аккомпанируйте!

— Ах, милая, я уж три месяца за рояль не садилась.

— Боже, какие ломаки! Ну, так я не стану петь! Стыдитесь, аккомпанемент самый легкий!

После долгого спора дамы уселись за рояль: одна ударила по клавишам другая запела романс «Не говори, что молодость сгубила». Павел Сергеич поморщился и положил перо. Послушав немного, он еще больше поморщился, вскочил и побежал к двери.

— Софи, ты не так поешь! — закричал он.— Ты слишком высоко взяла, а вы, Надежда Петровна, спе-

шите, точно вас по пальцам бьют. Нужно так: трам-трам... та... та...

Павел Сергеич замахал руками и затопал ногой, показывая, как нужно петь и играть. Минут через пять он, подпевая жене, вернулся к себе в кабинет и продолжал писать:

«Ушаков и Винкель были молоды, почти одних лет, и оба служили в одной и той же канцелярии. Ушаков был женоподобен, нежен, нервен и робок. Винкель же, в противоположность своему другу, пользовался репутацией человека грубого, животного, разнузданного и неутомимого в удовлетворении своих страстей. Это был такой редкий и исключительный эгоист, что я охотно верю тем людям, которые считали его психически ненормальным. Ушаков и Винкель были дружны. Что могло связать эти два противоположных характера, я решительно не понимаю. Общее у них было только одно — богатство. Ушаков был единственным сыном у богатой матери, Винкель же считался наследником своей тетки-генеральши, любившей его, как родного сына. В человеческих отношениях деньги служат прекрасным связующим началом. Возможность сорить деньгами направо и налево, покупать самых красивых женщин, щеголять, летать на тройках, возбуждать всеобщую зависть, быть может, и была тем цементом, который связал двух глупых мальчиков.

Дружба Ушакова и Винкеля продолжалась недолго. Они обратились в непримиримых врагов, когда оба одновременно влюбились в модистку Касаткину, в ничтожную, но очень пикантную женщину, славившуюся своими роскошными волосами. Она охотно отдалась за деньги обоим приятелям. Пикантная женщина была достаточно развращена и практична, чтобы суметь возбудить в обоих мальчиках ревность, а ничто так не обогащает женщин, как ревность любовников. Робкий и застенчивый Ушаков скрепя сердце терпел соперника, животный же и развратный Винкель, как и следовало ожидать, дал полную волю своему чувству».

— Павел Сергеич! — закричали в гостиной.— Подите сюда!

Павел Сергеич вскочил и побежал к дамам.

— Пой с Мишелем дуэт! — сказала жена.— Ты пой первого, а он споет второго.

— Ладно! Давайте тон!

Павел Сергеич взмахнул пером, на котором еще блестели чернила, топнул ногой и, сделав страдальческое лицо, запел со студентом «Ночи безумные».

— Браво! — захохотал он, кончив петь и хватая студента за талию. — Какие мы с вами молодцы! Еще бы что-нибудь спеть, да, черт его подери, писать нужно!

— Да вы бросьте! Охота вам!

— Ни-ни-ни... Обещал! И не искушайте! Сегодня же рассказ должен быть готов!

Павел Сергеич замахал руками, побежал к себе и продолжал писать:

«Однажды, часов в 10 веч., когда Ушаков дежурил в канцелярии, Винкель пробрался в дежурную комнату, подкрался сзади к своему сопернику и небольшим топором ударил его по голове. Как он в момент убийства был животен и исступлен, видно из того, что врачи-эксперты нашли на голове Ушакова одиннадцать ран. Преступник не рассуждал ни во время, ни после убийства. Покончив с соперником, он, обрызганный кровью, не выпуская из рук топора, полез для чего-то на чердак, оттуда через слуховое окно пробрался на крышу, и канцелярские сторожа долго слышали, как кто-то шагал и карабкался по железной крыше. С казенного здания Винкель спустился по водосточной трубе на крышу соседнего дома, с этого дома перелез он на другой и таким образом блуждал по крышам до тех пор, пока его не задержали.

Убитого Ушакова хоронил весь город с музыкой и венками. Общественное мнение было возбуждено против убийцы до такой степени, что народ толпами ходил к тюрьме, чтобы поглядеть на стены, за которыми томился Винкель, и уже через два-три дня после похорон на могиле убитого стоял крест с мстительною надписью: «Погиб от руки убийцы». Но ни на кого так не подействовала смерть Ушакова, как на его мать. Несчастная старуха, узнав о смерти своего единственного сына, едва не сошла с ума...»

Павел Сергеич написал еще одну страничку, выкурил подряд две папиросы, повалялся на кушетке, потом опять сел за стол и продолжал:

«Старуха Ушакова была введена в залу суда под руки и давала показания, сидя в кресле. Показания ее состояли в том, что она затряслась всем телом, обернулась к подсудимому и, грозя на него кулаками, закричала:

— Это ты убил моего сына! Ты!

— Я и не отказываюсь...— угрюмо проворчал Винкель.

— Ты и не смеешь отказываться! — продолжала старуха, не слушая председателя.— Ты убил!

Тетка Винкеля, старая генеральша, отупевшая от горя, перед тем как давать показания, минуты три бессмысленно глядела на своего племянника и потом спросила тоном, заставившим вздрогнуть весь суд:

— Николай, что ты сделал?

Больше она не могла говорить. Появление обеих старух произвело на публику гнетущее впечатление. Рассказывают, что, встретясь в коридоре суда, они устроили друг другу сцену, возмутившую до слез даже судейских курьеров. Старуха Ушакова, ожесточенная горем, набросилась на генеральшу и осыпала ее ругательствами. Она говорила *ты*, упрекала, бранилась, грозила богом и проч. Тетка Винкеля сначала слушала ее молча, с покорным смирением, и только говорила:

— Будьте милосердны! Он и я и так уж наказаны!

Потом же не выдержала и на брань стала отвечать бранью

— Не будь у вас сына,— кричала она,— мой Коля не сидел бы теперь здесь! Ваш сын погубил его! — и т. д.

Старух едва розняли... Вердиктом присяжных Винкель был приговорен в каторжные работы на десять лет».

— У Никонова прекрасный бас! — услышал Павел Сергеич голос своей жены.— Прекрасный, густой, сочный бас... Я не понимаю, милая, отчего он не идет в оперу?

Павел Сергеич сделал большие глаза и вскочил...

— Ты говоришь, у Никонова хороший бас? — спросил он, выглядывая в гостиную.— У Никонова хороший бас?

— Да, у Никонова.

— Ну, матушка, значит, ты ничего не понимаешь...— развел руками Павел Сергеич.— Твой Никонов — корова! Ревет, хрипит, точно из него кишки тянут, а голос вибрирует и дрожит, как пробка в пустой бутылке! Не выношу! Слуху у твоего Никонова столько же, сколько у этого дивана!

— Никонов певец! — возмущался он, возвращаясь через пять минут к столу и садясь писать.— Боже мой, что за вкусы! Этому Никонову в уличные певцы идти, а не в оперу.

Продолжая возмущаться, он сердито умакнул перо и стал писать:

«Генеральша Винкель поехала в Петербург хлопотать, чтобы ее племянника не вывозили к позорному столбу. Пока она ездила, Винкель ухитрился бежать из тюрьмы».

— Какая чудная погода! — вздохнул в гостиной студент.

«Его нашли,— продолжал Павел Сергеич,— на вокзале под товарным вагоном, откуда его вытащили с большим трудом. Человеку, очевидно, хотелось еще жить... Несчастный скалил зубы на конвойных и, когда его вели в тюрьму, горько плакал».

— Теперь за городом хорошо! — сказала Софья Васильевна.— Павел, да брось там писать, ей-богу!

Павел Сергеич нервно почесал затылок и продолжал:

«Ходатайство тетки не увенчалось успехом... Винкель перед отъездом из родного города должен был неминуемо пережить позорный столб, но гордая тетка настояла на своем: накануне гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищем, в том месте, где хоронили самоубийц...»

Павел Сергеич поглядел в окно на звездное небо, крякнул и пошел в гостиную.

— Да, хорошо бы теперь катнуть за город! — сказал он, опускаясь в кресло.— Погода — антик!

— Ну что ж? И поедем! — всполошилась жена.— Поедемте, господа!

— Э, да кой черт! Мне рассказ оканчивать нужно! Едва половину написал... А хорошо бы оно позвать парочку троек... ямщиков сейчас к черту, сесть на козлы и — ай, жги говори! Ах, черт меня подери, залетные! Только сначала нужно дома малость за галстук перепустить.

— И отлично! Давайте поедем!

— Ни-ни... Ни за что! Не двинусь с места, пока не кончу рассказа! И не просите!

— Так вы идите поскорей оканчивайте! Пока приедут тройки и принесут вино, вы успеете пять раз кончить...

Дамы обступили Павла Сергеича и затормошили его. Он махнул рукой и согласился. Студент побежал за тройками и вином, дамы засуетились. Прибежав к себе, Павел Сергеич схватил перо, стукнул кулаком по рукописи и продолжал:

«Каждый день старуха Ушакова ездила на могилу сына. Какая бы ни была погода, шел ли дождь, или бушевала злая вьюга, каждое утро часу в десятом ее лошади стояли у ворот кладбища, а она сама сидела у могилы, плакала и с жадностью, точно любуясь, глядела на надпись: «Погиб от руки убийцы».

Когда вернулся студент, Павел Сергеич выпил залпом вина и писал:

«Пять лет ездила она на кладбище, не пропуская ни одного дня. Кладбище стало ее вторым домом. На шестой год она заболела воспалением легкого и целый месяц не ездила к сыну».

— Да будет вам! — торопили Павла Сергеича.— Бросьте! Нате выпейте еще!

— Сейчас, сейчас... Дошел до самого интересного места... Погодите, голубчики, не мешайте...

«Приехав после болезни на кладбище,— продолжал Павел Сергеич,— старуха к ужасу своему заметила, что она забыла, где находится могила ее сына. Болезнь отняла у нее память... Она бегала по кладбищу, по пояс

вязла в снегу, умоляла сторожей... Сторожа могли указать ей место, где погребен ее сын, только приблизительно, так как, на несчастье старухи, во время ее долгого отсутствия крест был украден с могилы нищими, занимающимися продажей могильных крестов.

— Где он? — металась старуха.— Где мой сын? У меня во второй раз отняли сына!»

— Да ты кончишь когда-нибудь или нет? — крикнула Софья Васильевна.— Как это бессовестно заставлять пятерых ожидать одного! Брось!

— Сейчас, сейчас,— бормотал Павел Сергеич, выпивая стакан вина и морща лоб.— Сейчас... Эх, ты мне помешала!

Павел Сергеич сильно потер себе лоб, тупо обвел всех глазами и, нервно стуча каблуком, написал:

«Не найдя дорогой могилы, старуха, бледная, с открытой головой, еле ступая и закрывая в изнеможении глаза, направилась к воротам, чтобы ехать домой. Но, прежде чем сесть в экипаж, ей пришлось пережить еще одну передрягу. У кладбищенских ворот она встретила тетку Винкеля».

— С такими господами только так и можно поступать! — сказала одна из гостей и схватила со стола рукопись.— Едем!

Павел Сергеич начал было протестовать, но потом махнул рукой, изорвал рукопись, выругал для чего-то редактора и, посвистывая, поскакал в переднюю одевать дам.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Держа под мышкой что-то, завернутое в 223-й номер «Биржевых ведомостей», Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова.

— А, милый юноша! — встретил его доктор.— Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?

Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом:

— Кланялась вам, Иван Николаевич, мамаша и велела благодарить вас... Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь... вылечили от опасной болезни, и... мы оба не знаем, как благодарить вас.

— Полно, юноша! — перебил доктор, раскисая от удовольствия.— Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте.

— Я единственный сын у своей матери... Мы люди бедные и, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и... нам очень совестно, доктор, хотя, впрочем, мамаша и я... единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности... вот эту вещь, которая... Вещь очень дорогая, из старинной бронзы... редкое произведение искусства.

— Напрасно! — поморщился доктор.— Ну, к чему это?

— Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь,— продолжал бормотать Саша, развертывая сверток.—

Вы обидите отказом и меня и мамашу... Вещь очень хорошая... из старинной бронзы... Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее, как дорогую память... Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям... Теперь мамаша и я этим же занимаемся.

Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу: на пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором, читатель, даже и думать неприлично.

Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.

— Да, вещь действительно прекрасная,— пробормотал он,— но... как бы выразиться, не того... нелитературна слишком... Это уж не декольте, а черт знает что...

— То есть почему же?

— Сам змий-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию, значит всю квартиру загадить!

— Как вы странно, доктор, смотрите на искусство! — обиделся Саша.— Ведь это художественная вещь, вы поглядите! Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейное чувство и к горлу подступают слезы! Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное... Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии!

— Все это я отлично понимаю, милый мой,— перебил доктор,— но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают.

— Конечно, если смотреть с точки зрения толпы,— сказал Саша,— то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете... Но, доктор, будьте выше толпы, тем более что своим отказом вы глубоко

огорчите и меня и мамашу. Я единственный сын у матери... вы спасли мне жизнь... Мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь, и... и я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра...

— Спасибо, голубчик, я очень благодарен... Кланяйтесь мамаше, но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают... Ну, впрочем, пусть остается! Ведь вам не втолкуешь.

— И толковать нечего,— обрадовался Саша.— Этот канделябр вы тут поставьте, вот около вазы. Эка жалость, что пары нет! Такая жалость! Ну, прощайте, доктор.

По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял.

«Вещь превосходная, спора нет,— думал он,— и бросать ее жалко... Оставить же у себя невозможно... Гм!.. Вот задача! Кому бы ее подарить или пожертвовать?»

После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела.

— И отлично,— решил доктор.— Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину! Кстати же он холост и легкомыслен...

Не откладывая дела в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.

— Здорово, приятель! — сказал он, застав адвоката дома.— Я к тебе... Пришел благодарить, братец, за твои труды... Денег не хочешь брать, так возьми хоть эту вот вещицу... вот, братец ты мой... Вещица — роскошь!

Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг.

— Вот так штука! — захохотал он.— Ах, черт подери его совсем, придумают же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?

Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на двери и сказал:

— Только ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму...

— Почему? — испугался доктор.

— А потому... У меня бывает тут мать, клиенты... да и от прислуги совестно.

— Ни-ни-ни... Не смеешь отказываться! — замахал руками доктор.— Это свинство с твоей стороны! Вещь художественная... сколько движения... экспрессии... И говорить не хочу! Обидишь!

— Хоть бы замазано было или фиговые листочки нацепить...

Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой...

По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом: что делать с подарком?

«Вещь прекрасная,— рассуждал он,— и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее — это подарить кому-нибудь... Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналья любит подобные штуки, да и кстати же у него сегодня бенефис...»

Сказано — сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок; все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала: «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика:

— Нет, нет, матушка! Я не одет!

После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил:

— Ну, куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу! У меня артистки бывают! Это не фотография, в стол не спрячешь!

— А вы, сударь, продайте,—посоветовал парикмахер, разоблачая комика.— Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу... Поезжайте и спросите Смирнову... Ее всякий знает.

Комик послушался... Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец ко лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь,

и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем... В руках он держал что-то, завернутое в газету.

— Доктор! — начал он задыхаясь.— Представьте мою радость! На ваше счастье, нам удалось приобрести пару для вашего канделябра!.. Мамаша так счастлива... Я единственный сын у матери... вы спасли мне жизнь...

И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего: у него отнялся язык.

ЮБИЛЕЙ

В гостинице «Карс» происходило скромное торжество: актерская братия давала обед трагику Тигрову в честь его двадцатипятилетнего служения на артистическом поприще. За длинным столом заседал весь персонал за исключением одного только антрепренера, который по скупости в обеденной подписке не участвовал, но обещался приехать к концу обеда. «Уважаемый товарищ» на правах виновника торжества сидел на самом главном месте, в кресле с высокой прямой спинкой. Он был красен, много потел, крякал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств, или оттого, что явился к обеду, будучи уже на «седьмом взводе», понять было трудно. По правую руку его сидела grand-dame[1] Ликанида Ивановна Свирепеева, «обже»[2] антрепренера, в черепаховом pince-nez и с щедро напудренным носом, по левую — ingénue Софья Денисовна Унылова. От дам по обе стороны стола тянулись два ряда мужчин с бритыми физиономиями.

Перед супом, когда актеры выпили водки и закусили, поднялся резонер Бабельмандебский и произнес:

— Господа! Предлагаю выпить тост за здоровье юбиляра Василиска Африканыча Тигрова! Уррр... а... а!

---

[1] важная дама (*франц.*).

[2] предмет увлечения (от *франц.* objèt).

Актеры рявкнули «ура», поднялись с мест и повалили к юбиляру. После долгого чоканья и поцелуев, когда актеры уселись, поднялся jeune premier Виолан-ский, человек бесталанный, но приобревший репутацию актера образованного только потому, что говорит в нос, держит у себя в номере словарь «30 000 иностранных слов» и мастер говорить длинные речи.

— Уважаемый товарищ! — начал он, закатывая глаза.— Сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства. Да! Ты удивленно, с некоторым страхом оглядываешься на пройденный тобою путь, и я вижу, как чело твое покрывается морщинами. Да, то был страшный путь! Вдали мерцала твоя звезда... Окутанный беспросветною тьмою, ты жадно стремился к ней, а на пути твоем лежали пропасти и овраги, полные шипящих змей, амфибий и гадов.

Далее оратор сказал, что ни у кого нет столько врагов, как у актеров. Выбрасывая в воздух мысль за мыслью, он высказал, что даже посредственный актер, скромно подвизающийся где-нибудь в глуши, приносит человечеству гораздо больше пользы, чем Струве, строящий мосты, или Яблочков, выдумывающий электрическое освещение,— что можно еще поспорить о том, что полезнее: театр или железные дороги? Все более воспламеняясь, он заявил, что, не будь на земле искусств, земля обратилась бы в пустыню, что мир погибает от материализма и что на обязанности людей искусства лежит «жечь сердца» служителей золотого тельца. Черт знает, чего он только не говорил, и кончил тем, что погрозил окну кулаком, отшвырнул от себя салфетку и сказал, что оценить Тигрова может одно только благодарное потомство.

Когда он умолк, актеры опять рявкнули «ура» и, шумно поднявшись с мест, повалили к юбиляру. Виолан-ский три раза поцеловался с Тигровым и, от лица всех товарищей, поднес ему небольшой плюшевый альбом с вышитыми на нем золотой канителью литерами «В. Т.». Растроганный трагик заплакал, обнял всех обедавших, потом в сладостном изнеможении опустился в свое кресло и дрожащими пальцами стал перелисты-

вать альбом. Во всем альбоме было около двадцати фотографий, но не было ни одной мало-мальски приличной, человеческой физиономии. Вместо лиц были какие-то рожи с кривыми ртами, приплюснутыми носами и слишком прищуренными или неестественно выпученными глазами. Ни один галстук не сидел на месте, все рожи имели зверское выражение, а голова суфлера Пудоедова имела два контура, из которых один был плохо замазан ретушью. (Дело в том, что актеры ходили сниматься в Николин день, побывав на трех именинах, и снимал их «фотограф Дергачов из Варшавы», маленький подслеповатый человечек, занимающийся сразу тремя ремеслами: фотографией, зубодерганьем и ссудой денег под залог.)

Перед жарким говорил простак, беспаспортный актер, называющий себя Григорием Борщовым. Он вытянул шею, приложил руку к сердцу и сказал:

— Послушай, Вася... Честное мое слово... накажи меня господь, у тебя есть талант! Всякий тебе скажет, что есть... И ты далеко бы, брат, пошел, если б не эта штука (оратор щелкнул себя по шее) и если б не твой собачий характер... Черт тебя знает, везде ты лезешь в драку и в ссору, суешься со своей честностью, куда и не нужно... Ты меня, брат, извини, но я по совести... ей-богу! Такой у тебя сволочной характер, что никакой черт с тобой не уживется... Это верно! Ты, брат, извини, я ведь тебя люблю... и всякий тебя любит...

Борщов потянулся и поцелэвал юбиляра в щеку.

— Извини, душа моя,— продолжал он.— У тебя есть талант! Только ты не тово... не налегай на портвейн. После водки этот сиволдай — смерть!

После Борщова заговорил сам юбиляр. С вдохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках носовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом:

— Милые и дорогие друзья мои! Позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами все, что накопилось тут, в груди, под сводами моего душевного здания... Пред вами старец, убеленный сединами, стоящий одною ногою в могиле... Я... я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиат-

рия и больше ничего! Бодро же, старик! Прочь слезы! Не старейте, нервы! Держите перст возвышенно и прямо! Пред вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены тридцати шести театров, тот самый, который воплощал образы Велизария, Отелло, Франца Моора! Тридцати шести городам известно имя мое... Вот!

Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных счетов и потряс ею в воздухе.

— Вот доказательство! — крикнул он, гордо поднимая голову.— Счет московской гостиницы «Гранд-отель», счет харьковской гостиницы «Бель-вю», пензенской Варенцова, таганрогской «Европейской», саратовской «Столичной», оренбургской «Европейской», тамбовской «Гранд-отель», архангельской «Золотой якорь» и так далее! Вот! Тридцать шесть городов! И что же?! Не проходило ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвой гнусной интриги.

Такой переход в речи Тигрова не может показаться странным: существует закон природы, по которому русский актер, говоря даже о погоде, не может умолчать об интригах...

— Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и иезуитизма! — продолжал трагик, сердито вращая глазами.— Я все выскажу! Пусть волосы ваши станут дыбом, пусть кровь замерзнет в жилах и дрогнут стены, но истина пусть идет наружу! Ничего не боюсь!

Но истина не успела выйти наружу, так как отворилась дверь и в залу вошел антрепренер Фениксов-Диамантов, высокий тощий человек с лицом отставного стряпчего и с большими кусками ваты в ушах. Вошел он, как входят вообще все российские антрепренеры: семеня ножками, потирая руки и пугливо озираясь назад, словно только что крал кур или получил хорошую встрепку от жены. Как и все антрепренеры, он имел озябший и виноватый вид, говорил противным, заискивающим тенорком и каждую минуту давал впечатление человека, куда-то спешащего и что-то забывшего.

— Здравствуй, Василиск Африканыч,— быстро заговорил он, подходя к юбиляру.— Поздравляю тебя,

голубчик... Ох, замучился! Ну, дай тебе бог, понимаешь... Ведь я тебя пятнадцать лет знаю! Ведь я тебя помню, когда ты еще у Милославского служил! Ох, забегался совсем.

Диамантов пугливо огляделся и, потирая руки, сел за стол.

— Сейчас у городского головы был,— продолжал он, подозрительно оглядывая тарелки.— Приглашал меня к чаю, да я отказался... Просто замучился бегаючи! В подписке на обед я, кажется, не участвовал, а все-таки я... водки выпью.

— Продолжай, продолжай! — замахали актеры, обращаясь к юбиляру.

Тигров еще больше нахмурился и заговорил:

— Ежели, господа, кому-нибудь мои слова не понравились, тот пусть выходит, но я привык правду резать и... и никакого черта не боюсь... Никто не смеет мне запретить говорить... Да... Что хочу, то и гово... говорю... Я свободен!

— Ну, и говори!

— Я вообще желаю вам сказать, что в последние годы сценическое искусство па... пало... А почему? А потому, что оно попало в руки... (трагик сделал зверское лицо и продолжал шипящим полушепотом)... попало в руки гнусных кулаков, презренных рррабов, погрязших в копейках, палачей искусства, созданных, чтобы пресмыкаться, а не главенствовать в храме муз! Да-а!

— Постой, постой,— перебил его Диамантов, накладывая себе в тарелку гуся с капустой.— Совсем не то! Искусство действительно пало, но почему? Потому что изменились взгляды! Теперь принято требовать для сцены жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность! Пропади она, жизненность! Ее ты увидишь везде: и в трактире, и дома, и на базаре, но для театра ты давай экспрессию! Тут экспрессия нужна!

— Кой черт экспрессия! Нужно, чтоб жуликов да прохвостов поменьше было, а не экспрессия! Черт ли в ней, в экспрессии, если актеры по целым месяцам жалованья не получают!

— Вот видишь, какой ты! — вздохнул антрепренер, делая плачущее лицо.— Всегда ты норовишь сказать

какую-нибудь колкость! И к чему эти намеки, полуслова? Говорил бы прямо, в глаза... Впрочем, мне некогда, я ведь на минутку забежал... Мне еще в типографию сбегать нужно...

Диамантов вскочил, помялся около стола, тоскливо покосился на гуся и, отдав общий поклон, засеменил к выходу.

— А креслецо-то вы из театра взяли! — сказал он, подойдя к двери и указывая на кресло, на котором сидел юбиляр.— Не забудьте назад принести, а то «Гамлета» придется играть, и Клавдию не на чем будет сидеть. Доброго здоровья!

По его уходе юбиляр надулся.

— Так порядочные люди не делают,— заворчал он.— Это подло с вашей стороны... Отчего вы меня не поддержали? Я хотел этого собаку вдрызг разбить...

Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично браниться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали с водки. Со всех концов стола посыпались анекдоты, а когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания о пережитом. Эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен и, вместо того чтобы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и пр., повествует о виденном и слышанном... Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших, поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и не будничным образом жизни напоминающего былых богатырей... Достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать.

В часу десятом обедающие стали расплачиваться за обед, что, конечно, не обошлось без длинных разговоров

и вызова хозяина гостиницы. Так как рано еще было спать, из «Карса» все актеры отправились в «Грузию», где играли на бильярде и пили пиво.

— Господа, шампанского! — разошелся юбиляр,— сегодня же... желаю пить шампанское! Угощаю всех!

Но шампанского не пришлось пить, так как у трагика в карманах не нашлось ни копейки.

— Гррриша! — бормотал он, выходя из «Грузии» с Борщовым и Виоланским.— Нам бы еще в «Пррагу» съездить... Рано еще спать! Где бы пять целковых достать?

Актеры остановились и начали думать.

— Знаешь что? — надумал Виоланский.— Снесемка Дергачову альбом! На кой черт он тебе сдался? Ейбогу! Даст три целковых — и будет с нас!

Юбиляр согласился, и через четверть часа трое путников уже стучались в ворота Дергачова.

КТО ВИНОВАТ?

Мой дядя Петр Демьяныч, сухой, желчный коллежский советник, очень похожий на несвежего копченого сига, в которого воткнута палка, как-то, собираясь в гимназию, где он преподавал латинский язык, заметил, что переплет его синтаксиса изъеден мышами.

— Послушай, Прасковья,— сказал он, входя в кухню и обращаясь к кухарке.— Откуда это у нас мыши завелись? Помилуй, вчера цилиндр погрызли, сегодня синтаксис обезобразили... Этак, пожалуй, начнут одежу есть!

— А что ж мне делать! Не я их завела! — ответила Прасковья.

— Надо же что-нибудь сделать! Кошку бы ты завела, что ли...

— Кошка есть; да куда она годится?

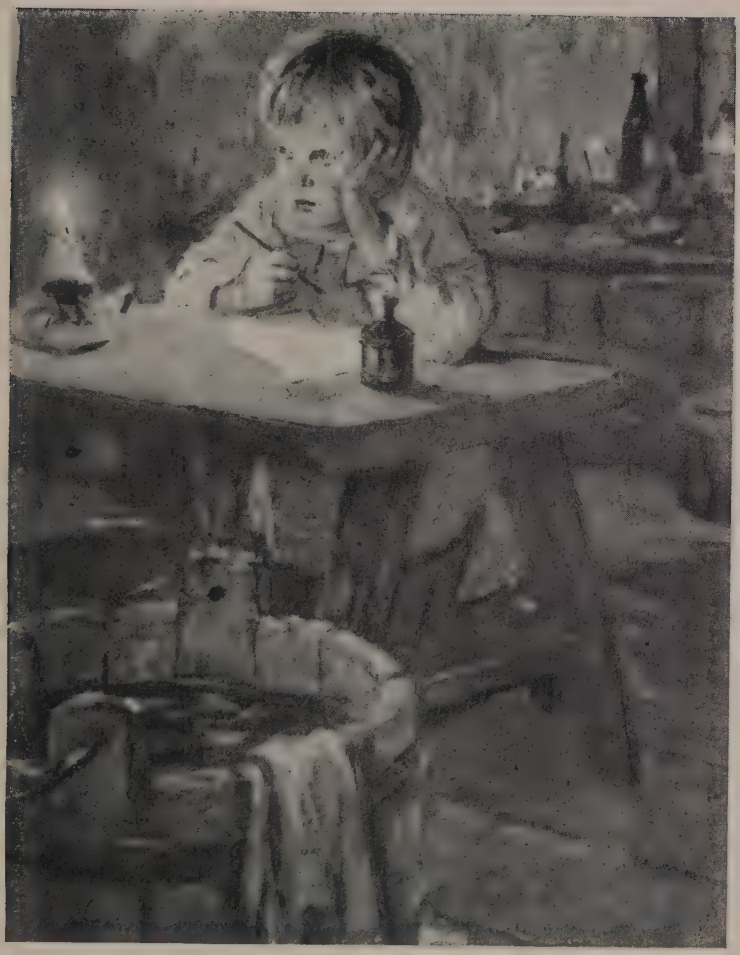
И Прасковья указала на угол, где около веника, свернувшись калачиком, дремал худой, как щепка, белый котенок.

— Отчего же он не годится? — спросил Петр Демьяныч.

— Молодой еще и глупый. Почитай, ему еще и двух месяцев нет.

— Гм... Так его приучать надо! Чем так лежать, он лучше бы приучался.

Сказавши это, Петр Демьяныч озабоченно вздохнул и вышел из кухни. Котенок приподнял голову, лениво поглядел ему вслед и опять закрыл глаза.



К рассказу «Ванька».

Художник А. Короткин. 1953.

Котенок не спал и думал. О чем? Не знакомый с действительной жизнью, не имея никакого запаса впечатлений, он мог мыслить только инстинктивно и рисовать себе жизнь по тем представлениям, которые получил в наследство вместе с плотью и кровью от своих прародителей тигров (зри Дарвина). Мысли его имели характер дремотных грез. Его кошачье воображение рисовало нечто вроде Аравийской пустыни, по которой носились тени, очень похожие на Прасковью, печку, на веник. Среди теней вдруг появлялось блюдечко с молоком; у блюдечка вырастали лапки, оно начинало двигаться и выказывать поползновение к бегству; котенок делал прыжок и, замирая от кровожадного сладострастия, вонзал в него когти... Когда блюдечко исчезало в тумане, появлялся кусок мяса, оброненный Прасковьей; мясо с трусливым писком бежало куда-то в сторону, но котенок делал прыжок и вонзал когти... Все, что ни мерещилось молодому мечтателю, имело своим исходным пунктом прыжки, когти и зубы... Чужая душа — потемки, а кошачья и подавно, но насколько только что описанные картины близки к истине, видно из следующего факта: предаваясь дремотным грезам, котенок вдруг вскочил, поглядел сверкающими глазами на Прасковью, взъерошил шерсть и, сделав прыжок, вонзил когти в кухаркин подол. Очевидно, он родился мышеловом, вполне достойным своих кровожадных предков. Судьба предназначала его быть грозою подвалов, кладовых и закромов, и если б не воспитание... Впрочем, не будем забегать вперед.

Возвращаясь из гимназии, Петр Демьяныч зашел в мелочную лавку и купил за пятиалтынный мышеловку. За обедом он нацепил на крючок кусочек котлеты и поставил западню под диван, где сваливались ученические упражнения, употреблявшиеся Прасковьей на хозяйственные надобности. Ровно в шесть часов вечера, когда почтенный латинист сидел за столом и поправлял ученические тетрадки, под диваном вдруг раздалось «хлоп!», и такое громкое, что мой дядюшка вздрогнул и выронил перо. Не медля он пошел к дивану и достал мышеловку. Маленькая чистенькая мышь, ве-

личиною с наперсток, обнюхивала проволоку и дрожала от страха.

— Ага-а! — пробормотал Петр Демьяныч и так злорадно поглядел на мышь, как будто собирался поставить ей единицу.— Пойма-а-алась, по-одлая! Постой же, я покажу тебе, как есть синтаксис!

Наглядевшись на свою жертву, Петр Демьяныч поставил мышеловку на пол и крикнул:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!

— Сича-ас! — отозвалась Прасковья и через минуту вошла, держа на руках потомка тигров.

— И отлично! — забормотал Петр Демьяныч, потирая руки.— Мы его приучать будем... Ставь его против мышеловки... Вот так... Дай ему понюхать и поглядеть... Вот так...

Котенок удивленно поглядел на дядю, на кресла, с недоумением понюхал мышеловку, потом, испугавшись, вероятно, яркого лампового света и внимания, на него направленного, рванулся и в ужасе побежал к двери.

— Стой! — крикнул дядя, хватая его за хвост.— Стой, подлец этакий! Мыши, дурак, испугался! Гляди: это мышь! Гляди же! Ну? Гляди, тебе говорят!

Петр Демьяныч взял котенка за шею и потыкал его мордой в мышеловку.

— Гляди, стервец! Возьми-ка его, Прасковья, и держи... Держи против дверцы... Когда я выпущу мышь, ты его тотчас же выпускай... Слышишь? Тотчас же и выпускай! Ну?

Дядюшка придал своему лицу таинственное выражение и приподнял дверцу... Мышь нерешительно вышла, понюхала воздух и стрелой полетела под диван... Выпущенный котенок задрал вверх хвост и побежал под стол.

— Ушла! Ушла! — закричал Петр Демьяныч, делая свирепое лицо.— Где он, мерзавец? Под столом? Постой же...

Дядюшка вытащил котенка из-под стола и потряс его в воздухе...

— Каналья этакая...— забормотал он, трепля его за ухо.— Вот тебе! Вот тебе! Будешь другой раз зевать? Кканалья...

На другой день Прасковья опять услышала возглас:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!..

Котенок после вчерашнего оскорбления забился под печку и не выходил оттуда всю ночь. Когда Прасковья вытащила его и, принеся за шиворот в кабинет, поставила перед мышеловкой, он задрожал всем телом и жалобно замяукал.

— Ну, дай ему сначала освоиться! — командовал Петр Демьяныч.— Пусть глядит и нюхает. Гляди и приучайся! Стой, чтоб ты издох! — крикнул он, заметив, как котенок попятился от мышеловки.— Выпорю! Дерни-ка его за ухо! Вот так... Ну, теперь ставь против дверцы...

Дядюшка медленно приподнял дверцу... Мышь юркнула под самым носом котенка, ударилась о руку Прасковьи и побежала под шкаф, котенок же, почувствовав себя на свободе, сделал отчаянный прыжок и забился под диван.

— Другую мышь упустил! — заорал Петр Демьяныч.— Какая же это кошка?! Это гадость, дрянь! Пороть! Около мышеловки пороть!

Когда была поймана третья мышь, котенок при виде мышеловки и ее обитателя затрясся всем телом и поцарапал руки Прасковьи... После четвертой мыши дядюшка вышел из себя, швырнул ногой котенка и сказал:

— Убери эту гадость! Чтоб сегодня же его не было в доме! Брось куда-нибудь! Ни к черту не годится!

Прошел год. Тощий и хилый котенок обратился в солидного и рассудительного кота. Однажды, пробираясь задворками, он шел на любовное свидание. Будучи уже близко у цели, он вдруг услыхал шорох, а вслед за этим увидел мышь, которая от водопойного корыта бежала к конюшне... Мой герой ощетинился, согнул дугой спину, зашипел и, задрожав всем телом, малодушно пустился в бегство.

Увы! Иногда и я чувствую себя в смешном положении бегущего кота. Подобно котенку, в свое время я имел честь учиться у дядюшки латинскому языку. Теперь, когда мне приходится видеть какое-нибудь произведение классической древности, то, вместо того чтоб жадно восторгаться, я начинаю вспоминать ut consecutivum [1], неправильные глаголы, желто-серое лицо дядюшки, ablativus absolutus... [1] бледнею, волосы мои становятся дыбом, и, подобно коту, я ударяюсь в постыдное бегство.

[1] Латинские грамматические обороты.

ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он.— И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в

просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать?— говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и

ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть,— продолжал он,— богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом-богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

НА ПУТИ

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана...
Лермонтов

В комнате, которую сам содержатель трактира, казак Семен Чистоплюй, называет «проезжающей», то есть назначенной исключительно для проезжих, за большим некрашеным столом сидел высокий, широкоплечий мужчина лет сорока. Облокотившись о стол и подперев голову кулаком, он спал. Огарок сальной свечи, воткнутый в баночку из-под помады, освещал его русую бороду, толстый широкий нос, загорелые щеки, густые черные брови, нависшие над закрытыми глазами... И нос, и щеки, и брови, все черты, каждая в отдельности, были грубы и тяжелы, как мебель и печка в «проезжающей», но в общем они давали нечто гармоническое и даже красивое. Такова уж, как говорится, планида русского лица: чем крупнее и резче его черты, тем кажется оно мягче и добродушнее. Одет был мужчина в господский пиджак, поношенный, но обшитый новой, широкой тесьмой, в плюшевую жилетку и широкие черные панталоны, засунутые в большие сапоги.

На одной из скамей, непрерывно тянувшихся вдоль стены, на меху лисьей шубы спала девочка лет восьми, в коричневом платьице и в длинных черных чулках. Лицо ее было бледно, волосы белокуры, плечи узки, все тело худо и жидко, но нос выдавался такой же толстой и некрасивой шишкой, как и у мужчины. Она спала крепко и не чувствовала, как полукруглая гребенка, свалившаяся с головы, резала ей щеку.

«Проезжающая» имела праздничный вид. В воздухе пахло свежевымытыми полами, на веревке, которая тянулась диагонально через всю комнату, не висели, как всегда, тряпки и в углу, над столом, кладя красное пятно на образ Георгия Победоносца, теплилась лампадка. Соблюдая самую строгую и осторожную постепенность в переходе от божественного к светскому, от образа, по обе стороны угла, тянулся ряд лубочных картин. При тусклом свете огарка и красной лампадки картины представляли из себя одну сплошную полосу, покрытую черными кляксами; когда же изразцовая печка, желая петь в один голос с погодой, с воем вдыхала в себя воздух, а поленья, точно очнувшись, вспыхивали ярким пламенем и сердито ворчали, тогда на бревенчатых стенах начинали прыгать румяные пятна и можно было видеть, как над головой спавшего мужчины вырастали то старец Серафим, то шах Наср-Эддин, то жирный коричневый младенец, таращивший глаза и шептавший что-то на ухо девице с необыкновенно тупым и равнодушным лицом...

На дворе шумела непогода. Что-то бешеное, злобное, но глубоко несчастное с яростью зверя металось вокруг трактира и старалось ворваться вовнутрь. Хлопая дверями, стуча в окна и по крыше, царапая стены, оно то грозило, то умоляло, а то утихало ненадолго и потом с радостным, предательским воем врывалось в печную трубу, но тут поленья вспыхивали и огонь, как цепной пес, со злобой несся навстречу врагу, начиналась борьба, а после нее рыдания, визг, сердитый рев. Во всем этом слышались и злобствующая тоска, и неудовлетворенная ненависть и оскорбленное бессилие того, кто когда-то привык к победам...

Очарованная этой дикой, нечеловеческой музыкой, «проезжающая», казалось, оцепенела навеки. Но вот скрипнула дверь, и в комнату вошел трактирный мальчик в новой коленкоровой рубахе. Прихрамывая на одну ногу и моргая сонными глазами, он снял пальцами со свечи, подложил в печку поленьев и вышел. Тотчас же в церкви, которая в Рогачах находится в трехстах шагах от трактира, стали бить полночь. Ветер играл со звоном, как со снеговыми хлопьями; гоняясь

за колокольными звуками, он кружил их на громадном пространстве, так что одни удары прерывались или растягивались в длинный волнистый звук, другие вовсе исчезали в общем гуле. Один удар так явственно прогудел в комнате, как будто звонили под самыми окнами. Девочка, спавшая на лисьем меху, вздрогнула и приподняла голову. Минуту она глядела бессмысленно на темное окно, на Наср-Эддина, по которому в это время скользил багряный свет от печки, потом перевела взгляд на спавшего мужчину.

— Папа! — сказала она.

Но мужчина не двигался. Девочка сердито сдвинула брови, легла и поджала ноги. За дверью в трактире кто-то громко и протяжно зевнул. Вскоре вслед за этим послышался визг дверного блока и неясные голоса. Кто-то вошел и, стряхивая с себя снег, глухо затопал валеными сапогами.

— Чиво? — лениво спросил женский голос.

— Барышня Иловайская приехала...— отвечал бас.

Опять завизжал дверной блок. Послышался шум ворвавшегося ветра. Кто-то, вероятно хромой мальчик, подбежал к двери, которая вела в «проезжающую», почтительно кашлянул и тронул щеколду.

— Сюда, матушка-барышня, пожалуйте,— сказал певучий женский голос,— тут у нас чисто, красавица...

Дверь распахнулась, и на пороге показался бородатый мужик, в кучерском кафтане и с большим чемоданом на плече, весь, с головы до ног, облепленный снегом. Вслед за ним вошла невысокая, почти вдвое ниже кучера, женская фигура без лица и без рук, окутанная, обмотанная, похожая на узел и тоже покрытая снегом. От кучера и узла на девочку пахнуло сыростью, как из погреба и огонь свечки заколебался.

— Какие глупости! — сказал сердито узел.— Отлично можно ехать! Осталось ехать только двенадцать верст, все больше лесом, и не заблудились бы...

— Заблудиться-то не заблудились бы, да кони не идут, барышня! — отвечал кучер.— И господи твоя воля, словно я нарочно!

— Бог знает, куда привез... Но тише... Тут, кажется, спят. Ступай отсюда...

Кучер поставил на пол чемодан, причем с его плеч посыпались пласты снега, издал носом всхлипывающий звук и вышел. Затем девочка видела, как из середины узла вылезли две маленьких ручки, потянулись вверх и стали сердито распутывать путаницу из шалей, платков и шарфов. Сначала на пол упала большая шаль, потом башлык, за ним белый вязаный платок. Освободив голову, приезжая сняла салоп и сразу сузилась наполовину. Теперь уж она была в длинном сером пальто с большими пуговицами и с оттопыренными карманами. Из одного кармана вытащила она бумажный сверток с чем-то, из другого вязку больших тяжелых ключей, которую положила так неосторожно, что спавший мужчина вздрогнул и открыл глаза. Некоторое время он тупо глядел по сторонам, как бы не понимая, где он, потом встряхнул головой, пошел в угол и сел... Приезжая сняла пальто, отчего опять сузилась наполовину, стащила с себя плисовые сапоги и тоже села.

Теперь уж она не походила на узел. Это была маленькая, худенькая брюнетка, лет двадцати, тонкая, как змейка, с продолговатым белым лицом и с вьющимися волосами. Нос у нее был длинный, острый, подбородок тоже длинный и острый, ресницы длинные, углы рта острые, и благодаря этой всеобщей остроте выражение лица казалось колючим. Затянутая в черное платье, с массой кружев на шее и рукавах, с острыми локтями и длинными розовыми пальчиками, она напоминала портреты средневековых английских дам. Серьезное, сосредоточенное выражение лица еще более увеличивало это сходство...

Брюнетка оглядела комнату, покосилась на мужчину и девочку и, пожав плечами, пересела к окну. Темные окна дрожали от сырого западного ветра. Крупные хлопья снега, сверкая белизной, ложились на стекла, но тотчас же исчезали, уносимые ветром. Дикая музыка становилась все сильнее...

После долгого молчания девочка вдруг завороча-лась и сказала, сердито отчеканивая каждое слово:

— Господи! Господи! Какая я несчастная! Несчастней всех!

Мужчина поднялся и виноватой походкой, которая совсем не шла к его громадному росту и большой бороде, засеменил к девочке.

— Ты не спишь, дружочек? — спросил он извиняющимся голосом.— Чего ты хочешь?

— Ничего не хочу! У меня плечо болит! Ты, папа, нехороший человек, и бог тебя накажет! Вот увидишь, что накажет!

— Голубчик мой, я знаю, что у тебя болит плечо, но что же я могу сделать, дружочек? — сказал мужчина тоном, каким подвыпившие мужья извиняются перед своими строгими супругами.— Это, Саша, у тебя от дороги болит плечо. Завтра мы приедем к месту, отдохнем, оно и пройдет...

— Завтра, завтра... Ты каждый день говоришь мне завтра. Мы еще двадцать дней будем ехать!

— Но, дружочек, честное слово отца, мы приедем завтра. Я никогда не лгу, а если нас задержала вьюга, то я не виноват.

— Я не могу больше терпеть! Не могу, не могу!

Саша резко дрыгнула ногой и огласила комнату неприятным визгливым плачем. Отец ее махнул рукой и растерянно поглядел на брюнетку. Та пожала плечами и нерешительно подошла к Саше.

— Послушай, милая,— сказала она,— зачем же плакать? Правда, нехорошо, если болит плечо, но что же делать?

— Видите ли, сударыня,— быстро заговорил мужчина, как бы оправдываясь,— мы не спали две ночи и ехали в отвратительном экипаже. Ну, конечно, естественно, что она больна и тоскует... А тут еще, знаете ли, нам пьяный извозчик попался, чемодан у нас украли... метель все время, но к чему, сударыня, плакать? Впрочем, этот сон в сидячем положении утомил меня, и я точно пьяный. Ей-богу, Саша, тут и без тебя тошно, а ты еще плачешь!

Мужчина покрутил головой, махнул рукой и сел.

— Конечно, не следует плакать,— сказала брюнетка.— Это только грудные дети плачут. Если ты больна, милая, то надо раздеться и спать... Давай-ка раздеемся!

Когда девочка была раздета и успокоена, опять наступило молчание. Брюнетка сидела у окна и с недоумением оглядывала трактирную комнату, образ, печку... По-видимому, ей казались странными и комната, и девочка с ее толстым носом, в короткой мальчишеской сорочке, и девочкин отец. Этот странный человек сидел в углу, растерянно, как пьяный, поглядывал по сторонам и мял ладонью свое лицо. Он молчал, моргал глазами, и, глядя на его виноватую фигуру, трудно было предположить, чтоб он скоро начал говорить. Но первый начал говорить он. Погладив себе колени, кашлянув, он усмехнулся и сказал:

— Комедия, ей-богу... Смотрю и глазам своим не верю: ну, за каким лешим судьба загнала нас в этот поганый трактир? Что она хотела этим выразить? Жизнь выделывает иногда такие salto mortale, что только гляди и в недоумении глазами хлопай. Вы, сударыня, далеко изволите ехать?

— Нет, недалеко,— ответила брюнетка.— Я еду из нашего имения, отсюда верст двадцать, в наш же хутор, к отцу и брату. Я сама Иловайская, ну и хутор так же называется Иловайским, двенадцать верст отсюда. Какая неприятная погода!

— Чего хуже!

Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок.

— Ты бы, хлопче, самоварчик нам поставил! — обратился к нему мужчина.

— Кто ж теперь чай пьет? — усмехнулся хромой.— Грех до обедни пить.

— Ничего, хлопче, не ты будешь гореть в аду, а мы...

За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым, что он родной брат тому самому Лихареву, который в одном из соседних уездов служит предводителем, и сам был когда-то помещиком, но «своевременно прогорел». Лихарев же узнал, что Иловайскую зовут Марьей Михайловной, что именье у ее отца громадное, но что хозяйничать приходится только ей одной, так как отец и брат смотрят на жизнь сквозь пальцы, беспечны и слишком любят борзых.

— Отец и брат на хуторе одни-одинешеньки,— говорила Иловайская, шевеля пальцами (в разговоре у нее была манера шевелить перед своим колючим лицом пальцами и, после каждой фразы, облизывать острым язычком губы),— они, мужчины, народ беспечный, и сами для себя пальцем не пошевельнут. Воображаю, кто даст им разговеться! Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постелют. Можете теперь представить их положение! Они останутся без розговенья, а я всю ночь должна здесь сидеть. Как все это странно!

Иловайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала:

— Есть праздники, которые имеют свой запах. На пасху, троицу и на рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что бога нет, а на пасху первый бежит к заутрене.

Лихарев поднял глаза на Иловайскую и засмеялся.

— Толкуют, что бога нет,— продолжала Иловайская, тоже засмеявшись,— но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди, под конец жизни веруют?

— Кто, сударыня, в молодости не умел верить, тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

Судя по кашлю, у Лихарева был бас, но, вероятно, из боязни говорить громко или из излишней застенчивости он говорил тенором. Помолчав немного, он вздохнул и сказал:

— Я так понимаю, что вера есть способность духа. Она все равно, что талант: с нею надо родиться. Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени. Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев принял от Иловайской чашку с чаем, отхлебнул сразу половину и продолжал:

— Я вам про себя скажу. В мою душу природа вложила необыкновенную способность верить. Полжизни я состоял, не к ночи будь сказано, в штате атеистов и нигилистов, но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал. Все таланты обнаруживаются обыкновенно в раннем детстве, так и моя способность давала уже себя знать, когда я еще под столом пешком ходил. Моя мать любила, чтобы дети много ели, и когда, бывало, кормила меня, то говорила: «Ешь! Главное в жизни суп!» Я верил, ел этот суп по десяти раз в день, ел как акула, до отвращения и обморока. Рассказывала нянька сказки, и я верил в домовых, в леших, во всякую чертовщину. Бывало, краду у отца сулему, посыпаю ею пряники и ношу их на чердак, чтоб, видите ли, домовые поели и передохли. А когда научился читать и понимать читанное, то пошла писать губерния! Я и в Америку бегал, и в разбойники уходил, и в монастырь просился, и мальчишек нанимал, чтоб они меня мучили за Христа. И заметьте, вера у меня была всегда деятельная, не мертвая. Ежели я в Америку убегал, то не один, а совращал с собой еще кого-нибудь, такого же дурака, как я, и рад был, когда мерз за заставой и когда меня пороли; ежели в разбойники уходил, то возвращался непременно с разбитой рожей. Беспокойнейшее детство, я вам доложу! А когда меня отдали в гимназию и осыпали там всякими истинами вроде того, что земля ходит вокруг солнца, или что белый цвет не белый, а состоит из семи цветов, закружилась моя головушка! Все у меня полетело кругом: и Навин, остановивший солнце, и мать, во имя пророка Илии отрицавшая громоотводы, и отец, равнодушный к истинам, которые я узнал. Мое прозрение вдохновило меня. Как шальной, ходил я по дому, по конюшням, проповедовал свои истины, приходил в ужас от невежества, пылал ненавистью ко всем, кто в белом цвете видел только белое... Впрочем, все это пустяки и мальчишество. Серьезные же, так сказать, мужественные увлечения начались у меня с университета. Вы, сударыня, изволили где-нибудь окончить курс?

— В Новочеркасске, в Донском институте.

— А на курсах не были? Стало быть, вы не знаете,

что такое науки. Все науки, сколько их есть на свете, имеют один и тот же паспорт, без которого они считают себя немыслимыми: стремление к истине! Каждая из них, даже какая-нибудь фармакогнозия, имеет своею целью не пользу, не удобства в жизни, а истину. Замечательно! Когда вы принимаетесь изучать какую-нибудь науку, то вас прежде всего поражает ее начало. Я вам скажу, нет ничего увлекательнее и грандиознее, ничто так не ошеломляет и не захватывает человеческого духа, как начало какой-нибудь науки. С первых же пяти-шести лекций вас уже окрыляют самые яркие надежды, вы уже кажетесь себе хозяином истины. И я отдался наукам беззаветно, страстно, как любимой женщине. Я был их рабом и, кроме них, не хотел знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я зубрил, разорялся на книги, плакал, когда на моих глазах люди эксплуатировали науку ради личных целей. Но я недолго увлекался. Штука в том, что у каждой науки есть начало, но вовсе нет конца, все равно, как у периодической дроби. Зоология открыла тридцать пять тысяч видов насекомых, химия насчитывает шестьдесят простых тел. Если со временем к этим цифрам прибавится справа по десяти нулей, зоология и химия так же будут далеки от своего конца, как и теперь, а вся современная научная работа заключается именно в приращении цифр. Сей фокус я уразумел, когда открыл тридцать пять тысяч первый вид и не почувствовал удовлетворения. Ну-с, разочарования я не успел пережить, так как скоро мною овладела новая вера. Я ударился в нигилизм с его прокламациями, черными переделами и всякими штуками. Ходил я в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках. Потом, когда, шатаясь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его бога, в язык, творчество... И так далее и так далее. В свое время был я славянофилом, надоедал Аксакову письмами, и украйнофилом, и археологом, и собирателем образцов народного творчества... увлекался я идеями, людьми, событиями, местами... увлекался без перерыва! Пять лет тому назад я служил отрицанию

собственности; последней моей верой было непротивление злу.

Саша прерывисто вздохнула и задвигалась. Лихарев поднялся и подошел к ней.

— Дружочек мой, не хочешь ли чаю? — спросил он нежно.

— Пей сам! — грубо ответила девочка.

Лихарев сконфузился и виноватой походкой вернулся к столу.

— Значит, вам весело жилось,— сказала Иловайская.— Есть о чем вспомнить.

— Ну да, все это весело, когда сидишь за чаем с доброй собеседницей и болтаешь, но вы спросите, во что мне обошлась эта веселость? Что стоило мне разнообразие моей жизни? Ведь я, сударыня, веровал не как немецкий доктор философии, не цирлих-манирлих, не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Судите вы сами. Был я богат, как братья, но теперь я нищий. В чаду увлечений я ухлопал и свое состояние и женино — массу чужих денег. Мне теперь сорок два года, старость на носу, а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя беспрерывно томилась, страдала даже надеждами... Я изнывал от тяжкого беспорядочного труда, терпел лишения, раз пять сидел в тюрьме, таскался по Архангельским и Тобольским губерниям... вспоминать больно! Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем... Моя мать вот уже пятнадцать лет носит по мне траур, а мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву.

Лихарев поднялся и опять сел.

— Если б я был только несчастлив, то я возблагодарил бы бога,— продолжал он, не глядя на Иловайскую.— Мое личное несчастье уходит на задний план, когда я вспоминаю, как часто в своих увлечениях я был

нелеп, далек от правды, несправедлив, жесток, опасен! Как часто я всей душой ненавидел и презирал тех, кого следовало бы любить, и — наоборот. Изменял я тысячу раз. Сегодня я верую, падаю ниц, а завтра уж я трусом бегу от сегодняшних моих богов и друзей и молча глотаю подлеца, которого пускают мне вслед. Бог один видел, как часто от стыда за свои увлечения я плакал и грыз подушку. Ни разу в жизни я умышленно не солгал и не сделал зла, но не чиста моя совесть! Сударыня, я не могу даже похвастать, что на моей совести нет ничьей жизни, так как на моих же глазах умерла моя жена, которую я изнурил своею бесшабашностью. Да, моя жена! Послушайте, у нас в общежитии преобладают теперь два отношения к женщинам. Одни измеряют женские черепа, чтоб доказать, что женщина ниже мужчины, ищут ее недостатков, чтоб глумиться над ней, оригинальничать в ее же глазах и оправдать свою животность. Другие же из всех сил стараются поднять женщину до себя, то есть заставить ее зазубрить тридцать пять тысяч видов, говорить и писать те же глупости, какие они сами говорят и пишут...

Лицо Лихарева потемнело.

— А я вам скажу, что женщина всегда была и будет рабой мужчины,— заговорил он басом, стукнув кулаком по столу.— Она нежный, мягкий воск, из которого мужчина всегда лепил все, что ему угодно. Господи боже мой, из-за грошового мужского увлечения она стригла себе волосы, бросала семью, умирала на чужбине... Между идеями, для которых она жертвовала собой, нет ни одной женской... Беззаветная, преданная раба! Черепов я не измерял, а говорю это по тяжкому, горькому опыту. Самые гордые самостоятельные женщины, если мне удавалось сообщать им свое вдохновение, шли за мной, не рассуждая, не спрашивая и делая все, что я хотел; из монашенки я сделал нигилистку, которая, как потом я слышал, стреляла в жандарма; жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру параллельно тому, как я менял свои увлечения.

Лихарев вскочил и заходил по комнате.

— Благородное, возвышенное рабство! — сказал он,

всплескивая руками.— В нем-то именно и заключается высокий смысл женской жизни! Из страшного сумбура, накопившегося в моей голове за все время моего общения с женщинами, в моей памяти, как в фильтре, уцелели не идеи, не умные слова, не философия, а эта необыкновенная покорность судьбе, это необычайное милосердие, всепрощение...

Лихарев сжал кулаки, уставился в одну точку и с каким-то страстным напряжением, точно обсасывая каждое слово, процедил сквозь сжатые зубы:

— Эта... эта великодушная выносливость, верность до могилы, поэзия сердца... Смысл жизни именно в этом безропотном мученичестве, в слезах, которые размягчают камень, в безграничной, всепрощающей любви, которая вносит в хаос жизни свет и теплоту...

Иловайская медленно поднялась, сделала шаг к Лихареву и впилась глазами в его лицо. По слезам, которые блестели на его ресницах, по дрожавшему, страстному голосу, по румянцу щек для нее ясно было, что женщины были не случайною и не простою темою разговора. Они были предметом его нового увлечения, или, как сам он говорил, новой веры! Первый раз в жизни Иловайская видела перед собой человека увлеченного, горячо верующего. Жестикулируя, сверкая глазами, он казался ей безумным, исступленным, но в огне его глаз, в речи, в движениях всего большого тела чувствовалось столько красоты, что она, сама того не замечая, стояла перед ним как вкопанная и восторженно глядела ему в лицо.

— А возьмите вы мою мать! — говорил он, протягивая к ней руки и делая умоляющее лицо.— Я отравил ее существование, обесславил, по ее понятиям, род Лихаревых, причинил ей столько зла, сколько может причинить злейший враг, и — что же? Братья выдают ей гроши на просфоры и молебны, а она, насилуя свое религиозное чувство, копит эти деньги и тайком шлет их своему беспутному Григорию! Одна эта мелочь воспитает и облагородит душу гораздо сильнее, чем все теории, умные слова, тридцать пять тысяч видов! Я вам могу тысячу примеров привести. Да вот хоть бы вас взять! На дворе вьюга, ночь, а вы едете к брату и отцу,

чтобы в праздник согреть их лаской, хотя они, быть может, не думают, забыли о вас. А погодите, полюбите человека, так вы за ним на северный полюс пойдете. Ведь пойдете?

— Да, если... полюблю.

— Вот видите! — обрадовался Лихарев и даже ногою притопнул.— Ей-богу, так я рад, что с вами познакомился! Такая добрая моя судьба, все я с великолепными людьми встречаюсь. Что ни день, то такое знакомство, что за человека просто бы душу отдал. На этом свете хороших людей гораздо больше, чем злых. Вот подите же, так мы с вами откровенно и по душам поговорили, как будто сто лет знакомы. Иной раз, доложу я вам, лет десять крепишься, молчишь, от друзей и жены скрытничаешь, а встретишь в вагоне кадета и всю ему душу выболтаешь. Вас я имею честь видеть только первый раз, а покаялся вам, как никогда не каялся. Отчего это?

Потирая руки и весело улыбаясь, Лихарев прошелся по комнате и опять заговорил о женщинах. Между тем зазвонили к заутрене.

— Господи! — заплакала Саша.— Он своими разговорами не дает мне спать!

— Ах, да! — спохватился Лихарев.— Виноват, дружочек. Спи, спи... Кроме нее, у меня еще двое мальчиков есть,— зашептал он.— Те, сударыня, у дяди живут, а эта не может и дня продышать без отца. Страдает, ропщет, а липнет ко мне, как муха к меду. Я, сударыня, заболтался, а оно бы и вам не мешало отдохнуть. Не угодно ли, я сделаю вам постель?

Не дожидаясь позволения, он встряхнул мокрый салоп и растянул его по скамье, мехом вверх, подобрал разбросанные платки и шали, положил у изголовья свернутое в трубку пальто и все это молча, с выражением подобострастного благоговения на лице, как будто возился не с женскими тряпками, а с осколками освященных сосудов. Во всей его фигуре было что-то виноватое, конфузливое, точно в присутствии слабого существа он стыдился своего роста и силы...

Когда Иловайская легла, он потушил свечку и сел на табурет около печки.

— Так-то, сударыня,— шептал он, закуривая толстую папиросу и пуская дым в печку.— Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень и мечтательное легкомыслие... Да-с...

Иловайская удивленно вглядывалась в потемки и видела только красное пятно на образе и мелькание печного света на лице Лихарева. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи — все это мешалось, вырастало в одно громадное впечатление, и мир божий казался ей фантастичным, полным чудес и чарующих сил. Все только что слышанное звучало в ее ушах, и жизнь человеческая представлялась ей прекрасной, поэтической сказкой, в которой нет конца.

Громадное впечатление росло и росло, заволокло собой сознание и обратилось в сладкий сон. Иловайская спала, но видела лампадку и толстый нос, по которому прыгал красный свет.

Слышала она плач.

— Дорогой папа,— нежно умолял детский голос,— вернемся к дяде! Там елка! Там Степа и Коля!

— Дружочек мой, что же я могу сделать? — убеждал тихий мужской бас.— Пойми меня! Ну, пойми!

И к детскому плачу присоединился мужской. Этот голос человеческого горя среди воя непогоды коснулся слуха девушки такой сладкой, человеческой музыкой, что она не вынесла наслаждения и тоже заплакала. Слышала она потом, как большая черная тень тихо подходила к ней, поднимала с полу упавшую шаль и кутала ее ноги.

Разбудил Иловайскую странный рев. Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя. В окна, наполовину занесенные снегом, глядела синева рассвета. В комнате стояли серые сумерки, сквозь которые ясно вырисовывались и печка, и спавшая девочка, и Наср-Эддин. Печь и лампадка уже потухли. В раскрытую настежь дверь видна была большая трактирная комната с прилавком и столами. Какой-то человек, с тупым, цыганским лицом, с удивленными глазами, стоял посреди

комнаты на луже растаявшего снега и держал на палке большую красную звезду. Его окружала толпа мальчишек, неподвижных, как статуи, и облепленных снегом. Свет звезды, проходя сквозь красную бумагу, румянил их мокрые лица. Толпа беспорядочно ревела, и из ее рева Иловайская поняла только один куплет:

Гей ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький,
Убьем, убьем жида,
Прискорбного сына...

Около прилавка стоял Лихарев, глядел с умилением на певцов и притопывал в такт ногой. Увидев Иловайскую, он улыбнулся во все лицо и подошел к ней. Она тоже улыбнулась.

— С праздником! — сказал он.— Я видел, вы хорошо спали.

Иловайская глядела на него, молчала и продолжала улыбаться.

После ночных разговоров он уж казался ей не высоким, не широкоплечим, а маленьким, подобно тому, как нам кажется маленьким самый большой пароход, про который говорят, что он проплыл океан.

— Ну, мне пора ехать,— сказала она.— Надо одеваться. Скажите, куда же вы теперь направляетесь?

— Я-с? На станцию Клинушки, оттуда в Сергиево, а из Сергиева сорок верст на лошадях в угольные шахты одного дурня, некоего генерала Шашковского. Там мне братья место управляющего нашли... Буду уголь копать.

— Позвольте, я эти шахты знаю. Ведь Шашковский мой дядя. Но... зачем вы туда едете? — спросила Иловайская, удивленно оглядывая Лихарева.

— В управляющие. Шахтами управлять.

— Не понимаю! — пожала плечами Иловайская.— Вы едете в шахты. Но ведь там голая степь, безлюдье, скука такая, что вы дня не проживете! Уголь отвратительный, никто его не покупает, а мой дядя маньяк, деспот, банкрот... Вы и жалованья не будете получать!

— Все равно,— сказал равнодушно Лихарев.— И за шахты спасибо.

Иловайская пожала плечами и в волнении заходила по комнате.

— Не понимаю, не понимаю! — говорила она, шевеля перед своим лицом пальцами.— Это невозможно и... и неразумно! Вы поймите, что это... это хуже ссылки, это могила для живого человека! Ах, господи,— горячо сказала она, подходя к Лихареву и шевеля пальцами перед его улыбающимся лицом; верхняя губа ее дрожала, и колючее лицо побледнело.— Ну, представьте вы голую степь, одиночество. Там не с кем слова сказать, а вы увлечены женщинами! Шахты и женщины!

Иловайская вдруг устыдилась своей горячности и, отвернувшись от Лихарева, отошла к окну.

— Нет, нет, вам туда нельзя ехать! — сказала она, быстро водя пальцем по стеклу.

Не только душой, но даже спиной ощущала она, что позади нее стоит бесконечно несчастный, пропащий, заброшенный человек, а он, точно не сознавая своего несчастья, точно не он плакал ночью, глядел на нее и добродушно улыбался. Уж лучше бы он продолжал плакать! Несколько раз в волнении прошлась она по комнате, потом остановилась в углу и задумалась. Лихарев что-то говорил, но она его не слышала. Повернувшись к нему спиной, она вытащила из портмоне четвертную бумажку, долго мяла ее в руках и, оглянувшись на Лихарева, покраснела и сунула бумажку к себе в карман.

За дверью послышался голос кучера. Иловайская молча, со строгим, сосредоточенным лицом стала одеваться. Лихарев кутал ее и весело болтал, но каждое его слово ложилось на ее душу тяжестью. Не весело слушать, когда балагурят несчастные или умирающие.

Когда было кончено превращение живого человека в бесформенный узел, Иловайская оглядела в последний раз «проезжающую», постояла молча и медленно вышла. Лихарев пошел проводить ее...

А на дворе все еще, бог знает чего ради, злилась зима. Целые облака мягкого крупного снега беспокойно кружились над землей и не находили себе места. Лошади, сани, деревья, бык, привязанный к столбу,— все было бело и казалось мягким, пушистым.

— Ну, дай бог вам,— бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани.— Не поминайте лихом...

Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висли снежинки...

Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочитать этот взгляд, или, быть может, его обмануло воображение, но ему вдруг стало казаться, что еще бы два-три хороших сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он как вкопанный и глядел на след, оставленный полозьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи... Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега.

ТО БЫЛА ОНА!

— Расскажите нам что-нибудь, Петр Иванович! — сказали девицы.

Полковник покрутил свой седой ус, крякнул и начал:

— Это было в тысяча восемьсот сорок третьем году, когда наш полк стоял под Ченстоховом. А надо вам заметить, сударыни мои, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые не отмораживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Трескучий морозище как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те поры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым, прокопченным чубуком, как теперь, а был, можете себе представить, молодец молодцом, кровь с молоком, красавец мужчина, одним словом. Франтил я, как павлин, сорил деньгами направо и налево и закручивал свои усы, как ни один прапорщик в свете. Бывало, стоило мне только моргнуть глазом, звякнуть шпорой и крутнуть ус — и самая гордая красавица обращалась в послушного ягненка. Жаден я был до женщин, как паук до мух, и если бы, сударыни мои, я стал сейчас перечислять вам полячек и жидовочек, которые в свое время висли на моей шее, то, смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел... Прибавьте ко всему этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был женат на прехорошенькой женщине, упокой господи

ее душу. А какой я был сорванец, буйная головушка, вы и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная кувырколегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Вывертов натворил.

В качестве адъютанта мне много приходилось рыскать по уезду. То я ездил овес или сено покупать, то продавал жидам и панам бракованных лошадей, а чаще всего, сударыни мои, под видом службы, скакал к панночкам на рандеву или к богатым помещикам поиграть в картишки... В ночь под рождество, как теперь помню, я ехал из Ченстохова в деревню Шевелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая... Мороз трещал и сердился, так что даже лошади крякали, а я и мой возница в какие-нибудь полчаса обратились в две сосульки... С морозом еще можно мириться, куда ни шло, но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. Белый саван закружился, завертелся, как черт перед заутреней, ветер застонал, точно у него жену отняли, дорога исчезла... Не больше, как в десять минут, меня, возницу и лошадей облепило снегом.

— Ваше благородие, мы с дороги сбились! — говорит возница.

— Ах, черт возьми! Что же ты, болван, глядел? Ну, поезжай прямо, авось наткнемся на жилье!

Ну-с, ехали мы, ехали, кружились-кружились, и этак к полночи наши кони уперлись в ворота имения, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жиды для меня все равно, что хрен после обеда, но, надо правду сказать, шляхта гостеприимный народ и нет горячей женщин, как панночки...

Нас впустили... Сам граф Боядловский жил в ту пору в Париже, и нас принял его управляющий, поляк Казимир Хапцинский. Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего, миндальничал с его женой, пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, я попросился спать. За неимением места во флигеле мне отвели комнату в графских хоромах.

— Вы не боитесь привидений? — спросил управляющий, вводя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потемок.

— А разве тут есть привидения? — спросил я, слушая, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги.

— Не знаю,— засмеялся поляк,— но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов.

Я хорошо заложил за галстук и был пьян, как сорок тысяч сапожников, но, признаться, от таких слов меня обдало холодком. Черт побери, лучше сотня черкесов, чем одно привидение! Но делать было нечего, я разделся и лег... Моя свечка освещала стены еле-еле, а на стенах, можете себе представить, портреты предков, один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочая фантасмагория... Тишина стояла, как в могиле, только в соседней зале шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за окном творилось что-то адское... Ветер отпевал кого-то, деревья гнулись с воем и плачем; какая-то чертовщинка, должно быть ставня, жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова, а с головой и весь мир... Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым долгом потушил свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшней, чем в потемках...

Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись поближе к рассказчику и уставились на него неподвижными глазами.

— Ну-с,— продолжал полковник,— как я ни старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут в окно, то слышался чей-то шепот, то кто-то касался моего плеча — вообще чудилась чертовщина, какая знакома всякому, кто когда-нибудь находился в нервном напряжении. Но, можете себе представить, среди чертовщины и хаоса звуков я явственно различаю звук, похожий на шлепанье туфель. Прислушиваюсь — и что бы вы думали? — слышу я, кто-то подходит к моей двери, кашляет и отворяет ее...

— Кто здесь? — спрашиваю я, поднимаясь.

— Это я... не бойся! — отвечает женский голос.

Я направился к двери... Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как две женские ручки, мягкие, как гагачий пух, легли мне на плечи.

— Я люблю тебя... Ты для меня дороже жизни,— сказал женский мелодический голосок.

Горячее дыхание коснулось моей щеки... Забыв про метель, про духов, про все на свете, я обхватил рукой талию... и какую талию! Такие талии природа может изготовлять только по особому заказу, раз в десять лет... Тонкая, точно выточенная, горячая, эфемерная, как дыхание младенца! Я не выдержал, крепко сжал ее в объятиях... Уста наши слились в крепкий продолжительный поцелуй, и... клянусь вам всеми женщинами в мире, я до могилы не забуду этого поцелуя.

Полковник умолк, выпил полстакана воды и продолжал, понизив голос:

— Когда на другой день я выглянул в окно, то увидел, что метель стала еще больше... Ехать не было никакой возможности. Пришлось весь день сидеть у управляющего, играть в карты и пить. Вечером я опять был в пустом доме, и ровно в полночь я опять обнимал знакомую талию... Да, барышни, если б не любовь, околел бы я тогда от скуки. Спился бы, пожалуй.

Полковник вздохнул, поднялся и молча заходил по гостиной.

— Но... что же дальше? — спросила одна из барышень, замирая от ожидания.

— Ничего. На следующий день я был уже в дороге.

— Но... кто же была та женщина? — спросили нерешительно барышни.

— Понятно кто!

— Ничего не понятно...

— Это была моя жена!

Все три барышни вскочили, точно ужаленные.

— То есть... как же так? — спросили они.

— Ах, господи, что же тут непонятного? — сказал полковник с досадой и пожал плечами.— Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался! Ехал я в Шевелки

с женой... Ночевала она в пустом доме, в соседней комнате... Очень ясно!

— Ммм... — проговорили барышни, разочарованно опуская руки.— Начали хорошо, а кончили бог знает как... Жена... Извините, но это даже неинтересно и... нисколько не умно.

— Странно! Значит, вам хотелось бы, чтоб это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина! Ах, барышни, барышни! Если вы теперь так рассуждаете, то что же вы будете говорить, когда повыходите замуж?

Барышни сконфузились и замолчали. Они надулись, нахмурились и, совсем разочарованные, стали громко зевать... За ужином они ничего не ели, катали из хлеба шарики и молчали.

— Нет, это даже... бессовестно! — не выдержала одна из них.— Зачем же было рассказывать, если такой конец? Ничего хорошего в этом рассказе нет... Даже дико!

— Начали так заманчиво и... вдруг оборвали...— добавила другая.— Насмешка, и больше ничего.

— Ну, ну, ну... я пошутил...— сказал полковник.— Не сердитесь, барышни, я пошутил. То была не моя жена, а жена управляющего...

— Да?!

Барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали... Они придвинулись к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла, исчез скоро и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕРСОНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 9, 1 марта. Подпись: А. Чехонте.

ИВАН МАТВЕИЧ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 60, 3 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С исправлениями орфографических и синтаксических ошибок, допущенных в газете, рассказ вошел в сборник «Пестрые рассказы», Спб. 1886, после стилистической правки — включен автором в том I собрания сочинений. Замены, сделанные Чеховым, освободили рассказ от вульгаризмов и нарочитой грубости слога: «звякает звонок» исправлено на «слышится звонок», «разевает рот» — на «открывает рот», «мычит» и «бормочет» — на «говорит».

Последними словами первоначального текста были: «... скучает за его болтовней о тарантулах и ловле щеглят». Помимо стилистической правки изменена одна деталь: если в предыдущих изданиях герой, в кабинете которого происходит действие, был писателем, то в тексте собрания сочинений он — ученый.

Весной 1899 года литератор П. П. Перцов, узнав, что А. Ф. Маркс приобрел право на издание сочинений Чехова, обратился к Антону Павловичу от имени читателей с письмом (24 марта), в котором просил включить в собрание сочинений ряд рассказов, входивших в первое издание «Пестрых рассказов» и исключенных из последующих изданий этого сборника; в их числе был назван и «Иван Матвеич» («очень хорош!»). Возможно, что рассказ был включен Чеховым в собрание сочинений в связи с письмом П. П. Перцова.

ВЕДЬМА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3600, 8 марта, в отделе «Субботники».

С исключением отдельных деталей (см. ниже) рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан во всех последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899). С несколькими новыми стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Для сборника «В сумерках» Чехов снял дважды повторенное в газетной публикации определение: «с кривыми, черными ногтями» (о ногах Савелия Гыкина); после слов «торопливо сморкаясь в подол рубахи» опущено также: «и показывая таким образом дьячихе свой серый живот с пупком, большим, как бублик». Стилистические изменения внесены Чеховым и в текст рассказа для собрания сочинений. Так, описывая наружность почтальона, автор из фразы: «ее не столько занимало лицо, как общий вид, ансамбль и новизна этого человека», исключил слово «ансамбль»; «езжай» заменено — «поезжай» и др.

По воспоминаниям М. П. Чехова, описание церковной сторожки у почтовой дороги навеяно впечатлениями от пребывания писателя в Бабкине (М. П. Чехов, Антон Чехов и его сюжеты, М. 1923, стр. 34—35). Появление этого рассказа в печати вызвало разноречивые суждения. Через несколько дней по его опубликовании Чехов писал В. В. Билибину: «Ведьма» многим... не понравилась... Но что делать! Нет тем, да и черт толкает под руку такие штуки писать...» (письмо от 11 марта 1886 г.).

В. В. Билибин, сообщая Чехову, что Суворин в восторге от «Ведьмы», писал: «О себе этого не скажу... я думаю, не вполне достойно употреблять талант на воспроизведение крайне чувственных картин, граничащих... с «заграничными» картинками... Я поклонник реализма, но меня коробит от описания грязных ног дьячка... Потом рядом с такой реальностью — чисто фантастический элемент в образе дьячка, который серьезно считает свою жену ведьмой. Это не вяжется» (письмо от 14 марта). Ф. О. Шехтель писал Чехову 12 марта: «Да простит Вас бог за тот пуп с порядочный бублик, который, т. е. пуп, Вы показываете дьячихе и всей почтеннейшей публике... Это круче всякого золаизма...»

Д. В. Григорович в своем первом письме к Чехову от 25 марта писал о том же: «Правдивость, реализм не только не исключают изящества, но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями

и о пупке дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом» («Слово», сб. 2-й, М. 1914, стр. 200).

«Циничности, на которые вы мне указываете,— отвечал Григоровичу 28 марта Чехов,— я почувствовал сам, когда увидел «Ведьму» в печати. Напиши я рассказ не в сутки, а в 3—4 дня, у меня бы их не было...» Подготавливая рассказ для сборника, Чехов устранил эти погрешности.

Художественное же мастерство рассказа в целом, в частности превосходное описание метели, было отмечено и Билибиным и Григоровичем (в тех же письмах) и рецензентами первого издания сборника «В сумерках» (см. «Петербургская газета», 1887, № 248, от 10 сентября — заметка без подписи; «Новое время», 1887, № 4157, 25 сентября — В. Буренин, «Критические очерки. Рассказы Чехова»). Другой рецензент сборника «В сумерках», Л. Е. Оболенский, с сочувствием отметил в рассказе «трагикомическую личность дьячка, считающего ведьмой свою молодую гульливую жену» («Наблюдатель», 1887, № 12, стр. 68).

«Ведьма» включена Л. Н. Толстым в список лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» во 2 томе наст. изд.).

Стр. 21. *Юдифь* — по библейскому сказанию, древнееврейская героиня, обольстив врага своего народа Олоферна, отрубила ему голову его собственным мечом.

ОТРАВА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 10, 8 марта. Подпись: А. Чехонте.

Послав Н. А. Лейкину рассказ, Чехов писал ему: «Начал я рассказ утром; мысль была неплохая, да и начало вышло ничего себе, но горе в том, что пришлось писать с антрактами. После первой страницы приехала жена А. М. Дмитриева просить медицинское свидетельство; после 2-й получил от Шехтеля телеграмму: болен! Нужно было ехать лечить... После 3-й страницы — обед и т. д. А писанье с антрактами — то же самое, что пульс с перебоями» (4 марта 1886 г.).

В рукописи, посланной Чеховым в «Осколки», упоминался адвокат, к которому, очевидно, обращался герой. Этот эпизод при печатании рассказа был исключен Лейкиным. «Читали мы рассказ с Билибиным и порешили адвоката выхерить. Без адвоката ей-ей лучше, а потому надеюсь, что Вы на меня не посетуете за самоуправство» (6 марта 1886 г.).

Стр. 28. *Ария Мефистофеля* — ария из оперы французского композитора Шарля Гуно «Фауст» (написана опера в 1858 г.; в России впервые поставлена в 1864 г.). Лейтмотив арии — губительная власть денег — выражен в словах: «Люди гибнут за металл».

РАССКАЗ БЕЗ КОНЦА
Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 67, 10 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Поводом к написанию рассказа, очевидно, послужил реальный факт. «П. И. Кичеев,— писал Чехов 12 января 1886 года Н. А. Лейкину,— покушался на самоубийство, но пуля оказалась дурой. Третьего дня я виделся с ним и слушал, как он рассказывал анекдоты».

ШУТОЧКА

Впервые напечатано в журнале «Сверчок», 1886, № 10, 12 марта. Подпись: Человек без селезенки.

После переработки рассказ включен автором в том II собрания сочинений. Сделаны значительные сокращения, в частности исключен целый эпизод — герой на обеде у Наденьки. Сняты многочисленные обращения к читателю, например: «Но, милостивые государи, женщины способны на жертвы. В этом я готов поклясться тысячу раз, хотя бы даже на суде, или перед автором новой книги «О женщинах», а также — литературные штампы: «на такой утлой ладье», «как пуля, сломя голову», «дрожит как лист» и т. д.

Финал первоначального текста был иной. После слов: «Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки...» — было: «Это мне только и нужно... Я выхожу из-за кустов и, не дав Наденьке опустить рук и разинуть рот от удивления, бегу к ней... Но тут позвольте мне жениться».

Отказавшись от такого вполне благополучного разрешения «Шуточки», Чехов ввел в позднюю редакцию рассказа более глубокие мотивы — неудовлетворенность героев жизнью, сожаление об утраченной душевной молодости. В результате правки изменился не только стиль, но и идейный смысл рассказа.

АГАФЬЯ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3607, 15 марта, в отделе «Субботники». С сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

Без изменений рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Из первого издания сборника «В сумерках» Чехов исключил большой отрывок, содержащий размышления героя — рассказчика о преимуществах созерцательной философии Савки и о судьбе Агафьи. В этом отрывке были строки: «...мне стало казаться, что я понимаю неподвижность молодого Савки... К чему, в самом деле, двигаться, желать, искать? Не лучше ли раз навсегда замереть в этом благоухании ночи под взглядом бесконечно великого числа небесных скромно мерцающих светил, стать частью всеобщего, величаво торжественного покоя и дышать, дышать без конца? Не в слиянии ли с этой вечной, много говорящей, но непонятной красотой цель и наслаждение жизни?» Исключив этот отрывок, Чехов добился большей объективности повествования, сделал рассказ более лаконичным.

Д. В. Григорович в упомянутом выше письме к Чехову от 25 марта 1886 года писал: «...по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель [в рассказе «Ведьма». — *Э. П.*], ночь, местность в «Агафье» и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре: «как пепел на потухающих угольях...» и т. д.— Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных истинно художественных произведений» («Слово», сб. 2-й, М. 1914, стр. 200).

В своем первом печатном отзыве о рассказах Чехова — в рецензии на сборник «В сумерках» (1887) — Н. К. Михайловский отмечал их бесперспективность, «сумеречность». Не разобравшись в новизне сложной поэтики Чехова, он считал внешнюю незавершенность сюжетов многих его рассказов свидетельством равнодушия писателя к судьбам своих героев. Особенно его не удовлетворяли финалы таких рассказов, как «Ведьма», «Верочка», «Агафья». О последнем он писал: «Как встретились Агафья Стрельчиха и ее муж? Убил он ее или прибил, выругал, простил? Какие слова она говорила?.. Никаких таких вполне естественных вопросов при чтении сборника г. Чехова не возникает» («Северный вестник», 1887, сентябрь, стр. 81—85).

Стр. 55. *Дульцинея* — персонаж романа Сервантеса «Дон-Кихот» (1605—1615), здесь в переносном смысле: красотка, возлюбленная.

МОЙ РАЗГОВОР С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 11, 15 марта. Подпись: А. Чехонте.

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 74, 17 марта, в отделе «Летучие заметки», под названием «Водобоязнь», с подзаголовком *Быль*. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ, по всей вероятности, был подготовлен для собрания сочинений, о чем свидетельствует беловой автограф, сохранившийся в архиве писателя (Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина). По этому переработанному автором тексту и печатается рассказ.

Текст автографа, озаглавленного «Волк», значительно отличается от газетной публикации. В нем отсутствует указание на третьего участника охоты — земского врача Пегасова, которому первоначально принадлежало описание признаков водобоязни. Описание это сокращено, выброшена фраза: «Из ста заболевающих умирает ровно сто...» Сокращен и отредактирован весь текст рассказа, написан новый конец. Газетная публикация кончалась пространными рассуждениями о переживаниях Нилова после посещения им доктора Овчинникова.

Завершалось это описание назидательной концовкой: «у человека вообще плоха память. На днях старика Максима укусила бешеная собака. Пегасов, не долго думая, отправился к Нилову.

— Отправляем Максима к Пастеру,— сказал он ему.— Собираем пожертвования. Не дадите ли и вы что-нибудь?

— Ах, с удовольствием! — Нилов вышел и, немного погодя, вынес доктору *десять* рублей».

Образная, лаконичная картина лунного вечера, описанного в рассказе: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени, на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки» — дает яркое представление об особенностях Чехова-пейзажиста. Подробное описание пейзажа Чехов стремится заменить наиболее выразительной деталью. Спустя почти два месяца по опубликовании рассказа, в своих литературных советах брату Александру Павловичу, Чехов указывал: «В описании природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка и т. д.» (10 мая 1886 г.).

О создании общей картины лунной ночи с помощью отдельных частностей, как о художественном приеме, говорится и в пьесе «Чай-

ка» (1896): «Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова...»

Стр. 65. *Водобоязнь* — бешенство, заболевание, одним из признаков которого является боязнь воды.

В ПАРИЖ!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 12, 22 марта. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ написан вскоре после известия об открытии парижской клиники, лечащей от бешенства (водобоязни) по методу известного французского бактериолога и химика Луи Пастера. В № 10 «Осколков», от 8 марта, сообщалось: «В Париже открыта лечебница от водобоязни, по системе доктора Пастера. Лечебница — общенародная. И русский мужик, укушенный летом бешеной собакой, имеет право взять билет прямого сообщения по железным дорогам до Парижа и явиться в лечебницу. Это утешительно».

Стр. 71 ...*новая грамматика Грота*.— Очевидно, имеется в виду книга выдающегося русского филолога Я. К. Грота (1812—1893) «Русское правописание» (1885). Деятельность Грота сыграла большую роль в унификации русского правописания.

ВЕСНОЙ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 81, 24 марта, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте.

После значительной переработки рассказ включен автором в том III собрания сочинений. Чехов снял подзаголовок, обращения к читателю, авторские отступления, исключил подробную характеристику второго неудачника, фигурирующего в газетной редакции под именем живописца Феофана. Вместо генерала Стремоухова в первоначальном тексте критиковал сочинения Макара Денисыча граф, в имении которого он служил. О тщательности редактирования всего текста свидетельствуют такие поправки: о садовнике Пантелее Петровиче в первоначальной редакции говорилось: «Изредка он поворачивает голову, чтобы сплюнуть или взглянуть на голубое небо, на землю, залитую солнцем, на дерущихся воробьев... и тут я советую вам уловить выражение его лица. На природу глядит он с апломбом, с сознанием своего превосходства над ней, а когда его взгляд падает на пихты, тополи и сиреневые кусты, то — спасите

нас, о неба херувимы! — тогда в глазах его промелькает что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство нехорошую тайну, которую совестно сказать. Не вздумайте толковать ему, что природа величественна, грозна и полна красок и тайн, перед которыми должен согнуть свою шею человек. Что касается тайн природы, то он, ему кажется, все знает...»

Редактируя это место, Чехов вычеркивает первую фразу полностью; из второй фразы снимает книжное «с апломбом»; оборот «а когда его взгляд... в глазах его промелькает» заменяет лаконичным: «и во взгляде его»; «нехорошую тайну, которую совестно сказать» заменяет словами: «что-то такое, чего не знает никто»; дает определение «гордый» к слову «человек»; вместо канцелярского «что касается...» вставляет фразу: «Ему кажется, что он знает все, все тайны, чары и чудеса...»

МНОГО БУМАГИ

Архивное изыскание

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 13, 29 марта, под заглавием «Скарлатина и счастливый брак». Подпись: А. Чехонте.

С многочисленными стилистическими исправлениями и добавлениями включено автором в том I собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чехов изменил его заглавие, передвинул начало событий с декабря на ноябрь, ошибочно оставив в первой строке старую дату — «8-го сего декабря», в настоящем издании исправленную, снял постскриптумы в конце записей Радушного от 13 декабря и Подпрунина от 2 января о продаже кобылы и покупке овса.

Добавления, сделанные Чеховым,— запись пристава Подпрунина от 8 февраля и письмо исправника к нему по поводу предания суду лакея Радушного и др.— усилили сатирический смысл рассказа.

КОШМАР

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3621, 29 марта, в отделе «Субботники».

С незначительными сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

Включен автором в том III собрания сочинений.

При подготовке рассказа для сборника «В сумерках» сняты ложнопатетические слова Кунина, которые он произносил, оставшись один после разговора со священником: «О, гибнущая молодость! — прошептал он.— Обрызганная грязью красота, великаны, не видимые глазами пигмеев! Прости мне, мой рыцарь!»

Тотчас же по опубликовании рассказа «Новое время» напечатало письмо читателя-врача, взволнованного правдивостью изображения неприглядной, нищенской жизни сельской интеллигенции. «В рассказе г. Чехова «Кошмар» говорится о докторше,— писал читатель,— которая сама полощет белье. Вам, вероятно, это показалось странным. Но врачей это не может удивлять... формула: *жена попа без рубахи, а жена врача полощет белье на речке* — не есть исключение, а правило для России» («Новое время», 1886, № 3624, 1 апреля). «Я не ждал от «Кошмара» успеха,— писал Чехов 4 апреля Билибину.— Трудно попасть в жилку!»

В связи с успехом рассказа Лейкин просил Чехова дать «Кошмар» в сборник «Пестрые рассказы», причем под явным впечатлением от письма в редакцию «Нового времени» называл его рассказом о докторше (письмо от 4 апреля 1886 г.). Рассказ, наполовину набранный для сборника, по настоянию Чехова был рассыпан. «Рассказы и так пестры,— писал он,— а если Вы еще рядом со «Шведской спичкой» поставите «Кошмар», то получится пестрота, от которой затошнит» (19 апреля 1886 г.).

«Кошмар» и другие рассказы, напечатанные в 1886 году в «Новом времени» и поднявшие в Петербурге, по выражению писателя, «переполох», от которого он «угорел, как от чада» (письмо Ал. П. Чехову от 10 мая 1886 г.), Чехов позже включил в сборник «В сумерках».

В рецензии на сборники Чехова «В сумерках», 1887, и «Рассказы», 1888, Д. С. Мережковский писал о «Кошмаре»: «Рассказ крайней простотой, жизненностью и тонким задушевным юмором напоминает деревенские очерки одного из самых талантливых русских бытовых писателей — Глеба Успенского» („Север. вестник," 1888, № 11, стр. 84).

Стр. 95. *Дивиденды* — доходы.

Консистория — в дореволюционной России — коллегиальный епархиальный орган с церковно-административными и церковно-судебными функциями.

НА РЕКЕ

Весенние картинки

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 88, 31 марта, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 106. *Над этой египетской работой...* — то есть очень тяжелой работой, как у древнеегипетских рабов, воздвигавших пирамиды, осушавших болота и т. д.

ГРИША

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 14, 5 апреля.

С стилистическими исправлениями, сокращениями и добавлениями рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

При переработке рассказа Чехов исключил некоторые сравнения и характеристики; в частности, снята фраза: «Он так окутан, что если вы взглянете на него в увеличительное стекло, то увидите фигуру, достойную украсить любое «Путешествие к Северному полюсу».

Тему рассказа дал Чехову Билибин. В письме от 14 марта 1886 года он предложил: «...психология ребенка, маленького (2—3—4 л.) Феди? (рассказцем)». Познакомившись с рукописью рассказа в редакции «Осколков», Билибин писал 2—3 апреля: «Гриша» очень, очень недурен».

ЛЮБОВЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 95, 7 апреля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

СВЯТОЮ НОЧЬЮ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3636, 13 апреля.

С незначительным сокращением (снята одна фраза) рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899). Отсюда перепечатан с разрешения автора и издан отдельной книжкой Московским обществом грамотности (1898).

Без изменений включен автором в том III собрания сочинений.

Один из современников Чехова приводит слова А. Н. Плещеева, сказанные под впечатлением только что прочитанного сборника «В сумерках»: «Когда я читал эту книжку, передо мной незримо витала тень И. С. Тургенева. Та же умиротворяющая поэзия слова,

то же чудесное описание природы...»; особенно нравился ему рассказ «Святою ночью» (Н. В. Дризен, Чехов и его пьесы. — «Возрождение», Париж, 1929, от 15 июля).

В рецензии на сборники «В сумерках» (1887) и «Рассказы» (1888) Д. С. Мережковский отметил, что по исполнению «Святою ночью» напоминает стихотворения в прозе Тургенева и Бодлера, образ монаха Николая он причислил к неудачникам типа Лихарева из рассказа Чехова «На пути» («Северный вестник», 1888, № 11, стр. 92). Имея в виду эту рецензию, Чехов писал об образе монаха Николая А. С. Суворину: «Мережковский моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником. Какой же это неудачник? Дай бог всякому так пожить: и в бога верил, и сыт был, и сочинять умел... Делить людей на удачников и неудачников— значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения...» (3 ноября 1888 г.).

ДАМЫ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 16, 19 апреля, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте.

С многочисленными стилистическими исправлениями, без подзаголовка и с измененным концом включено автором в том I собрания сочинений.

Редактируя рассказ, Чехов исключил персонаж — Елену Егоровну, женщину, к которой инспектор народных училищ ездил вечерами «отдыхать душой» и которая тоже просила у него место для Ползухина.

В журнальной редакции конец рассказа был иной. После слов «сущую правду» (стр. 134 наст. изд.) было: «но не хватило мужества откровенничать с подчиненным... Пришлось лгать, лгать... лгать до того, что покраснели даже корни волос и заплетался язык, как у пьяного». Заканчивая рассказ в последней редакции внезапной вспышкой героя, Чехов подчеркнул слабость чиновника, бессильного перед «влиятельными лицами», чувствующего себя виноватым и именно потому срывающего свой гнев на ни в чем не повинном учителе.

«Дамы» по оценке Л. Н. Толстого один из лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» во 2 томе наст. изд.).

СИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 107, 21 апреля, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка.* Подпись: А. Чехонте.

С многочисленными стилистическими исправлениями, сокращениями и добавлениями, без подзаголовка включено автором в том III собрания сочинений.

При редактировании Чехов исключил из речи персонажей вульгаризмы: вместо «втюрился» стало «влюбился», вместо «пустил бы себе в башку пулю» — «пустил бы себе пулю в лоб» и т. д. Большая часть исправлений заключается в замене пространных описаний лаконичными. Так, начало рассказа толстяка о том, как смеялся над ним отец и как он просиживал дни и вечера у невесты, о том, что «гораздо приятнее беседовать с судебным приставом, чем со счастливым смертным», заменено одной фразой: «Счастливые люди — это самые надоедливые, самые скучные люди». Значительной переработке подвергнута речь адвоката.

Новый конец рассказа, начиная со слов «Какие грезы посещают его?», дописанный Чеховым для собрания сочинений, дает более четкое противопоставление «сильных ощущений» толстяка переживаниям преступника, ночующего в арестантской.

ЗНАКОМЫЙ МУЖЧИНА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 18, 3 мая, под заглавием «Немножко боли», с подзаголовком *Уличный случай*. Подпись: А. Чехонте.

Перепечатано с сокращением в газете «Новости дня», 1886, № 169, 23 июня, без подписи, но с ссылкой на «Осколки».

Без подзаголовка, после многочисленных стилистических исправлений рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Перерабатывая рассказ, Чехов изменил фамилию зубного врача (первоначально он именовался Штейнфинкель), тщательно отредактировал весь текст, исключив ряд фраз и особенно отделав конец. Так, в конце первого абзаца перед словами «Как быть?» Чехов снял фразу: «Чтобы опериться и начать посещать Ренесанс, ей на первых порах нужно было по меньшей мере рублей 20—25, а у нее, кроме поношенного платья, что на ней, и плохого колечка с бирюзой, не имелось никаких других драгоценностей».

В середине рассказа расширено описание внутреннего состояния героини. Вместо «Нищая... Нищая! — думала она, глядя на свое отражение.— Гадкая! Э, пойду и прямо скажу ему: дайте денег! Пусть гонит!» — Чехов написал: «И Ванде казалось странным, что теперь, когда она была бедно одета и походила на швейку или прачку, в ней появился стыд и уж не было ни наглости, ни смелости, и в мыслях

она называла себя уже не Вандой, а, как раньше, Настей Канавкиной...»

В рассказе частично нашла отражение тема, предложенная Чехову Билибиным в письме от 6 апреля 1886 г.: «Изобразить порядочного человека, но забитого судьбой, который пришел у приятеля денег в долг просить. Кажется, что тут стыдного? А у него язык не поворачивается, и он все о другом заговаривает, так и ушел, не попросивши».

СЧАСТЛИВЧИК

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 121, 5 мая, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Сценка*. Подпись: А. Чехонте.

С небольшими изменениями: снят подзаголовок; авторская речь почти везде переведена из прошедшего времени в настоящее; «столоверчение» исправлено на «столпотворение»,— рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С стилистическими исправлениями: сняты несколько фраз, сделаны словарные замены, вместо «таращит глаза новобрачный» стало: «изумляется новобрачный»; вместо «ёжится, как змея, которой наступили на хвост», стало: «ёжится, точно ему наступили на мозоль» и др.— рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Стр. 147. *Филоксера* — насекомое-вредитель (уничтожает виноградники).

Стр. 149. *...кукуевская катастрофа* — железнодорожная катастрофа, происшедшая летом 1882 г. между станциями Чернь и Бастыево Московско-Курской железной дороги, близ деревни Кукуевка. О ней Чехов упоминал в своих фельетонах и рассказах.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3657, 6 мая.

С сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899).

С новыми мелкими изменениями и добавлениями включен автором в том IV собрания сочинений.

При подготовке рассказа для сборника Чехов сократил ряд подробностей. В частности, исключена деталь в описании сцены, когда Спиридон снимал мерку с Победимского: «... и даже неизвестно, для

какой надобности два раза пролазил между его расставленными ногами, как в ворота».

В тексте собрания сочинений изменена деталь: тайный советник приезжает «в белой шелковой паре», в прежних публикациях было: «в чесунчовой паре».

Стр. 153. *...спириты* — те, кто занимается спиритизмом, то есть «общением» с якобы вызванными ими духами умерших. Спиритизм был особенно распространен во второй половине XIX в.

Стр. 161. *Эпизоотия* — повальная болезнь (эпидемия) среди животных.

ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ

Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 135, 19 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

В ПАНСИОНЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 21, 24 мая. Подпись: А. Чехонте.

НА ДАЧЕ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1886, № 20, 25 мая. Подпись: А. Чехонте.

Перепечатан без изменений в сборнике «Сюрприз — альбом журнала «Будильник» (М. 1899, стр. 3, 6—7 и 10) со сноской от редактора: «Печатается по соглашению с собственником сочинений А. П. Чехова А. Ф. Марксом». Хотя Чехов и дал разрешение на перепечатку рассказа, выход сборника, вызвал у него недовольство — ему не была переслана корректура, над которой он, видимо, намеревался по своему обычаю работать; кроме того, отсутствовало указание, что «На даче» его старый рассказ. Не понравилась ему и редакторская сноска (см. письма А. С. Лазарева-Грузинского, бывшего секретарем редакции «Будильника», к Чехову от 27 октября и 12 декабря 1899 г.).

Стр. 182. *Турнюр* — модная в 80-х гг. принадлежность женского платья, придающая фигуре пышность.

ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ

Дачный роман

Впервые напечатано «в Петербургской газете», 1886, № 142, 26 мая, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 186. ... *Клеопатра египетская, отравляющая себя змеями.*—

По преданию, египетская царица Клеопатра (I в. до н. э.) после неудачной попытки прельстить своей красотой римского императора Октавиана Августа приложила к своей груди ядовитую змею и умерла от ее укуса.

Стр. 187. *Бальзаковский возраст!* — возраст женщины после тридцати лет (по названию романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина»).

СКУКА ЖИЗНИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3682, 31 мая, в отделе «Субботники».

Билибин писал Чехову 11 июня 1886 г.: «Скука жизни» прекрасная вещь. Я думаю, прочитавшим ее старикам не поздоровится. Впечатление очень сильное».

Стр. 202. *Александр Македонский великий человек, но стульев ломать не следует...* — измененные слова городничего из 1-го действия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Стр. 205. *Гладстон* Уильям Эварт (1809—1898)—видный английский политический деятель, с 1867 г. лидер либералов, несколько раз возглавлявший правительство.

РОМАН С КОНТРАБАСОМ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 23, 7 июня, с подзаголовком *Дачная феерия.* Подпись: А. Чехонте.

Без подзаголовка с несколькими изменениями рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений Чехов сделал в тексте рассказа несколько стилистических исправлений, например, в словах Лакеича вместо «рапсодию отжаривал» стало: «рапсодию исполнял», и изменил сюжетную деталь: если в журнальном тексте воры похитили у княжны только платье и ботинки, то в окончательной редакции они оставили ее и без белья.

СТРАХИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 162, 16 июня, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Рассказ дачника.* Подпись: А. Чехонте.

С многочисленными стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чехов

сбратил большое внимание на пейзаж, стараясь сделать его более лаконичным и выразительным. Работая, например, над фразой: «...вслед за ними,точно по воле декоратора,темной сталью заблистала река, и еще немного времени—передо мной расстилалась роскошная картина»,—Чехов заменил несколько искусственное сравнение «точно по воле декоратора» поэтическим: «как по волшебству»; «расстилалась» — более динамичным: «раскинулась»; определение «роскошная» — на «богатая».

Стр. 218. ...*фаустовский бульдог*...— Фауста, героя одноименной драматической поэмы Гете, преследовал образ черной собаки, оставлявшей след пламени после себя и заключавшей в себе дух Мефистофеля.

АПТЕКАРША

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 25, 21 июня. Подпись: А. Чехонте.

В переработанном виде рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений Чехов снял первую фразу: «Час ночи»; изменил фамилию провизора Трахтенберг на Черномордик, тщательно отредактировал весь текст, сделав ряд сокращений и замен, и приписал новый конец.

В разговоре врача и поручика смягчен ряд выражений. Вместо «аптекой воняет» стало: «аптекой пахнет»; фраза «С перцем шельма. У нее зубы хороши...» опущена совсем и т. д.

Наиболее существенные добавления внесены в характеристику образа аптекарши. Вместо нейтральных слов: «...и отпирает двери» — Чехов пишет: «...и спешит к двери,чтобы отпереть, и ей уже не скучно и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце». Завершающая рассказ сценка, со слов «Как я несчастна!..», рисующая тоску женщины, одинокой, обреченной на томительно однообразное существование, также добавлена в тексте собрания сочинений.

Стр. 221. ...*Самсон филистимлян избивал*.— По библейскому сказанию, древнееврейский герой Самсон (или Сампсон), обладавший сверхъестественной силой, перебил ослиной челюстью тысячу филистимлян, голыми руками убил льва и т. д.

Стр. 224. «*В глушь! в Саратов!*» — слова Фамусова из 4-го действия комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1822—1824).

«*Блажен, кто с молоду был молод!*» — строка из восьмой главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823—1831).

ЛИШНИЕ ЛЮДИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 169, 23 июня, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С изменениями и новыми стилистическими исправлениями включен автором в том I собрания сочинений.

Работая над рассказом для собрания сочинений, Чехов изменил фамилию героя (ранее он именовался Зайцевым), название полустанка (в газетной публикации полустанок назывался Хилово), сделал ряд сокращений. Опущены, в частности, элементы гротеска в словах героя: «Верите ли, я психопатом стал!.. Не верите? Бывают минуты, когда я бегаю из угла в угол по комнате и петухом пою. Разве это не психопатия? Вы вот изволите улыбаться, а мне, смею вас уверить, нисколько не смешно». В речи Надежды Степановны заменены названия пьес для любительских спектаклей (раньше было: «Скандал в благородном семействе» и «Мотя»).

Стр. 228. «*Гугеноты*» — опера композитора Д. Мейербера, написана в 1836 г.

Стр. 230. «*Жилец с тромбоном*» — водевиль, заимствованный с французского С. Бойковым.

«*Она его ждет*» — водевиль (перевод с французского).

Стр. 231. «*Грешница*» — поэма А. К. Толстого (1858).

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 26, 28 июня. Подпись: А. Чехонте.

ХОРИСТКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 27, 5 июля, под заглавием «Певичка». Подпись: А. Чехонте.

В переработанном виде рассказ вошел в научно-литературный сборник «Путь-дорога», Спб. 1893, изданный «Посредником» в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам (стр. 129—134).

Автограф, посланный Чеховым для сборника «Путь-дорога», хранится в Центральном Государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ).

С новыми изменениями включен автором в том II собрания сочинений.

При подготовке рассказа для издания в сборнике «Путь-дорога» Чехов изменил заглавие, снял первую фразу, бывшую в журнальной редакции: «У Паши Жижиковой, сопрано-запевалы «русского хора» Ермолаева, был такой случай», исключил указание на профессию Колпакова (в газетной публикации он был назван судебным приставом) и тщательно отредактировал весь рассказ. После переработки изменился смысл и весь тон рассказа — вместо юмористического, с игривым оттенком, эпизода из жизни женщины легкого поведения получилось лирическое, местами грустное повествование о человеке обездоленном и глубоко оскорбленном. Значительно изменен конец. В журнальной редакции конец носил новеллистический характер: «...После этого Паша его больше уже никогда не видала». Вместо этой фразы в сборнике «Путь-дорога» Чехов дописал: «Паша легла на постель и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она сгоряча отдала, и было обидно... Она вспомнила, как три года назад ее ни за что ни про что побил один купец, и еще горше заплакала. Когда стемнело, она умылась, зажгла свечу, попудрилась и потом, стоя перед зеркалом, долго зачесывала вверх свою челку. Но челка не слушалась». Кроме того, сделан еще ряд вставок, глубже раскрывающих душевный мир героини.

В тексте собрания сочинений автором сделано несколько стилистических поправок и из финальной части, дописанной для сборника «Путь-дорога», исключены две последние фразы.

Л. Н. Толстой считал «Хористку» одним из лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» во 2 томе наст. изд.).

УЧИТЕЛЬ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3723, 12 июля, в отделе «Субботники».

С стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ включен автором в том V собрания сочинений. При переработке рассказа Чехов исключил один персонаж — поповича Камчатского, помощника Сысоева; изменил фамилию владельцев фабрики (в газетной редакции значилось: «Калинкина и сыновья»), фамилию любимого ученика Сысоева (было: Бабакин), уменьшил получаемую Сысоевым плату (было: 750 рублей) и тщательно отредактировал весь рассказ. Правка Чехова коснулась, в частности, образа Бруни. О его суетливости за обедом, например, было сказано: «Он наливал рюмки, подкладывал в тарелки и, всячески стараясь угодить, рассмешить и показать свое дружелюбие, ласкался к людям, как собака:

хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки...» Перенеся в конец фразы сравнение Бруни с собакой и дав к этому слову определение «добрая» («одним словом, ласкался, как добрая собака»), Чехов придал сказанному более мягкую интонацию. В конце рассказа снят разговор Сысоева с Ляпуновым, раскрывавший лицемерие Бруни.

Билибин писал Чехову 4 августа 1886 года: «Рассказ про учителя в «Новом времени» прекрасен с художественной точки зрения, но производит очень тяжелое впечатление».

БЕСПОКОЙНЫЙ ГОСТЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 190, 14 июля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ с исправлениями в пунктуации вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

Включен автором в том III собрания сочинений.

RARA AVIS

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 29, 19 июля. Подпись: Рувер.

ЧУЖАЯ БЕДА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 204, 28 июля, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

ТЫ И ВЫ
Сценка

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 211, 4 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

МУЖ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 32, 9 августа, под заглавием «Акцизный». Подпись: А. Чехонте.

С исправлениями и дополнениями рассказ перепечатан в «Журнале для всех», 1898, № 12.

С незначительными изменениями включен автором в том I собрания сочинений.

Перерабатывая рассказ в 1898 году, Чехов изменил заглавие, убрал выражения, типичные для «осколочной» беллетристики,— вместо «рыскает по городу» стало: «бегает по городу», вместо «посудачив» — «наговорившись» и др.; снял фамилию старшего офицера, названного в «Осколках» Папашкиным. Добавления, сделанные писателем, углубляют характеристику героев. Так, о прошлом акцизного вставлена фраза: «Когда-то он был в университете, читал Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коллежский асессор и больше ничего».

В финале вставлен отрывок, в котором говорится о неудовлетворенности героя своей жизнью: «...и в то же время ему недоставало чего-то... О, как это ужасно!» (см. стр. 276 наст. изд.).

По напечатании рассказа в «Осколках» Билибин писал Чехову 11 августа 1886 года, что рассказ «очень и очень недурен».

НЕСЧАСТЬЕ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3758, 16 августа, в отделе «Субботники».

С небольшим сокращением рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

С новыми стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

При подготовке сборника «В сумерках» Чехов снял в рассказе некоторые реплики Ильина; в частности, исключены его слова, обращенные к Софье Петровне: «И черт его подери! Согрешим раз в жизни! Куда ни шло! Раз в жизни!»

В тексте собрания сочинений также сделаны сокращения. Например, описание от лица автора: «...потом лениво поднялась и, как собака с отдавленными задними ногами, поплелась в спальную» — в последней редакции читается так: «...потом лениво встала, поплелась в спальню».

Рассказ вызвал противоречивые мнения. Если Билибин понял его лишь как художественную защиту идеи «К черту всю поэтическую сторону любви!» (письмо к Чехову от 28 августа 1886 г.), то Д. В. Григорович, наоборот, ценил в нем глубоко художественное изображение чувства любви: «Рассказы «Несчастье», «Верочка», «Дома», «На пути» доказывают мне только то, что я уже давно знаю,

т. е., что Ваш горизонт отлично захватывает мотив любви во всех тончайших и сокровенных проявлениях» (письмо к Чехову от 30 декабря 1888 г.— «Слово», сб. 2-й, М. 1914, стр. 208).

В приведенном выше письме Билибина содержится указание и на отдельные недостатки в рассказе: «... муж карикатурен (болтает ножками и читает признающейся жене мораль), Ильин вначале говорит довольно шаблонно (резкая критика!) и вообще герои вовсе не возбуждают симпатий, как вы меня предуведомляли» (письмо от 28 августа 1886 г.). В недошедшем до нас ответе Билибину Чехов возражал ему (см. письмо Билибину от 11 сентября), но замечание по поводу шаблонности реплик Ильина учел и, как было указано выше, снял их.

РОЗОВЫЙ ЧУЛОК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 33, 16 августа. Подпись: А. Чехонте.

Получив рукопись рассказа, Лейкин писал Чехову 12 августа 1886 года: «Он мне так понравился, что я приделал к концу его несколько строк, еще усиливающих впечатление». Рассказ был напечатан с этим лейкинским добавлением к заключительным словам героя: «Да нет, и не пойду. Об умном можно поговорить и с мужчинами,— окончательно решает он».

Чехов высказал свое отношение к такой концовке в письме к Лейкину от 20 августа: «Вы удлинили конец «Розового чулка». Я не прочь получить лишние 8 копеек за лишнюю строчку, но, по моему мнению, «мужчина»в конце не идет... Речь идет только о женщинах...»

Печатается без концовки Лейкина.

СТРАДАЛЬЦЫ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 225, 18 августа, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С изменениями и стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

В тексте собрания сочинений изменена фамилия героини (в газетной публикации она именовалась Кудрявцевой), в речь начальника ее мужа внесен акцент.

В первоначальном тексте Вася, представляя жене сценки из еврейского быта, рассказывал сплетни о своих сослуживцах. В начале рассказа о героине было сказано: «молоденькая, шустрая дамочка, имеющая одного мужа и дюжины две обожателей».

ПАССАЖИР 1-ГО КЛАССА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3765, 23 августа, в отделе «Субботники».

С сокращениями и стилистической правкой рассказ вошел во 2-е издание сборника «Пестрые рассказы», Спб. 1891, и повторен в последующих, 3—14, его изданиях (1892—1899).

С новыми стилистическими исправлениями включен автором в том IV собрания сочинений.

При переработке рассказа для собрания сочинений Чехов опустил ряд натуралистических деталей: о певице — «Только и было хорошего в ней, что великолепная шея и жирные ноги»; о фигуре в цилиндре — «...со слюнявым подбородком» и др.

Стр. 301. *Пушкин называл славу яркой заплатой...*— Имеются в виду слова книгопродавца из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

«Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца».

Стр. 306. *...скороход Кинг* — английский скороход, участник состязаний в беге в саду «Эрмитаж» в Москве летом 1883 г. (Чехов писал о нем в «Осколках московской жизни» — «Осколки», 1883, № 35, от 27 августа).

Стр. 307. *Диффамация* — публикация сведений, чаще всего клеветнических, позорящих чье-либо имя.

Семирадский Г. И. (1843—1902)— русский художник.

ТАЛАНТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 36, 6 сентября. Подпись: А. Чехонте.

С сокращениями и многочисленными стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

При переработке опущена фамилия обер-офицерской вдовы (ранее она именовалась Жилкиной). В первоначальном тексте художник Костылев, излагая план задуманной им картины, противопоставлял себя художнику Семирадскому. За его речью следовали строки, также опущенные Чеховым при редактировании: «Начинается ожесточенная критика. Все трое наперерыв доказывают пьяной Жилкиной, что русская живопись идет в гору, но что таланты свернули с истинного пути: Шишкин гербарист, Куинджи правдой жертвует ради эффекта, один Маковский ударился в карикатуру, другой

Маковский только и знает, что пишет свою жену, Репин пересаливает в своем реализме и т. д. Жюри, принимающее картины на передвижные выставки, пристрастно, а публика ни к черту не годится. Художники критикуют и пьют, пьют как могут только пить сапожники и художники».

Сокращая рассказ, Чехов несколько смягчил черты характера Егора Саввича.

В первоначальном тексте Егор Саввич огорчался, «что его никто не понимает и что ему негде работать», пил вино, «точно делая одолжение всему человечеству», и т. д.

Материал для этого рассказа Чехову дали отчасти наблюдения над жизнью и окружением его брата Николая — талантливого художника, втянувшегося в богему. О своем отношении к этой жизни Чехов писал брату в марте 1886 года (см. том 11 наст. изд.).

НАХЛЕБНИКИ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 246 8 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ вошел в сборник «Невинные речи», М. 1887.

С сокращениями включен в сборник «Пестрые рассказы», 2-е изд., Спб. 1891, и перепечатан в последующих, 3—14, изданиях этого сборника (1892—1899), а также вместе с рассказом Д. Н. Мамина-Сибиряка «Три друга» в издании «Посредник», М. 1894.

С новыми стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

В тексте сборника «Пестрые рассказы» сняты обращение к читателю («Скучно, читатель, просыпаться в одинокой, болезненной старости, когда плохо спится, болит все тело, а душа чувствует осенний холод!») и ряд сравнений и определений. Например, в первой фразе рассказа в предыдущих редакциях о Зотове сказано: «дряхлый и одинокий, как луна на небе...»; в сборнике сравнение снято.

При подготовке собрания сочинений Чехов продолжал работу над рассказом. Вместо «возбуждать его к мозговой деятельности» стало: «возбуждать его к размышлениям» и т. д.

ПЕРВЫЙ ЛЮБОВНИК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 37, 13 сентября. Подпись: А. Чехонте.

С изменениями и стилистической правкой рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

В газетной редакции фамилия героя была двойная — Поджаров-Болтайский; Климов был не тульский помещик, а отставной военный. Редактируя рассказ, Чехов сделал еще более претенциозным язык Поджарова. В частности, в нескольких местах рассказа в его речь вставлено выражение: «parole d'honneur» (честное слово — *франц.*) и т. д.

В ПОТЕМКАХ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 253, 15 сентября, в отделе «Летучие заметки», с подзаголовком *Из летних воспоминаний*. Подпись: А. Чехонте.

С несколькими сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С новыми сокращениями включен автором в том I собрания сочинений.

Сокращая текст, Чехов удалил детали, ненужные для непосредственной темы рассказа. Так, из слов Пелаген в тексте сборника исключена характеристика купцов, у которых она жила: «на что безобразники, ежели выпивши» и др.

Речь Гагина несколько смягчена, исключены его слова, обращенные к жене: «Ну, ложись, дрыхни...»

В тексте собрания сочинений опущены такие слова и выражения в речи Гагина, как «черти», «ко всем чертям». Редактируя последнюю фразу рассказа для собрания сочинений, Чехов вставил лишь два слова: «тишина», «шепот», более ясно передающие смысл финала — ужас жены, подозревающей мужа в неверности.

ПУСТОЙ СЛУЧАЙ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3793, 20 сентября, в отделе «Субботники».

Без изменений вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и с изменениями в пунктуации повторен в последующих, 2—13, изданиях того же сборника (1888—1899).

С стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Большая часть правки текста для собрания сочинений падает на замену иностранных слов русскими: вместо «шокировавшая его

величие» стало: «оскорблявшая его величие»; вместо «свое специальное чувство» стало: «свое особенное чувство»; вместо «симулировал влюбленного» стало: «разыгрывал влюбленного» и т. д.

Один из рецензентов Чехова обратил внимание в этом рассказе на образ князя — характерный для чеховского творчества «тип прогоревшего помещика, бестолкового, но доброго и честного» (Л. Е. Оболенский, Наблюдатель, 1887, № 12, стр. 69).

Стр. 339. *Княжна Тараканова.* — Имеется в виду картина художника К. Д. Флавицкого (1865), изображающая гибель княжны-самозванки, заключенной в Петропавловскую крепость.

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Рассказ «идеалиста»

Впервые напечатано в журнале «Сверчок», 1886, № 37, 25 сентября. Подпись: А. Чехонте.

В рассказе нашли отражение политические события того времени: дворцовый переворот в Болгарии (август 1886 г.), когда был свергнут глава правительства князь Александр Баттенберг, действовавший в интересах Германии и Австро-Венгрии против России. Под влиянием общей антирусской политики на Балканах сербский король Милан объявил о разводе со своей женой Натальей, русской по происхождению. В связи с этими событиями и упоминаются в рассказе имена болгарских и западноевропейских политических деятелей.

Стр. 345. *Ауэрбах* Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, романист.

Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель, романист, популярный в кругах русской демократической интеллигенции второй половины XIX века.

ДЛИННЫЙ ЯЗЫК

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 39, 27 сентября. Подпись: А. Чехонте.

С несколькими стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Высказывая одобрение рассказу, Билибин писал Чехову 2 октября: «Цензор зарезал Ваш «Длинный язык!» В чем заключались цензурные исключения — не установлено.

ЖИТЕЙСКАЯ МЕЛОЧЬ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 267, 29 сентября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

С сокращениями и стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Редактируя рассказ для собрания сочинений, Чехов изменил имя няни (в газетной редакции — Ольга); дал имя, отчество и фамилию матери Алеши, именовавшейся в газетной публикации «барынькой» и — реже — «матерью». Переделан также конец первого абзаца — описание развития романа Беляева с Ольгой Ивановной. Вместо: «теперь тянулись страницы, полные суши, длиннот и воды, точно жизнь исписалась или сочиняла по заказу, наотмашь» стало: «теперь страницы тянулись и всё тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного».

ТЯЖЕЛЫЕ ЛЮДИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3810, 7 октября.

В переработанном виде рассказ включен автором в том V собрания сочинений.

Сделав ряд сокращений, многочисленные стилистические исправления и изменив конец, Чехов удалил один из центральных моментов сюжета — вмешательство матери в ссору отца с сыном.

Реакция Евграфа Ивановича на вспышку сына и конец ссоры в газетной публикации были иными. После окрика: «Молчать, тебе говорю!» — Евграф Иванович бросился на сына с кулаком. «Тут случилось несчастье. Бог знает, каким образом между отцом и сыном очутилась Федосья Семеновна. Ни тот, ни другой не заметили, когда она вошла в детскую и как стала между ними. Удар кулака, увесистый, со всего размаха пришелся ей как раз в угол между шеей и плечом. Она мерно замахала руками, как зарезанная утка лапками, и, не издав ни звука, опустилась на стул.

Этим несчастьем и завершилась отвратительная семейная сцена. Отец и сын вдруг умолкли и повернулись друг к другу спинами. Их лица мгновенно вытянулись и приняли свое обычное бесстрастное выражение. Они постояли, помолчали и разошлись по разным углам». Этот эпизод определял и финал первоначальной редакции: «Бывают в жизни отдельных людей несчастья, например, смерть близкого, суд, тяжкая болезнь, которые резко, почти органически изменяют

в человеке характер, привычки и даже мировоззрение. Так и Петр, глядя на отца, понял, что тяжкое испытание, пережитое ими, не прошло бесследно для них обоих. Чувствовались уже новые отношения, мир, забвение прошлого... И он мысленно пожелал отцу всего хорошего.

Когда не совсем еще проснувшийся Фомка вез его на станцию, шел противный, холодный дождь. Подсолнечники еще ниже нагнули свои головы, и льняная скирда казалась темнее. Студент сквозь воротник своей шинели глядел на безропотно умиравшие подсолнечники, и грустные мысли затолпились у него в голове... Он думал: отчего это в природе ничего не дается даром? Жизнь подсолнечника покупается медленным замерзанием; за ясные, весенние дни приходится платить этим пронизывающим холодным дождем. Даже гуманность, мягкость и кроткий характер достигаются путем жертв и тяжелых уроков.

На станции он застал тишину и сон. Поезд тихо, точно сонный, подползал к платформе. Студент глядел на эту сонную тишину, на дым, лениво клубившийся из трубы, на кондуктора, молча искавшего для него место, и ему казалось, что кругом тихо, безмятежно и тепло, что все пассажиры спят так сладко только потому, что у его бедной, оскорбленной матери болит плечо».

Исключив из финала это настроение тишины и примиренности, Чехов перенес идейный центр тяжести рассказа на строки: «Он не обвинял отца, не жалел матери, не терзал себя угрызениями; ему понятно было, что все в доме теперь испытывают такую же боль, а кто виноват, кто страдает более, кто менее, богу известно...» Такое перемещение давало всему рассказу новый акцент: вместо примиренности и успокоения — трудность, сложность жизни, человеческих отношений, характеров.

Тщательно правя рассказ, Чехов снял такие обороты в авторской речи: «Думая о путешествии пешком, студент не мог миновать мыслей о самой дороге» или: «Нет уж около них [подсолнечников.— *Э. П.*] тех дынь и арбузов, с которыми они разделяли счастье светлых дней и ясных ночей»; фразу: «Он медленно дожевал кашу, которая была у него во рту, но проглотить ее не смог» — заменил словами: «Он не мог уже есть» и т. д.

МЕСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 41, 11 октября, с подзаголовком *Житейский водевиль*. Подпись: А. Чехонте.

Без изменений, с исключением лишь подзаголовка, рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С стилистической правкой включен автором в том I собрания сочинений. Чехов снял ряд вульгаризмов и грубых выражений в речах персонажей. Опущены слова Турмановой о муже: «Сидит себе и свои буркалы на проигрыш пялит...»; Дегтярева о Турманове: «Когда мне приходится говорить про этого гуся, то у меня в горле делается перхотка...» и т. д.

Изменена фамилия купца (в предыдущих изданиях он именовался Дуликовым). Письмо Турманова в первой редакции было написано без орфографических ошибок.

«Хвалили Ваш рассказ «Месть»,— сообщал Билибин Чехову 8 октября 1886 г. о впечатлении редакции «Осколков» от рассказа. Лейкин был очень доволен рассказом по практическим соображениям: «Подписчик на «Осколки» специальный подписчик и требует юмористики, веселых сценок, сатирических или шуточных и шаловливых стихов. И так уж мы не ту ноту тянем. Раздаются даже жалобы на серьезность... Вот Ваш последний рассказ «Месть» пришелся как нельзя более кстати. Это совсем ко двору. Я не смешливого десятка а в конце рассказа засмеялся. Главное — совсем неожиданный конец...» (письмо от 12 октября).

Можно предположить, что, отсылая рассказ в типографию, Лейкин приложил к нему свою редакторскую руку. Билибин, отвечая Чехову на недошедшее до нас письмо, писал 20 октября 1886 года: «Конечно же, не я редактировал Вашу статью. Я бы не посмел, помилуйте. Сам [имеется в виду Лейкин.— *Э. П.*] изменил насчет выпивки (вероятно, упрекнув Вас при этом в незнании жизни)». Отсутствие в нашем распоряжении письма Чехова и рукописи рассказа не позволяет сказать об этом точнее.

Стр. 365. *И ты, Брут!* — По преданию, эти слова были сказаны перед смертью Юлием Цезарем (100—44 до н. э.), убитым заговорщиками, среди которых был и его друг Брут.

В СУДЕ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3814, 11 октября, в отделе «Субботники».

С незначительными изменениями в пунктуации рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

Перепечатан в сборнике «Проблески», изд. «Посредника» для интеллигентных читателей, М. 1895, стр. 201—207 (со ссылкой на сборник «В сумерках»). С несколькими стилистическими исправлениями включен автором в том III собрания сочинений.

Л. Н. Толстой считал «В суде» одним из лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» во 2 томе наст. изд.).

НЫТЬЕ
Письмо издалека

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1886, № 40, 12 октября. Подпись: «С подлинным верно: А. Чехонте».

СТАТИСТИКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 42, 18 октября. Подпись: Человек без селезенки.

Стр. 382. *Шпекин* — почтмейстер, персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рассказ для девиц

Впервые напечатано в журнале «Сверчок», 1886, № 41, 23 октября. Подпись: Человек без селезенки.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 43, 25 октября, под заглавием Бука. Подпись: А. Чехонте.

С новым заглавием, сокращениями и стилистическими исправлениями рассказ напечатан в «Журнале для всех», 1898, № 12. С незначительными изменениями включен автором в том I собрания сочинений.

В тексте «Журнала для всех» Чехов заменил несколько книжных оборотов. Так, вместо «ей кажется, что даже в воздухе пахнет тиранией и деспотизмом» стало: «ей кажется, что даже воздуху тяжело»; вместо «и толкаемая непреодолимой ненавистью» стало: «и уже чувствуя ненависть к этому человеку» и т. д.

Чехов писал Лейкину 23 октября 1886 года: «Я послал Вам рассказ «Бука», но, кажется, неудачный...»

Хваля рассказы Чехова, напечатанные в «Осколках», Билибин писал Чехову: «...насчет акушерки мне понравилось» (письмо без даты за ноябрь 1886 г.).

МОЙ ДОМОСТРОЙ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1886, № 42, 26 октября. Подпись: Брат моего брата.

Стр. 391. *Липскеров* А. Я.— издатель газеты «Новости дня».

Стр. 392. «*Боккачио*» — оперетта немецкого композитора Ф. Зуппе (поставлена в 1875 г.).

«*Елена*» — оперетта французского композитора Оффенбаха «Прекрасная Елена» (поставлена в 1864 г.).

«*Корневильские колокола*» — оперетта французского композитора Планкета (поставлена 1877 г.).

ТИНА

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3832, 29 октября.

С разделением на две главы, несколькими стилистическими исправлениями и сокращениями рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899).

С новыми исправлениями и сокращениями включен автором в том IV собрания сочинений.

В тексте сборника Чехов сократил фразу: «Глаза ее не мигая...» (стр. 402 наст. изд.); в первоначальном тексте после «стиснутые зубы» было: «ноздри расширились и задвигались, на висках выступил румянец». Сделаны замены: вместо «не стеснял себя этикетом» — «не стеснял себя приличием»; вместо «от запаха жасмина и близости женщины» — «от запаха жасмина» и т. д.

Для собрания сочинений Чехов сделал в рассказе еще ряд стилистических изменений и сокращений. Вместо «крепко провезла своим лицом по лицу поручика» стало: «крепко прижалась своим лицом к лицу поручика». После слов: «еще раз звякнув шпорами и садясь» опущены слова, бывшие в предыдущих изданиях рассказа: «с той грацией, какая присуща только военному мундиру и так не идет к штатскому сюртуку» и др.

Л. И. Пальмин сообщал Чехову о том, что «Тина» не понравилась В. М. Лаврову: «...говорит: только для «Нового времени» такое и писать» (письмо от 5 ноября 1886 г.).

Знакомая Чехова, писательница М. В. Киселева писала Чехову: «мне лично досадно, что писатель *Вашего сорта*, т. е. не обделенный от бога, — показывает мне только одну «навозную кучу». Грязью,

негодяями и негодяйками кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому же писателю, который, проведя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно. Вы не близоруки и отлично способны найти это зерно,— зачем же тогда только одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стушевалась вся грязь обстановки, от вас я вправе требовать этого...» (декабрь 1886 г.).

Чехов считал принципиально неверным такое понимание предмета и задач художественной литературы и в ответе М. В. Киселевой высказал свое мнение о долге художника. «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание «зерен», так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, «зерно» — хорошая штука, но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель... Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые» (14 января 1887 г.).

Из этого же письма Чехова мы узнаем о весьма различном восприятии читателями рассказа: «Вы вот желали бы, чтобы я потерпел убыток на 115 рублей и чтобы редактор учинил мне конфуз [то есть вернул рукопись.— *Э. П.*]. Другие, в том числе и Ваш отец, в восторге от рассказа. Четвертые шлют Суворину ругательные письма, понося всячески и газету, и меня, и т. д.».

Стр. 408 *...царица Тамара* — грузинская царица XIII в., отличавшаяся красотой и жестокостью.

Стр. 410. *Ярррче молнии, жарррче пламени...*— слова из романса М. И. Глинки «К Молли» на слова Н. Кукольника из цикла «Прощание с Петербургом».

Стр. 412. *«Не называй ее небесной...»*— романс М. И. Глинки на слова Н. Ф. Павлова.

ЖИЛЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 44, 1 ноября, под заглавием «Жилец № 31». Подпись: А. Чехонте.

С измененным заглавием и многочисленными стилистическими исправлениями перепечатано в «Журнале для всех», 1898, № 11, стр. 1283—1286.

В первоначальном тексте герой Брыкович имел звание кандидата прав; в первой фразе вместо слов «человек обленившийся и душевно вялый» стало: «человек молодой, но уже плешивый»; исключена из реплик Халявкина мотивировка его пьянства (в журнальной редакции он объяснял свое пьянство тем, что из оркестра у них «ход на улицу через бу... буфет...») и т. д. В то же время в рассказе сделаны добавления, усиливающие остроту переживаний Брыковича, придающие им драматический характер, например, написан текст со слов «От водки и печальных мыслей...» до слов «...ни копейки!.. Пусть...» (стр. 417 наст. изд.).

НЕДОБРАЯ НОЧЬ
Наброски

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 302, 3 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

КАЛХАС

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 309, от 10 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Рассказ переделан Чеховым в январе 1887 года в драматический этюд «Лебединая песня (Калхас)» (см. том 9 наст. изд.).

Стр. 424. *Калхас* — греческий жрец и прорицатель; здесь персонаж оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Мельпомена — муза трагедии у древних греков, символ сценического искусства.

ТССС!..

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 46, 15 ноября. Подпись: А. Чехонте.

Вошло почти без изменений в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С сокращениями и стилистическими поправками рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

Стр. 430. *Лаэрт* — действующее лицо в трагедии Шекспира «Гамлет» (1601).

МЕЧТЫ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3849, 15 ноября, в отделе «Субботники».

Рассказом «Мечты» открывался сборник «В сумерках», Спб. 1887, куда он вошел с мелкими исправлениями и был перепечатан в последующих, 2—13, изданиях сборника (1888—1899).

Перепечатан отдельным изданием Московским обществом грамотности в 1898 году.

С новыми исправлениями рассказ включен автором в том III собрания сочинений. При этом изменена одна деталь: героя осудили на каторгу не на 12 (как было указано в прежних изданиях), а на 7 лет.

Д. В. Григорович писал Чехову 30 декабря 1888 года: «Мечты» и «Агафья» мог написать только истинный художник; три лица в первом и два во втором едва тронуты, а между тем нечего уже больше прибавить, чтобы сделать их более живыми, обозначить рельефнее физиономию и характер каждого; ни в одном слове, ни в одном движении не чувствуется сочиненность,— все правда, все как должно быть на самом деле; то же самое при описании картин и впечатлений природы: чуть-чуть тронуто, а между тем так вот и видишь перед глазами; такое мастерство в передаче наблюдений встречается только у Тургенева и Толстого...» («Слово», сб. 2-й, М. 1914, стр. 207—208).

В рецензии на сборники Чехова «В сумерках» (1887) и «Рассказы» (1888) Д. С. Мережковский подробно остановился на рассказе «Мечты», как наиболее характерном, с его точки зрения, для творчества Чехова: «Если г. Чехов обладает способностью безгранично отдаваться мечтательному музыкальному настроению, возбуждаемому природой, то это нисколько не мешает ему понимать и глубоко сочувствовать самой будничной серенькой стороне человеческой жизни, самым мелким насущным вопросам дня, обыденному горю маленьких людей» («Северный вестник», 1888, № 11, стр. 83). Но, исходя из этого верного наблюдения, Мережковский делал неверный вывод, отмечая в творчестве Чехова сочетание «широкого мистического чувства природы и бесконечности с трезвым здоровым реализмом» (там же, стр. 85). Своей рецензией Мережковский положил начало тому эклектическому и реакционному пониманию чеховского искусства, которое было характерно для символистов и которое получило наиболее яркое выражение в статье Андрея Белого о «Вишневом саде» («Весы», 1904, № 2).

В 1902 году книгоиздательство товарищества «Донская речь» в Ростове-на-Дону обратилось к Чехову с просьбой разрешить издать некоторые из его маленьких рассказов; в частности, в письме говорилось: «...разрешите нам напечатать Ваш рассказ «Мечты», уже изданный Московским комитетом грамотности» (письмо за подписью Н. Парамонова от 19 декабря 1902 г.). При жизни Чехова это издание не состоялось.

НА МЕЛЬНИЦЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 316, 17 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 447. *Ирод* — древнеиудейский царь (73—04 до н. э.), умертвивший, по евангельской легенде, множество людей и совершивший избиение младенцев в Вифлееме.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3876, 22 ноября, в отделе «Субботники», под заглавием «Сестра».

В переработанном виде включено автором в том VI собрания сочинений.

В окончательной редакции рассказа Чехов сделал много сокращений, особенно в авторских рассуждениях о теории непротивления злу и в характеристике Владимира Семеновича, о котором, в частности, в газетном тексте сказано: «Ни изысканная воспитанность, ни честность, ни блестящее образование не помогли ему избегнуть этой ошибки. Ошибка не в том, что он «непротивление злу» признавал абсурдом или не понимал его, а в том, что он не подумал о своей правоспособности выступать судьей в решении этого темного вопроса. Не честно вторгаться в чужой дом или читать чужое письмо, не честно лечить, не зная медицины, или судить вора, не познакомившись предварительно с делом, но странно, в общежитии не считается бесчестным, если люди, не подготовленные, не посвященные, не имеющие на то научного и нравственного роста, берутся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями» и т. д. Вместо этого отрывка вставлена одна фраза: «Это было как раз время... от мясной пищи и плотской любви» (см. стр. 453 наст. изд.).

Существенно изменен конец рассказа. В газетной редакции вместо последних абзацев, начинающихся с фразы: «И потом уже я ни разу не видел Веры Семеновны» — были строки, прямо осуждавшие ограниченность героя: «Перед ним лежали две толстые, только обрезанные книги. Он жадно перелистывал их и искал в них «жизни».

Только на своем столе он и умел находить «жизнь», все же, что творилось кругом него и что происходило в нем самом, странным образом ускользало от его внимания».

СОБЫТИЕ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 323, 24 ноября, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Без изменений рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках», Спб. 1887, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

Перепечатан также в сборнике Чехова «Детвора», Спб. 1889, и в последующих, 2—3, его изданиях (1890, 1895).

Почти без исправлений рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

27 января 1903 года А. И. Куприн выступил с чтением рассказа «Событие» на литературном вечере в петербургском Институте гражданских инженеров. Об этом Куприн сообщал Чехову 10 февраля: «На днях на одном вечере, посвященном исключительно Вашим произведениям, я читал «Событие»... И покамест я читал о деревянной лошади, о жизни котят на даче, я чувствовал, что публика согревается. Но трагический конец котят подействовал расхолаживающим образом. Тем не менее, как ни груба вообще наша публика, хотя и избранная, никто не засмеялся, когда лакей заявил, что собака съела котят,— только внизу подо мной, в оркестре пожарных музыкантов, кто-то хихикнул... Успех вечера был большой и очень теплый, задушевный».

ДРАМАТУРГ

Впервые напечатано в журнале «Сверчок», 1886, № 46, 27 ноября. Подпись: Человек без селезенки.

ОРАТОР

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 48, 29 ноября, с подзаголовком *Рассказ.* Подпись: А. Чехонте.

Без подзаголовка, с несколькими стилистическими исправлениями рассказ был напечатан в сборнике «Памяти В. Г. Белинского», М. 1899, стр. 161—164. Рукопись, посланная Чеховым редактору сборника П. А. Ефремову, хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома).

Почти без изменений рассказ включен автором в том I собрания сочинений.

В тексте сборника Чехов смягчил несколько выражений; вместо «Ты, дурная голова...» стало: «Ты, чудак...» (в обращении Поплавского к Запойкину); вместо «старый чиноша» стало: «старый чиновник» (в авторском повествовании); вместо «мою рожу» стало: «мою

физиономию» (в словах Прокофия Осипыча). Кроме стилистических исправлений, сделано одно изменение: если в тексте «Осколков» покойник был экзекутором, то в тексте сборника он назван «секретарем».

БЕДА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 330, 1 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

ЗАКАЗ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 337, 8 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Стр. 477. «*Не говори, что молодость сгубила*» — цыганский романс в обработке Я. Ф. Пригожего на слова Некрасова (из стихотворения «Тяжелый крест достался ей на долю...», 1855).

Стр. 479. «*Ночи безумные*» — романс П. И. Чайковского на слова А. Н. Апухтина (написан в 1886 г.).

Стр. 482. *Антик* — здесь: редкая, исключительная.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 50, 13 декабря. Подпись: А. Чехонте.

С незначительными стилистическими исправлениями рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887, и во все издания, начиная со 2-го сборника «Пестрые рассказы», Спб. (1891—1899).

С новыми стилистическими исправлениями рассказ включен автором в том II собрания сочинений.

В тексте «Пестрых рассказов» по сравнению с текстом «Невинных речей» сделано несколько замен: вместо «заморгал глазами Саша» стало: «сказал Саша»; вместо «что-то завернутое в 303 нумер «Новостей»» стало: «что-то завернутое в газету»; вместо «фиговые листики» стало: «фиговые листочки».

В тексте собрания сочинений в словах доктора Кошелькова исключено упоминание имени М. Г. Сухоровского — художника того времени, часто писавшего обнаженное женское тело. Слова доктора о змие-искусителе (см. стр. 485 наст. изд.) звучали в прежних изданиях так: «Не только Сухоровский, но даже сам змий не мог бы придумать ничего сквернее».

Из письма Лейкина к Чехову от 11 декабря 1886 года видно, что в рукописи, посланной в «Осколки», в этом месте перед словом «змий» было определение: «райский». «Последний рассказ Ваш очень забавен,— писал Лейкин.— Цензор его пропустил, вымарав только два

слова: «райский» — змий не должен быть райским — и «опохабил». Вот такие рассказы именно для юмористических журналов и надо».

Где было второе зачеркнутое цензором слово, определить трудно.

ЮБИЛЕЙ

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 344, 15 декабря, в отделе «Летучие заметки». Подпись: А. Чехонте.

Чехов предполагал использовать рассказ «Юбилей» для водевиля «Гамлет, принц датский», задуманного им совместно с А. С. Лазаревым-Грузинским. Об этом свидетельствует переписка Чехова с Лазаревым-Грузинским за ноябрь 1887 года. В письме к Чехову от 22 ноября 1887 года Лазарев-Грузинский излагает содержание 1-го и схему 2-го акта водевиля, где упоминаются Тигров, Борщов, Бабельмандебский — герои рассказа «Юбилей».

В своих воспоминаниях о Чехове Лазарев-Грузинский писал, что в водевиле «Гамлет, принц датский» писатель намеревался осмеять нравы провинциальных театров. «Первое действие,— вспоминал мемуарист,— начиналось сборами на репетицию. Раньше других являлись два актера, из которых один — Тигров (фамилия принадлежала Чехову), игравший тень Гамлета, рассказывал о своих многолетних актерских скитаниях по глухим провинциальным городам. В его очень забавном, в общем, рассказе была одна чисто чеховская черточка: «Придешь, в «Гранд-отеле» остановишься — в каждой захолустной норе или «Европейская», или «Гранд-отель» есть...»

Первое действие должно было закончиться скандалом и общим кавардаком» (А. С. Лазарев-Грузинский, Пропавшие романы и пьесы Чехова.— «Энергия», сб. III, Спб. 1914, стр. 169).

Таким образом, Чехов намеревался ввести в водевиль многое из своего рассказа: и самую тему, и действующих лиц (Тигрова, Борщова, Бабельмандебского, антрепренера), и отдельные подробности (наименования гостиниц), и, наконец, сюжетную деталь — разоблачительную речь Тигрова, направленную против антрепренера, которая должна была стать основой всего 1-го действия водевиля.

Как известно, замысел водевиля остался неосуществленным.

Стр. 492. *Велизарий* — византийский полководец (VI в.), герой одноименной трагедии немецкого драматурга Эдуарда Шенка (на русской сцене шла с 1839 г. в переделке П. Г. Ободовского).

Франц Моор — герой драмы Фр. Шиллера «Разбойники» (переведена на русский язык в 1793 г.).

КТО ВИНОВАТ?

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 51, 20 декабря. Подпись: А. Чехонте.

ВАНЬКА

Впервые напечатано в «Петербургской газете», 1886, № 354, 25 декабря, в разделе «Рождественские рассказы». Подпись: А. Чехонте.

С мелкими исправлениями в пунктуации рассказ вошел в сборник Чехова «Рассказы», Спб. 1888, и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1889—1899). Почти без изменений перепечатан в сборнике Чехова «Детвора», Спб. 1889, и повторен в последующих, 2—3, его изданиях (1890 и 1895). С незначительными изменениями включен автором в том IV собрания сочинений. С изменениями, сделанными с ведома Чехова (см. письмо И. И. Горбунова-Посадова от 23 ноября 1891 г.), рассказ был напечатан в сборнике «Детское сердце», изд. «Посредник», М. 1892, стр. 5—11, и повторен в последующих его изданиях (1898 и 1903).

С сокращениями, сделанными без ведома автора, рассказ был напечатан в детской хрестоматии «Золотые колосья», М. 1900, стр. 313—314 (составлен И. И. Горбуновым-Посадовым), и перепечатан во 2-м и 3-м его изданиях (1903 и 1904).

В первой строке текста, опубликованного в сборнике «Рассказы», вместо «восьмилетний», как было в газетной публикации, напечатано «девятилетний».

В сборнике «Детское сердце» в целях упрощения текста вместо отрывка: «...Вьюн, прозванный так за свой черный цвет... иезуитское ехидство» — издателями напечатано: «...Вьюн, прозванный так за свое длинное тело, как у ласки, и за то, что он хитер и лицемерно ласкается ко всем, кого любит и кого не любит. Это ехидный пес». Кроме того, изъяты строки о дедушке: «...щиплет то горничную, то кухарку». По поводу этих изменений И. И. Горбунов-Посадов сообщал Чехову в приведенном выше письме: «Многоуважаемый Антон Павлович! В Вашем «Ваньке» сделаны маленькие изменения ввиду того, что книжка предназначается главным образом для детей, причем первое изменение [о Вьюне.— *Э. П.*] сделано в видах большей ясности для этих малых и притом крестьянских читателей».

О сокращениях, сделанных в тексте детской хрестоматии «Золотые колосья», И. И. Горбунов-Посадов сообщил Чехову в апреле

1900 года. Из его письма видно, что рассказ «Ванька» был набран с «Новой хрестоматии» под редакцией В. А. Воскресенского, где было выпущено описание тяжелой жизни Ваньки у сапожника — побои шпандырем и т. д. «Это я увидел тогда, когда вся книга была уже готова»,— добавляет И. И. Горбунов-Посадов, прося извинения у Чехова. Однако в «Новой хрестоматии» В. А. Воскресенского «Ванька» напечатан не был; возможно, что Горбунов сослался ошибочно на этот источник, имея в виду другое издание.

В тексте сборника «Золотые колосья» есть и другие пропуски и неточности.

Л. Н. Толстой считал «Ваньку» одним из лучших рассказов Чехова (см. прим. к рассказу «Маска» во 2 томе наст. изд.).

НА ПУТИ

Впервые напечатано в газете «Новое время», 1886, № 3889, 25 декабря.

Почти без изменений рассказ вошел в сборник Чехова «В сумерках» и перепечатан в последующих, 2—13, его изданиях (1888—1899).

С незначительными сокращениями и с исправлениями в пунктуации рассказ включен автором в том III собрания сочинений.

Работая над рассказом, Чехов жаловался Суворину: «Нечистая сила натолкнула меня на тему, с которой я никак не справлюсь. За две недели я успел привыкнуть и к теме и к рассказу и теперь не понимаю, что в нем хорошо, что худо. Просто беда!» (письмо от 21 декабря 1886 г.). О трудности работы над рассказом писал он и Лейкину в письме от 24 декабря.

На следующий день по опубликовании рассказа Ал. П. Чехов писал брату: «Твоя последняя статья «На пути» произвела в Питере фурор» («Письма к А. П. Чехову его брата Александра Чехова», М. 1939, стр. 140). О большом успехе рассказа свидетельствуют также следующие строки из письма Чехова к М. В. Киселевой от 14 января 1887 года: «Ну как Вам нравится моя храбрость? Пишу об «умном» и не боюсь. В Питере произвел трескучий фурор. Несколько ранее трактовал о «непротивлении злу» [имеется в виду рассказ «Хорошие люди».— *Э. П.*] и тоже удивил публику».

В ответном письме (без даты) М. В. Киселева писала: «...Тепло, задушевно и отлично написано».

Д. В. Григорович отметил в рассказе психологически тонкое изображение чувства любви (см. прим. к рассказу «Несчастье», стр. 550).

Д. С. Мережковский в рецензии на сборники Чехова «В сумерках», 1887, и «Рассказы», 1888, считая Лихарева типичным образом чеховского интеллигента-неудачника, упрекал писателя за сочувствие своему герою. Не поняв самой существенной черты этого характера — неуемности и беспокойности духа, невозможности для Лихарева остановиться на какой-либо теории, Мережковский так заключал свое суждение об этом герое: «Придайте Лихареву черту простодушной, наивной подлости и отнимите ненужное притворство, желание показаться подвижником,— вы получите вполне современный тип очень многих русских «общественных деятелей», начавших радикальными идеями шестидесятых годов и кончающих проповедью «благородного святого рабства» или непротивления злу» («Северный вестник», 1888, № 11, стр. 90).

Общественно-литературное значение образа Лихарева верно оценил В. Г. Короленко, писавший 24 сентября 1888 года К. К. Сараханову, что в Лихареве «Чехов очень верно наметил старый тип Рудина в новой шкуре, в новой внешности, так сказать» (В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, Гиз, 1936, стр. 47).

Стр. 506 «*Ночевала тучка золотая...*» — первые строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утес». В библиотеке Чехова в Ялте хранится экземпляр «Фантазии для оркестра» композитора С. В. Рахманинова (изд. П. Юргенсона, М.) с дарственной надписью: «Дорогому и глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого, с тем же эпиграфом, служило программой этому музыкальному сочинению. С. Рахманинов, 9-е ноября 1898 г.»

ТО БЫЛА ОНА!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1886, № 52, 27 декабря, с подзаголовком *Святочный рассказ*. Подпись: А. Чехонте.

Без подзаголовка рассказ вошел в сборник Чехова «Невинные речи», М. 1887.

С небольшими стилистическими исправлениями включен автором в том I собрания сочинений.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1886.
«Ведьма». Художник А. Апсит. 1902. Стр. 64—65.
«Тайный советник». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 128—129.
«Беспокойный гость». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 192—193.
«Тяжелые люди». Художники Кукрыниксы. 1941. Стр. 256—257.
«Необыкновенный». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр 320—321.
«Мечты». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 400—401.
«На мельнице». Художники Кукрыниксы. 1954. Стр. 464—465.
«Ванька». Художник А. Коротким. 1953. Стр. 496—497.

СОДЕРЖАНИЕ

Персона 5
Иван Матвеич 9
Ведьма 15
Отрава 28
Рассказ без конца. *Сценка* 34
Шуточка 43
Агафья 48
Мой разговор с почтмейстером 59
Волк 63
В Париж! 71
Весной 77
Много бумаги. *Архивное изыскание* 83
Кошмар 86
На реке. *Весенние картинки* 100
Гриша 107
Любовь 111
Святою ночью 118
Дамы 130
Сильные ощущения 135
Знакомый мужчина 141
Счастливчик 145
Тайный советник 151
День за городом. *Сценка* 169
В пансионе 176
На даче 180
От нечего делать. *Дачный роман* 186
Скука жизни 192

Роман с контрабасом 207
Страхи 213
Аптекарша 220
Лишние люди 226
Серьезный шаг 233
Хористка 238
Учитель 244
Беспокойный гость 252
Rara avis 259
Чужая беда 260
Ты и вы. *Сценка* 266
Муж 272
Несчастье 278
Розовый чулок 291
Страдальцы 295
Пассажир 1-го класса 301
Талант 309
Нахлебники 314
Первый любовник 321
В потемках 327
Пустой случай 332
Светлая личность. *Рассказ «идеалиста»* 343
Длинный язык 347
Житейская мелочь 351
Тяжелые люди 357
Месть 365
В суде 370
Нытье. *Письмо издалека* 378
Статистика 382
Предложение. *Рассказ для девиц* 384
Необыкновенный 386
Мой домострой 391
Тина 394
Жилец 413
Недобрая ночь. *Наброски* 418
Калхас 424
Тссс!.. 430
Мечты 434
На мельнице 443
Хорошие люди 449
Событие 460

Драматург 466
Оратор 469
Беда 473
Заказ 477
Произведение искусства 484
Юбилей 489
Кто виноват? 496
Ванька 501
На пути 506
То была она! 523

Примечания 531

Перечень иллюстраций 571

Антон Павлович
ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *В. Титова*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Н. Бондарчук*

Сдано в набор 13/I 1960 г. Подписано к печати 18/III 1960 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂— 18 печ. л. 29,52 усл. печ. л. 25,93 уч.-изд. л. + 9 вкл. = 26,38 л. Заказ № 56. Тираж 623 000 (1—300 000) экз. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.